

1973



**Д**ЕНЬ ПОЭЗИИ



1973

ДЕНЬ

ПОЭЗИИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1973

*Handwritten signature*  
26.10.73  
Москва

*РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:*

*М. Львов (главный редактор);  
В. Боков, Л. Васильева, В. Дементьев, В. Казин,  
В. Казанцев, Я. Козловский, М. Максимов,  
В. Соколов, В. Сорокин, В. Туркин, В. Цыбин;  
В. Карнеко, Л. Смирнов (составители).*

© Издательство «Советский писатель», 1973 г. Стихи, отмеченные звездочкой, печатались до 27 мая 1973 г.

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сборник «День поэзии. 1973» — восемнадцатый по счету.

Первый сборник «День поэзии» увидел свет в 1956 году. С тех пор и празднование Дня поэзии, и сам выход ежегодника стали доброй традицией. У нашего ежегодника уже есть свой читатель-доброжелатель, есть свои верные друзья.

За восемнадцать лет сформировался, сложился и тип этого издания, облик его.

За эти годы наблюдался и большой взлет интереса к «Дню поэзии», и некоторый даже спад его... и снова — подъем...

Нам хотелось и в этом году попытаться ответить на ожидания нашего читателя и дать в сборнике относительно широкую картину поэзии сегодняшнего дня.

Читатель найдет здесь новые стихи поэтов всех поколений — от самых старших до самых юных. Не будем перечислять их имена — они все в содержании книги.

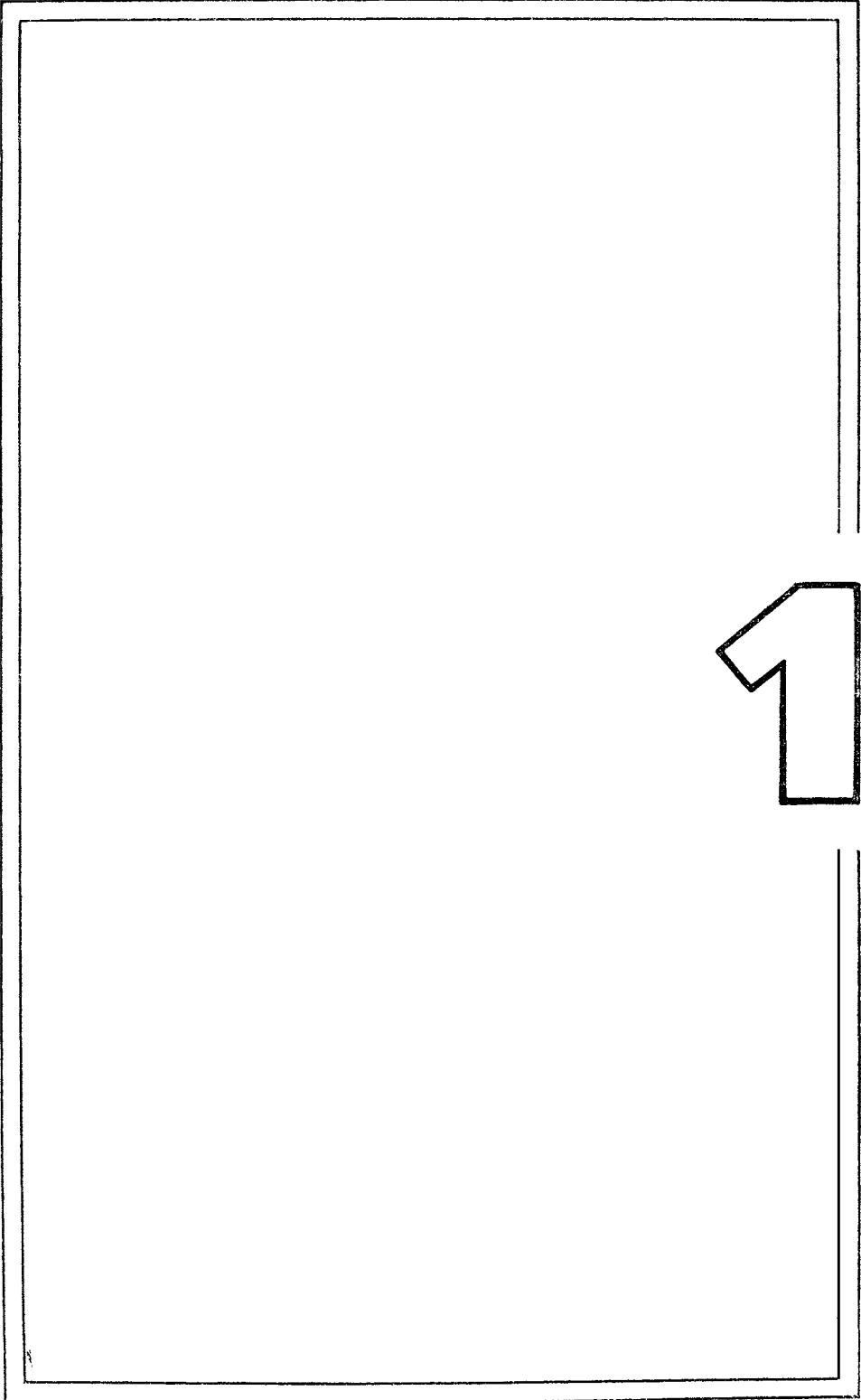
Поэзия дышит воздухом своего времени и движется энергией его. Сегодняшняя жизнь нашей страны, пафос творчества, чистое небо над страной, раздумья о пройденном, слово о настоящем, мысли о будущем — все это в той или иной мере отражено в стихах тысяча девятьсот семьдесят третьего года.

В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения великого советского поэта Владимира Маяковского. Кроме стихов, воспоминаний и статей о нем читатель ощутит присутствие Маяковского и в самом оформлении сборника, он увидит редкие фотографии поэта и его современников.

В сборнике читатель найдет неопубликованные стихи В. Брюсова, А. Ахматовой, Н. Хикмета, Я. Смелякова, С. Кирсанова, А. Яшина, Д. Кедрина, А. Недогонова, И. Фефера, К. Некрасовой, А. Адалис, П. Радимова, А. Глобы, А. Ойслендера, И. Борисова, Д. Голубкова, С. Дрофенко, Д. Кикина, воспоминания о Твардовском, Прокофьеве, Яшине, Смелякове и другие материалы.

Сборник завершает небольшой раздел иронических стихов и пародий.





1



ПОСЛЕ XXIV СЪЕЗДА КПСС

Когда исполинские планы  
В дела превращает народ,  
Яснея, сквозь века туманы  
Мечты исполненье встает.

И новый размах созиданья  
Дает нашей мысли живой  
Особую зрелость сознанья  
И чувство души мировой.

И сердце планеты мы слышим  
В дыхании наших работ,  
И мы уже будущим дышим,  
Как воздухом лучших высот!

ВСТРЕЧА ЛЕТА

Встречая лето с вечера кострами,  
Влюбленных праздник исстари хорош,  
Когда в лугах высоко над Ахтами  
Поет и пляшет снова молодежь.

Шумели раньше о влюбленной паре,  
Когда, несясь в веселья кутерьму,  
Всем девушкам бросал букетик парень  
И вопрошали девушки: кому?

Избранницы кричали парни имя.  
— И от кого? — желали девы знать,  
И так, как повелось между своими,  
Два имени им нужно величать.

Я знаю — праздник и сейчас в почете,  
Но думаю, что нынче не при всех  
Влюбленных имена вы назовете,  
Как утвержденье праздничных утех.

Они найдут в лугах места такие,  
Где назовут любимых имена,  
Где будет радость, звезды голубые,  
И над Ахтами встанет тишина.

Но вспомнив все — мне горы не  
в новинку,—  
Я счастлив вдруг виденьем высоты,  
Как будто бы веселая ахтынка  
Мне бросила альпийские цветы.

КОМБАЙНЕР

*Посвящается азербайджанской  
Героине Труда — Соне Казиевой,  
комсомолке*

Не пришел еще новой уборки час,  
Не готов еще хлопок — терпи,  
Я вижу Казиеву Соню сейчас  
В раздумье, в Мильской степи.

Бригаде своей она ждать велит,  
Сердцем зная, как срок придет,

И хлопок доверенно с ней говорит,  
И степь ей песни поет.

А Сона — по-русски лебедь она,—  
В море хлопка лебедю быть,  
Пусть поможет ей подруга весна,  
Чтобы ей лебедино плыть.



## БАКУ

Всю ночь был шторм. Кипела пена.  
Вздымалась бешено волна,  
Залив всю палубу мгновенно,  
Играла кораблем она.

И лишь к утру утихли хляби,  
И лег пластом усталый вал,  
И на холодной, серой ряби  
Костер рассветный засверкал.

И, с блеском утренним не споря,  
Ночь угасала над волной.  
Вставал навстречу мне из моря,  
Рождался город предо мной.

Был нужен мрак, и шторм,  
и пена,  
Корабль, лежащий на боку,

Чтоб оценить, как дар отменный,  
Всю мощь и солнечность Баку.

...И сколько раз я в нем бы не  
был,

Я вспоминаю тот рассвет,  
Когда впервые видел небо  
Над городом далеких лет.

Был нужен вихрь времен и ночи  
Тревог, штормов в твоей судьбе,  
Чтоб ты победно жизнь упрочил  
И стало хорошо тебе!

Баку! Друзей встречаешь лучших  
В рассветной огненной росе,  
Над морем встав во всей могучей,  
Во всей сегодняшней красе!

## ИЗ СТИХОВ ОБ АРМЕНИИ

В горах ведут тоннель, чтобы  
река Арпа могла насытить Севан.

Смотрю, как славен труд каменотеса,  
Что хочет Арпе прорубить ходы,  
Чтобы Севан глотнул из тьмы утесов  
Потоки свежей, радостной воды.

Всем сердцем мастер верен высшей цели,  
И день и ночь работе не стихать.  
Поэт подобен мастеру ущелья,  
Он в недрах жизни присягнул стихам.

Давая путь метафор ярких грому,  
Не устают пласты он слова рыть.  
К великому Севану стиховому  
Стиху, как Арпе, хочет путь открыть.

Чтоб стих звенел, и светел и раскован,  
Всего себя в нем растворил поэт,  
Чтобы к народу стиховое слово  
Потоком свежим хлынуло на свет!

## О ХЛЕБЕ

Из руин седых и хмурых,  
Точно вечность сторожит,  
Черных зерен Кармирблур  
В чашке горсточка лежит.

То сожженная пшеница  
Из подвалов крепостных,  
Сквозь века ей поле снится,  
Где серпа размах затих.

И теперь в юдоли бледной,  
В этой комнате простой  
Стала песней и легендой  
Зерен черной наготой.

Зерна наших дней, светитесь  
Позолотою резной.

Говорим мы: берегите,  
Берегите хлеб родной.

Берегите каждый колос  
Наших радостных полей,  
Словно песен тихий голос  
Громкой родины своей!

Не хотим мы видеть черных  
Зерен, выжженных войной.  
Пусть сияет нам узорный  
Золотистых волн прибой.

Не мечтаем мы о чуде,  
К нам полей живая речь:  
«Берегите хлеб вы, люди,  
Научитесь хлеб беречь!»

# Николай Ушаков

## СТАЛЕВАРЫ

Три стакана рекомендую.  
Пусть не полный, но первый стакан  
за подругу немолодую  
подымает мой старикан.  
Редко ссорясь, мирились часто.  
Больше ладили, был и разлад.  
У меня есть земли участок —  
от Хингана он до Карпат.  
Вся страна передо мною —  
наилучшая из стран.

За великое, за родное  
подымаем второй стакан.  
Сталевары мои в дозоре.  
Разгораются зори их.  
Здравствуй, утро лабораторий  
деревенских и городских!  
Я работаю, то есть движусь  
в это море и океан.  
За терпение, за одержимость  
подымайте третий стакан!

## ДЕВЯТЫЙ ДУБЛЬ

Снимают!  
Его снимают!  
Прожектора включены.  
Лучами на нем играют  
пылающие чаны.

Он первый!  
Он — главный,  
который  
со славой вот так, на «ТЫ»!

— Не перегрейте актера,—  
голос из темноты.

\* \* \*

Уже другие имена,  
другие радости сегодня.  
Неповторимая весна  
листок колышет прошлогодний.  
Бедняга — ничему не рад,  
не видит тысячи усилий.  
Он умер век тому назад,—  
его похоронить забыли.

# Николай Грибачев

## У ЗАБЫТОГО КОЛОДЦА

Из колодца не черпали воду,  
И закисла в колодце вода,  
Затенила ей путь на свободу  
Обметавшая сруб лебеда.

Ни земные ключи не в подмогу,  
Ни шумящие с мая дожди.  
Забывай о былом понемногу,  
Никакой перемены не жди.

Шепчут ветки на иве плакучей,  
На гнездо поспешает желна.  
Всем о доле мечтается лучшей,  
Да не всем удается она.

И корит нас, темна от печали,  
Та вода среди летнего дня:  
«Лучше б зря на ветру расплескали  
Или камнем швырнули в меня!»

## ПЕРВЫЙ РАЗ

Любви нигде не учат и не учатся,  
Она воде и облакам родня.  
Не потому ль моя несхожа участь  
С любившими при мне и до меня?

В особенности своей и вздох, и ласка,  
Призывный взгляд или упрек немой,  
Когда душа печалится безгласно,  
Предвидя ночь и ветер штормовой.

И даже утром грусть как бы вечерняя,  
Куда бы кто кого ни провожал,  
И холода под сердцем ощущение  
В поре разлук, и встречи взрыв и жар.

Любви нигде не учат и не учатся,  
Ее не выставляют напоказ,  
И если радуются или мучаются,—  
Все заново, сначала каждый раз!

## Я УБИТ НА ДОНУ

Не пугайте меня — я убит на Дону.  
Я убит и в зеленую канул волну.  
Меркнул свет, предосенний истаивал

Я ушел от земли,  
я ушел от людей.

Сколько встало за вздохом последним  
моим

Встреч,  
разлук,  
упоительных весен и зим.

Но уже ничего повторить не дано —  
Я на дно.  
Я на дно.  
Словно камень — на дно!

Где-то гейзером брызнул тяжелый снаряд,  
Сбитый, врезался в гальку с крестом  
самолет,

И, сгорая, неслись в сумасшедший закат  
Дым, песок, облака и растерзанный плот.

Я не помню, кто взял меня за воротник  
И тащил, чтобы снова я в мире возник,  
Чтобы буйный,  
неистовый,  
жаркий,  
земной  
Новый день народился во мне и со мной.

Но с того вдалеке отгремевшего дня,  
Хоть еще штурмовать высоту не одну,  
Я врагам говорю:

— Не пугайте меня,  
Двум смертям не бывать — я убит на  
Дону!



## ВЗДОХИ АНТИОХА

Ты,  
Любуясь  
Чуть не антимиром,  
Резво скачешь к будущим эпохам.

Я интересуюсь Кантемиром,  
Да, ты не ошибся,— Антиохом!

Восхищаюсь тем, как, например, он  
Силлабическим размером  
Формы вырабатывал и нормы  
Тех стихов, что ценим до сих пор  
мы.

Я люблю  
Сатиры Кантемира!  
На твои писал он глядя муки:

«Уме, незрелый плод недолгой  
науки!  
Покойся, не понуждай к перу мои  
руки»,

До сих пор звучат они неплохо,  
Вздохи Кантемира Антиоха.

## СЕВЕРЯНИН

Северянин  
Жил на мызе,  
Видя Русь на горизонте,  
Русь с резьбою на карнизе,  
С тракторами на ремонте,  
Русь икон и книжных полок,  
Где с церковным хором вровень  
Хор безбожных комсомолок.

А ему писалось плохо,—  
Как в былом, не получалось,  
Будто целая эпоха  
На глазах его кончалась,

А другая начиналась,  
Но не все оттуда видел,  
Где ему започивалось,—  
Вот как он себя обидел!

И казненный оставаться  
На поставленной границе,  
Он не мог не волноваться,  
И не мог он не томиться,  
Что былая слава тает,  
И мечтал почить он в бозе,  
Где безбожницы витают,  
Как снежинки  
На морозе.



МАЯКОВСКИЙ \*

Из поэтовой мастерской,  
не теряясь в толпе московской,  
шел по улице по Тверской  
с толстой палкою Маяковский.

Говорлива и широка,  
ровно плещет волна народа  
за бортом его пиджака,  
словно за бортом парохода.

Высока его высота,  
глаз рассерженный смотрит косо,  
и зажата в скульптуре рта  
грубо смятая папироса.

Всей столице издалека  
очень памятна эта лепка:  
чисто выбритая щека,  
всероссийская эта кепка.

Счастлив я, что его застал  
и, стихи заучив до корки,  
на его вечерах стоял,  
шею вытянув, на галерке.

Площадь зимняя вся в огнях,  
дверь подъезда берется с бою,  
и милиция на конях  
над покачивающейся толпою.

У меня ни копейки нет,  
я забыл о монетном звоне,  
но рублевый зажат билет —  
все богатство мое — в ладони.

Счастлив я, что сквозь зимний дым  
после вечера от музея  
в отдалении шел за ним,  
не по-детски благоговей.

Как ты нужен стране сейчас,  
клубу, площади и газетам,  
революции трубный бас,  
голос истинного поэта!

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

На Руси были Несторы,  
На Руси были Никоны,  
На Руси были Нестеровы,  
Колчаки и Деникины.

Русь не так идиллична  
И не так уж едина,  
Если раб убивал  
Своего господина!

Если Разин садился  
На вольные струги,  
Говорил:  
— На царя-притеснителя, други!

И летели челны,  
В берега утыкаясь носами;  
И летели чины  
С воеводами кверху ногами.

Был Степан, Емельян,  
Имена-то какие!

Эх, дорога, бурьян,  
Горевая Россия!

Сколько было бунтов,  
По краям, посередке.  
Сколько заткнуто ртов  
И забито в колодки.

Но качнулся орел,  
Канул в небыль и в Лету,  
Вольный гений повел  
Человечество к свету.

Славлю Русь, что пошла  
За Владимиром Лениным!  
И отец мой пошел,  
И мое поколение.

Все народы пошли —  
Вот откуда Советский Союз.  
Он един, монолитен,  
За него не боюсь!

МИКУЛА

Не за стеною монастырской  
Микола сошку мастерил,  
А на равнине богатырской,  
Где ворон каркал и парил.

Бесхитростен был сельский витязь,  
Он черный хлебушек кусал.  
Он валунам сказал: — Подвиньтесь! —  
Да приналег и сдвинул сам.

И все дела! И конь саврасый  
Борзо пошел по борозде  
Без норова, без разногласий,  
Отлично знал он, в чьей узде.

И затяжелела землянка,  
Глянь, и налился колосок.  
И вот уже дурак Емелька  
На печку русскую залег.

Сказал: — А ну, лети, родная! —  
И полетела печь, как пух.

Не печь — кибитка удалая,  
А в ней огонь и русский дух.

Жалейки, дудки и свирельки —  
Все появилось на Руси.  
И гусли, и игра в горелки,  
И бабы царственной красы.

Стоял Микула и не верил,  
Что столько жизни от сохи.  
Хмелел и целовал деревья,  
Случалось, даже пел стихи!

В нем пахарь уживался с воином.  
Покоя не было кругом.  
Он с пашней управлялся вовремя  
И вовремя кончал с врагом.

Друг! Не хвались, что ты из Тулы,  
Что ты механик и Левша!  
Ты от сохи, ты от Микулы,  
Ты селянинова душа!

## ДУБ В ТРИГОРСКОМ

Стоит в Тригорском дуб, с которого  
Рвал листья Пушкин молодой.  
Литые, тяжкие как олово,  
Клал желуди в свою ладонь.

Ладонью пестовал и взвешивал,  
Грустил: — А мне не миновать,  
Не вру тебе, мой дуб, хоть режь меня,  
С царем проклятым воевать!

Услышала в тот миг Сенатская  
И поняла его намек,  
Что бредит Александр не сказками,  
Что Пушкин — он и есть пророк.

Как дрогнуло самодержавие,  
Когда пять виселиц подряд

Затягивали петли ржавые  
Вокруг отчаянных ребят.

Что было с дубом и поэтом,  
Не в силах выразить слеза.  
И не расскажут нам об этом  
Ни Пимен-старец, ни гроза.

Умолкнул дуб листвою резною,  
Печален патриарший вид.  
Ни с солнцем ясным, ни со мною,  
Ни с Гейченко не говорит.

Задумались его вершины  
О Пушкине, о той поре.  
И ясно, по какой причине  
Морщины горя на коре!

## ПОДМОСКОВНЫЕ ЕЖИ

Ощетинились ежи,  
Смело вылезли на бруствер.  
Незабудки у межи  
Так доверчиво смеются.

Лето ласково журчит,  
Звонок зной в траве немятой.  
На лугу телок мычит,  
Словно в чем-то виноватый.

Глубока, покойна синь  
Голубого циферблата.  
Губы шепчут слово: — Сын! —  
Это мать зовет солдата.

Ходит, ищет, мнет траву,  
Говорит ромашкам лета:  
— Я, сынок, еще живу,  
Ты прости меня за это!

Говорит ручью, лугам,  
Полю, речке, всей России:  
— Хлеб несу к своим губам,  
Ты, сынок, за то прости мне!

Никакого сына нет!  
Есть трава, дорога, поле,  
Есть деревня, сельсовет,  
Седина, старуха, горе.

Это горе не избыть,  
Из души его не вынуть,  
У дороги, у избы  
Встало — и его не сдвинуть!



## КЛЕНОВАЯ ПАЛОЧКА

Лугом, лугом, полем, полем,  
Да над самую рекой  
Шел я с палочкой кленовой,  
Чтобы встретиться с тобой.

Был я молод, был я ветрен,  
Был наивен, даже глуп,  
Если вел тебя зачем-то  
На картину в сельский клуб.

Ты вздыхала над сюжетом,  
Над любовью моряка,  
Дожидалась поцелуя  
Моего наверняка.

Ну, а я все медлил, дурень,  
Все за фабулой следил.

Авиатор с полигона  
У меня тебя отбил.

Лугом, лугом, полем, полем  
Возвращался я домой,  
Находилась всю дорогу  
Только палочка со мной.

— Как гулял? — спросила мама.  
— Хорошо! — ответил я.  
Сбоку палочка стояла  
И глядела на меня.

— Ты кого-нибудь любила?—  
Я у палочки пытал.  
А она уже уснула,  
Больше спрашивать не стал!

## ГРУСТНЫЕ ДУМЫ

Закат уводит солнце ясное,  
На соснах тихо гасит свечи.  
И наступает ночь ужасная,  
И зябнут руки, стынут плечи.

Все мраком сковано и холодом,  
Как будто ты в свинцовой нише.  
А так ли было, друг мой, смолоду,  
Когда садилась тьма на крыши?!

Волос охапку золотистую  
Ты целовал и мял, пьянея.  
Возился на песке с латышкой,  
Горячей грудью дюны грея.

Звала волна тебя прохладная:  
— Иди остынь! — И ты бросался.

Кричала девушка: — Я жадная!  
Ты предо мной в долгу остался!

Ты поцелуй мой взял, верни его!  
Скорей, скорей, обрушь мятежно!  
Не забывай, что я ревнивая,  
Не смей играть с волной так нежно!

Да полно! Так ли все? Да было ли?  
Ты в летаргическом ознобе.  
Откуда же, скажи, унылые  
Дороги осени на взморье?

Остыли дюны, время минуло,  
Молчит старинная дубрава.  
Ночь наглухо на лес надвинула  
Свое свинцовое забрало.

ДИАЛОГ О ЧЕ ГЕВАРЕ

Под мирной листвою бульвара,  
По-прежнему глядя вперед,  
Навстречу мне Че Гевара  
Над юношами плывет.  
И словно бы ветры подули  
С нездешних глухих берегов —  
Горят боливийские джунгли  
И стелются цепи врагов.  
Тюремное лязгнет железо,  
Смертельный сорвется заряд —  
Уже обречен и отрезан  
Его одинокий отряд.  
Пуста в пистолете обойма,  
Винтовка к стрельбе не годна...  
Он предан, он загнан, он пойман,  
И гибель ему суждена.

Сосед мой, ученый, бывалый,  
Скривил свой холеный рот:  
— Безумец ваш Че Гевара,  
Безумец и Дон-Кихот.—  
А парень, стоящий рядом,  
Ударил рукой об столб:  
— Не нравится, и не надо.  
А я бы за ним пошел!  
— Пошли бы? — спросил ученый,  
Все знающий до тоски.—  
Ведь он же был обреченный,  
И тянут его леваки.

А парень сорвался с места,  
Отчаянный как апрель.

— А разве на Сьерра-Маэстру  
С полками пришел Фидель?  
Двенадцать, только двенадцать  
До Сьерры тогда дошли.  
Куда же им было драться?  
Как выжить они могли?  
Но они сумели подняться,  
Как блоковские двенадцать.  
Готова печать удара,  
Которого не отвернуть,  
С Фиделем шел Че Гевара  
В тот невозможный путь.  
Как можешь ты жить, мужчина,  
В холеной своей бороде,  
Когда твоя Аргентина,  
Твоя Гватемала в беде!  
Да, я бы пошел на Сьерру,  
Чтоб только быть рядом с Че,  
Чтоб где-нибудь под Угерой  
Уснуть на его плече.  
Он знал, что капризна победа—  
Качается мир на весах.  
Вчера он не понят и предан,  
Сегодня у всех на устах!  
От жизни его отлучили,  
Но, пламенем на ветру,  
Он перекинулся в Чили  
И замаячил в Перу.  
Пусть будет крута переправа,  
Пусть пули вокруг и дым —  
Ни левым его, ни правым,  
Ни средним не отдадим.

ИЗ СТИХОВ ОБ ИНДИИ

Не говорю озабоченно  
о нищете и грязи я.  
Внешность обманчива.  
Жизнь грубее.  
Но гвоздями огней приколочена  
к смуглому телу Азии  
Золотая подкова Бомбея.

## СЛОВО О МАСТЕРЕ

Василий Казин. Ему семьдесят пять. Не по юбилейной доброте, не в утешение, а истины ради заявляю: не верится.

Подвижной, заводной, остроглазый, остроумный, весь на побегушках у своего доброжелательства (о ком-то надо словечко замолвить, кому-то книгу «пробить»), — какой же он старик?

Тайны сохранения молодости неисчислимы. Бывают очень простые, — например, не курить. Бывают от лукавого: не волноваться. Но, глядя на Василия Васильевича Казина, думаешь: может быть, главные из этих секретов — улыбка и талант.

И еще — скромность, я знаю его давно. В его большой жизни были воистину звездные часы, но ни об одном из них я не слышал от самого Казина; о том, что есть фотография, на которой он, Казин, запечатлен в группе людей рядом с В. И. Лениным, я впервые узнал из книги В. Субботина. О том, как высоко ценили поэта А. Луначарский и М. Горький, — из статьи М. Львова; о том, что в 1925 году Горький писал Воронскому: «Кроме Бабеля и Леонова, я советовал бы Вам привлечь Фёдина, роман которого положительно хорош, и Тихонова, Казина, как двух наиболее крупных поэтов», — из предисловия С. Васильева.

От самого В. Казина я узнавал только одно: его удивительные стихи.

Казин по праву заслужил высокое звание ветерана рабочей темы. Он принес в поэзию крупное открытие красоты человеческого труда, замешав трудовые ритмы на лирическом дыхании самой природы. По собственному определению, он запел песню о труде втроем с ветром и солнцем. В его стихах не только рубанок поплыл, как лебедь, сучок на тесине стал живой родинкой и молоток жестянщика рассыпал небесный гром, но и, наоборот, капель пошла постукивать молоточками по бачкам и ведрам, небосвод обернулся заводом с полыхающими горнами молний, солнце заговорило по телефону, заработала любовь, стучась в сердца, «как в темных недрах шахты работой упоенный рудокоп», заработала весна, и майские лужи засверкали обрезками голубого цинка, заработало само

Время, в котором «часы стучали, словно кузнецы».

К поэтам моего поколения Василий Казин пришел, когда мы еще не были поэтами. Пришел в наше детство, как приходит к школьникам учитель. Мы учились и поныне учимся у него верности высокой теме, самобытной образности, полной разговорной свободе и естественности поэтической речи. Казинская мастерская учит и тому, как можно, оставаясь верным классической ритмике, не ломать ее извне, но как бы войти в нее, чуть нажать плечами и раздвинуть изнутри, и тогда строка становится то раскатистой, как гром или как слово «интернационал», то дробно-гулкой, как биение сердца, то вдруг задохнувшейся на миг, как само волнение.

Яркое начало работы В. Казина принадлежит двадцатым годам, когда родились, чтобы с честью выдержать испытание временем, его книги «Рабочий май», «Лисья шуба и любовь», «Признания». Но двадцатыми годами датируется только начало. Василий Казин немногословен и, если так можно сказать, немногословен, но его взыскательный талант с годами не померк, поэтический темперамент не состарился. В 1954 году В. Казин написал одну из самых значительных своих книг — ныне широко известную поэму «Великий почин», а в совсем недавние годы, и в совсем недавние дни обрадовал нас такими вершинами своей поэзии, как «В Ленинской библиотеке», «Памяти Светлова», «Волшебство», циклами стихов, опубликованных в «Литературной газете» и «Новом мире». Через полвека после ставших классикой строк о том, «что грудь вселенной, грудь вселенной ко мне склоняется на грудь», он написал стихи о первых космонавтах и через полвека после «Лисьей шубы и любви» — искрящиеся завидной юностью любовные стихи «Удивление», «Вдохновение», «Чем не шутит черт?..».

Поздравляем Василия Васильевича Казина с молодым семидесятипятилетием в уверенности, что к этому поздравлению сердечно присоединяются все наши собратья по разновозрастному поэтическому цеху и все, кто любит подлинную поэзию.

## ПРЕОБРАЖЕНИЕ

А. К.

И в удивительнейшем лике,  
И в ясновиденье твоём  
Такие вспыхивают блики,  
Что не нарадуется дом.

Да ведь лишь искорку включишь их,  
А, как бы ни были тусклы,  
По дому с живостью зайчишек  
Пойдут лучиться и углы.

И пусть хоть пугалом от пугал,  
Могильным призраком-то дик,  
Оставшийся мне жизни угол  
Заискрится, как твой двойник.

И ослепительностью милой  
Подзарядившийся, вперед —  
Туда, где тьмы невпроворот,  
Туда, где лихо у ворот,  
Глядишь, спасительнейшей силой  
На чью-то радость поплывет.

## ВСТРЕЧА

В. Б.

Вот и вновь тебя увидел,  
Молодая красота.  
Но и даже взгляд твой выдал,  
Что не та уж ты, не та.

И смотрю зверьком печальным,  
Как в открывшийся провал:  
Кто-то с блеском обручальным  
Все ж тебя закольцевал.

Что ж, и я не тем же гляну  
Тихим взглядом, как сперва.  
Видишь, сбивчиво, как спьяну,  
Лезут хищные слова.

И к твоим губам толкая  
Как бы молодость украсть,  
Так и пышет пожилая  
Подкатившаяся страсть.

Пусть и не до замиранья  
Всей души — ну дай хоть чуть,  
Чуть хмелька очарованья  
И счастливости хлебнуть.

## ВОЗРАСТ

Я в точности дня своего рожденья  
не знаю. Родителей помню едва,  
а метрика — где она? Отклоненье  
тут есть, несомненно, на день, на два.

Ученые пишут про возраст планеты:  
но, годы в нули умещая едва,  
заметят, что могут быть все же ответы  
неточными — на миллиард, на два.

Меня бы спросили, я так бы ответил:  
лишь звездам немного поверит строка,  
на миг — пусть на миг! — двух  
неточностей этих  
покажется разница невелика.

## В ЗВЕЗДНУЮ НОЧЬ

Подошла звездопада пора  
на поля, что под осень ухожены.  
Может быть, и на дальних мирах  
льются слезы, на наши похожие.

Есть, известно, и старость планет,  
и у звезд есть приметы усталости,  
у вселенной же возраста нет,  
нет ни молодости, ни старости.

И не первое — нет пустоты —  
над пучинами всеми бездонными  
человечество, словно цветы,  
прикрывает она ладонями.



\* \* \*

Воздушные шары воспоминаний  
Качаются над старой головой,  
Привязанные к темному  
запястью  
Суровой ниткой жизни.

Все зори детства,  
Юношества звезды,  
Все грозы юности,  
Все полдни возмужанья  
Трепещут,  
Рвутся, радостно сияя  
На позднем солнце,  
Торкают друг дружку  
В стремленье улететь туда,  
туда —  
К неяркому закату,  
Который, медленно роняя  
краски,  
Уж переходит в ночь...

## ПЛЕМЯННИКАМ

Запишите мой голос на пленку!  
Вдруг в две тысячи третьем году  
Вы услышите тетку Аленку,  
Ту, что будет в раю иль в аду.

Или в той беспредельности мрачной,  
Что зовется небытием,  
Иль в травинке — простой и  
невзрачной —  
Над иссохшим от зноя ручьем.

Запишите мой голос... Быть может,  
В тех далеких, неведомых днях  
Вашу память он робко встревожит  
И напомнит о милых тенях.

ДРУГ

Есть у меня старинный друг,  
который  
(точно!)

лучше двух.  
Не дай бог, вдруг случись беда —  
мой друг со мной в беде всегда.  
А нет беды — и друга нет.  
И так вот три десятка лет.  
— Ну, как дела?  
— Дела табак...  
— Зачем же ты молчал, чудак!

И начинает верный друг,  
не покладая добрых рук,  
в подмогу вкладывать труды  
вплоть до изгнания беды.  
Ушла беда далеко в тыл —  
и, смотришь, друга след простыл.  
И снова не слышать о нем,  
не сыщешь друга днем с огнем.  
Ан нет!

Звонок издалека:  
— Здоров?!  
— В порядке.  
— Ну, пока!

Чудаковат мой друг. Так что ж!  
Зато он явственно похож  
на долгожданный ветер в зной,  
на благодатный дождь грибной,  
на исцеляющий покой,  
на огонек в ночи глухой.

ЭХО

Расцвел подснежник. Чайка пролетела.  
Взвилось ракеты истовое тело.  
Родился стих. Вступила домна в строй.  
Конечно, жизнь прекрасна без предела,  
но как она безжалостна порой!  
Уходят неожиданно, стремглав,  
рукой не дотянувшись до штурвала,  
заветную строку не дописав.  
Им жить да жить бы, привечая зори,  
да совершать завидные дела,  
а их хватают медленные хвори,  
и валят с ног, и с корнем жгут дотла.  
Спасибо, что хоть отзвук остается,  
что, жадному забвенью вопреки,  
из эха мастеров, как из колодца,  
живую воду пьют ученики.

Недаром же сказал так откровенно  
большой поэт, умевший вдаль смотреть:  
«Будь же ты вовек благословенно,  
что пришло процветь и умереть!»  
Всплывает солнце, схожее с ковригой,  
встает на поле стебель-первоцвет,  
заснул в обнимку с неразлучной книгой  
упрямый начинающий поэт.  
Очнулся яшень. Иволга пропела.  
Раскатистая пенная волна  
на плоский берег вымахнула смело,  
студеным ветерком окрылена.  
Земной поклон лесам, полям и водам.  
Друзьям ушедшим мой поклон земной.  
...Один стал улицей, другой стал  
теплоходом,  
а третий — звездочкою под сосной.



## В КОТОРЫЙ РАЗ

Ей далеко за шестьдесят,  
внучата взяли в окруженье.  
Но почему так молод взгляд  
и так легки ее движенья?  
В который раз, в который раз  
мы слышим песни заревые,  
и голос так тревожит нас,  
как будто слышится впервые.  
Несутся звуки, как челны  
по заповедному теченью.  
И нет цены, и нет цены  
ее певучему уменью.  
Любовь народа все сильнее  
стремится к ней, границ  
не зная.  
И не сравнится рядом с ней  
двадцатилетняя иная.

## ШУТКА ВСЕРЬЕЗ

Есть у меня два сына, есть две дочери.  
Честное слово, ей-ей,  
ничего ребята, к труду охочие,  
один одного шустрей.  
Без прикрас, без обмана всякого  
заявляю, что их  
всех четверых люблю одинаково,  
всех четверых.  
Сам себе говорю: «Как же иначе!  
Весла в руки — учи грести.  
В океане житейском вынынчи,  
коль не упас в горсти».  
Не хочу скрывать: дочки смелые —  
без проволочек, не как-нибудь,  
отца, грешного, дедом сделали,  
не успел и глазком моргнуть.  
Так и режут мне дочки попросту:  
«Не положен нам недород!  
Не ворчи, старик, не воюй с нами  
попусту!»  
Что ж ворчать мне? Наоборот!  
Восклицаю с душевной силою:  
«Ах вы, мои княжны!  
Не стесняйтесь, рожайте, милые!  
Кадры стране нужны!»

Ну, а как сыновья? Прочно сделаны,  
так и этак глянь — не плохи.  
Но по возрасту, ясно дело, зелены,  
не годятся еще в женихи.  
Оба рослые, ладно сбиты-скроены,  
брови — черной смоле под цвет.  
Есть, конечно, в мальчишках свои  
заворины,  
а у кого их нет?  
Старший бросит девиз: «Нелепица —  
моде следовать целиком!»  
А как к зеркалу сам прилепится —  
не оторвешь силком.  
Да и младший в ладу с расческою:  
с самых ранних пор  
так и гнет волосенки жесткие  
на косой пробор.  
Младший тоже заквашен здорово:  
не застанешь его врасплох.  
В маму — личиком, в папу — норовом.  
Ох, не дай бог!  
«Ничего, — утешаюсь я, — образуется.  
Голова на плечах — не ботва.  
Корни крепкие у парней. Образуются  
оба два!»

## БЛАГОДАТЬ

За окном таинственно и лилово  
и сказочно, право слово.  
Купол небесный высок-высок,  
день прибавился на часок.  
Давно равноденствие миновало.  
Солнышко лезет из-за увала,  
у мироздания на виду  
варежки  
сбрасывает  
на ходу.  
Тепло приближается еле-еле,  
но,  
слышишь,  
синицы смелей запели.  
Гордый репейник склонился ниц  
перед вокалом певиц-синиц.  
У них ведь, людям на загляденье,

свои синичьи нововведения,  
свой зал Чайковского под кустом  
на равных правах с клестом.  
...Выходит,  
товарищ,  
под грузом тягот  
еще мы с тобой постарели на год,  
еще «отзвонили один сезон»,  
и все же печалиться не резон.  
Встанем-ка лучше под елью рядом  
и под приветливым лучепадом  
скажем, как в прошлом году:—Опять  
мир пробуждается! Благодать!  
Спасибо, жизнь, за лиловые дали,  
за оттепель в самом ее начале,  
за воскресение новизны,  
за новый приход весны.

## БРАТСКАЯ ПЕСНЯ

Катит Волга волны голубые  
в бурный Каспий, к южному  
теплу.  
Держит путь свой матушка  
Россия  
на Баку, на солнечный Баку.

Хочется ей теплый край  
проведать,  
смуглых братьев ласково обнять,  
сока виноградного отведать,  
слово задушевное сказать.

Хочется России всесторонне  
распознать прославленную знать,  
посмотреть на чудо Апшерона  
и себя, конечно, показать.

Ой ты, ширь, каспийское  
приволье!  
Хочется России погостить,  
разделить с южанами застолье  
и к себе на Волгу пригласить.

ПРОМЕТЕЕВ ЦВЕТ

Растет он в горах, одинок,  
Веками неведомый смертным...  
Зовут «Прометеевым цветом»  
Тот ночью лишь зримый цветок.

Как только стемнеет кругом,  
Он вспыхнет над каменным греб-  
нем,  
Наполнится кровью, колеблем  
Небесным ночным ветерком.

А корень, что камни оплел,  
Краснее зари на взлете,  
Сочней Прометеевой плоти,  
Которую вырвал орел.

Есть тайна у корня того:  
Дорога к нему бездорожна,

Зато невозможное можно  
Тому, кто добудет его.

Мятежною кровью поим,  
Не терпит он цели преступной,  
Лишь подвиг, досель недоступ-  
ный,  
Доступным становится с ним.

Могуч его огненный сок,  
Но есть в его силе волшебной  
Пределы — он силы потребной  
Дает лишь на маленький срок.

Взбираюсь во тьме на обрыв,  
Срываюсь под гул камнепада...  
Мне века на подвиг не надо,  
Не надо,  
Мне нужен порыв!

Рюрик Ивнев

\* \* \*

Опять себя я обвиняю,  
Хотя ни в чем не виноват,  
Ни в этой дружбе слишком ранней,  
Ни в слишком позднем осознанье,  
Что означает листопад.

Все измеряется на свете,  
Но не измерить никогда,  
С какой надеждой теплый ветер  
Ласкает мерзлые года.  
С какую болью неотступной  
Мы смотрим на самих себя,  
Когда вникаем в свой поступок,  
Безбожно память теребя.

Теперь не может быть и речи,  
Что ты ни в чем не виноват,  
И тяжести, согнувшей плечи,  
По-настоящему ты рад.

## Михаил Дудин

\* \* \*

Всегда у жизни на пиру  
Ищи родства, а не различья.  
Весною в утреннем бору  
Прекрасна песенка синичья.

Прекрасны сосны в полный рост,  
Отрада для души и взора,  
И шелест падающих звезд  
В лесные полные озера.

Прекрасен мудрый путь зерна,  
И солнца вечный свет  
прекрасен.

### В НАЧАЛЕ МАРТА

Исчезает последняя створка  
На пути сквозняков и простуд.  
И сладчайшие слезы восторга,  
Словно ландыши, в горле  
растут.

И, ликуя, звенят в подъязычье,  
И на звезды дробятся, звеня.  
И в своем подвенечном обличье  
Обступают, танцую, меня.

Прекрасна песня, что верна  
Труду, который не напрасен.

Прекрасен чистый купол дня,  
Земля полдневная и воды,  
Где всё и все — твоя родня,  
Твоя ответственность свободы.

Прекрасен майский соловей,  
Прекрасна тень его ракиты,  
Весь мир, который ждет твоей  
От самого тебя защиты.

Через зимнюю скуку герани,  
Опрокинув небес пиалу,  
Светотени граненые грани  
Растеклись на паркетном полу.

И в мелькании малых пылинок,  
На поверхности всех  
плоскостей —  
Неземных полюсов поединок,  
Обоюдная схватка страстей.

## Павел Кудрявцев

### СНЕГИРЬ

Не какая-нибудь оголь  
И не серый воробей:  
Он — снегирь — известный  
щеголь  
От хвоста и до бровей!

Редко фронт такой бывает,—  
Глянь, с иголочки одет,  
И на нем вовсю пылает  
Цвета красного жилет!

По дороге — к русским селам —  
Крепкий встретил он мороз

И под зимнего Миколу  
На хвосте его принес.

В карусель ходила вьюга,  
Шла метелица в кадрили,—  
Не видать совсем друг друга,  
Глянешь утром — жив снегирь!

На груди его сверкает  
Красноперый огонек,—  
Он мне душу согревает,  
Как в печурке уголек.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ШИК

Все принцессы спят на  
горошинах,  
на горошинах,  
без перин.  
Но сдается город Берлин.

Из шинелей, отцами  
брошенных,  
или братьями не доношенных,  
но — еще ничего — кителей,  
перешитых, перекореженных,  
чтобы выглядело веселей, —  
создаются вон из ряду  
выдающиеся наряды,  
создается особый шик,  
получается важная льгота  
для девиц сорок пятого года,  
для подросших, уже больших.

— Если пятнышко, я замою.  
Длинное — обрезать легко,

лишь бы только тепло зимою,  
лишь бы летом было легко.

В этот карточный и лимитный  
год  
не очень богатых  
нас,  
перекрашенный цвет защитный,  
защити! еще хоть раз!

Вещи, бывшие в употреблении,  
полинявшие от войны,  
послужите еще раз стремлению  
к красоте.  
Вы должны, должны  
посуществовать, потрудиться  
еще раз, последний раз,  
чтоб смогли принарядиться  
наши девушки  
в первый раз!

ПЕСОК

То, что в дочке не проявилось  
и, казалось, в песок ушло,  
вдруг внезапно во внучке явилось,  
ошарашило, обожгло, —  
это гневное глаз сверканье,  
это всех кумиров сверганье,  
этот головы поворот  
и надменно стиснутый рот.

Слушай, девочка на песочке,  
на писательском пляже в Крыму!  
В многоточья последней точке,  
может, виделась ты ему.  
Ты игрушку сейчас отложишь,  
ты подружку столкнешь со скамьи,  
ты не знаешь, и знать не можешь,  
что любые ухватки твои  
повторяют точно ухватки  
не вернувшегося из схватки  
и уткнувшегося в песок  
с пулей, врезавшейся в висок.

## УЛИЦА МАЙКОВА В БОРОВИЧАХ

За что такая улица Майкову в  
Боровичах,  
заросшая разнотравьем в своей  
проезжей части?  
Поэт, который давненько полузабыт и  
зачах,  
он стоит ли этой чести,  
достоин ли этого счастья?

Дома ее, егерями  
ползущие по горе,  
кирпичные ворота  
и деревянные стены  
прекрасны, когда от солнца  
они горят на заре,  
чудесны, когда от ночи  
бросают длинные тени!

Какие потоки по Майкова  
бегут во время дождей!  
Какие ребята по Майкова  
бегут на рассвете в школу!  
А сколько живет на Майкова  
хороших советских людей,  
прямых потомков ушкуйников  
и деятелей раскола!

За что все это Майкову?  
И Тютчев не получил

таких дымов над крышами  
и желобов столь узорчатых,  
и светлых вечерами,  
но гаснущих по ночам,  
неописуемых ставен,  
двустворчатых  
и трехстворчатых.

За то все это Майкову,  
что он был любим и чтим.  
Мы столько перезабыли,  
но более — не хотим!  
За эту давнопрошедшую,  
но до конца не избытую,  
иглой в душу вошедшую,  
доселе не позабытую  
любовь!  
За то, что Майков  
мечтал  
и творил  
и жил,  
он улицу заслужил —  
прекрасную,  
в мае — зеленую,  
в июле — солнцем спаленную,  
зимою — снегом беленную,  
улицу имени Майкова  
он в Боровичах  
заслужил!

## СТАРЫЕ ГОЛУБИ

Супруг похож на супругу:  
похожи друг на друга  
прожившие полстолетия  
так и настолько дружно,  
что, кроме друг друга,  
им ничего не нужно.

Только бы обнаруживать друг друга рано утром,  
старыми, слабыми, больными, но живыми!  
В бренном существовании, трепетном и утлом,  
слышать, как друг воркует  
друга другого имя.

В этом существовании,  
похожем на воркование  
двух соседних сосудов,  
радостно сообщающихся,  
в звонкой этой гармонии —  
молота с наковальнею —  
все у них вместе, разом, дружно и сообща еще.

— Я бы,— скажет старуха,— вот что сегодня сварила!  
— Съем,— говорит,— с удовольствием. Это будет  
красиво!.. —  
Что бы она ни варила, что бы ни говорила,  
кушает и слушает и говорит «спасибо»!

«Ты бы, ты бы»,— слышится,  
если семейство недружно.

В этом дружном семействе  
слышится: «Я бы, я бы».  
Им, кроме друг дружки, ничего не нужно.  
Все бы разливались старенькими соловьями!

## Павел Панченко

### ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ

Всем встречным я протягиваю руку  
Моей души,— спускаюсь ли в метро  
Иль выхожу — в глазах от глаз

И жаль, что встреча мне сулит  
пестро  
разлуку.

В них, в этих людях, все мое добро;  
От них я принял сладостную муку

Исканий, и услышать их доuku  
Дороже мне, чем злато-серебро.

Тут я — как бог! Но ласковый наветчик  
Зря станет заводить со мною речи:  
С таким я слеп, и тугоух, и нем.

Да вот беда: домой, в театр, куда-то  
Несутся, не заметив друга, брата...  
И все-таки товарищ я им всем!

## Павел Железнов

### ОБ ОГНЕ

Мы такой огонь добыть смогли,  
что уходят в космос корабли,  
но куда трудней найти секрет  
строк, что пламенют сотни лет.

Хворост слов, сгорающих дотла,  
не дает желанного тепла.  
Чтоб стихам гореть века подряд,  
нужен — мысли солнечный заряд!

# Николай Панов

\* \* \*

Снаряды с Пресни рвали мрак осенний.  
Пожар на Бронной...  
Кровь на мостовой...  
Слова надежды, шепот опасений  
Над хмурой, взбудораженной Москвой...  
Я видел это! Не забуду это!  
Патруль рабочий... Юнкера в Кремле...  
Летающий шрифт бессмертного декрета  
О Мире, о Свободе, о Земле.

И вновь стрельба. И вновь обрывки  
песни.

Где был в те дни я, думал я о чем —  
Сутулый гимназист со Средней Пресни,  
Калужский мальчик, ставший  
москвичом?

Я только помню: день и ночь звучала  
Симфония раскованных стихий,  
Все рушилось... И нужно жить сначала,  
И все увидеть, и писать стихи.

Вот морячок с винтовкой на ограде  
Чугунной укрепил газетный лист,  
Чтоб выстрелы «Авроры» в Петрограде  
По всей России эхом отдались.

Вот лозунг «Все для счастья человека».  
Идут бойцы — и с ними я иду.  
Москва, начало Ленинского века  
В немеркнущем Семнадцатом году!

## ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Русь обложена злою  
Половецкой ордой.  
Кони ржут за Сулою,  
Игорь, князь молодой,  
Говорит: «Лучше всем нам  
В поле кости сложить,  
Чем в ярме иноземном  
Полоненными жить.  
Иль погибнем без стона  
Под поганым копьем,  
Или тихого Дона  
Воду шлемом попьем».  
И отвечивал брату  
Буй-Тур Всеволод брат:  
«В славном подвиге ратном  
Я помочь тебе рад!  
Выводите, седлайте  
Богатырских коней.  
Трусом нет в моей рати,  
Ходит слава о ней.  
Под военным шоломом  
Каждый воин рожден,  
Трубным выращен громом,

Пикой выкормлен ок.  
Разве руки ослабли  
Храбрых однополчан?  
Наточили мы сабли,  
Полон каждый колчан...»

Против вражьего ига  
Поднял стяги Путивль.  
Едет по полю Игорь,  
Меркнет свет на пути.  
Волга, Дон, Корсунь-город  
Слышат грохот и гуд.  
Половецкие орды  
По дорогам бегут.  
По-над Русью великой  
Вражьей конницы бег,  
Лебединые клики  
Половецких телег.  
Сталью даль колосится.  
Русский к бою готов.  
Брешут ночью лисицы  
На багрянец щитов...



## Александр Межиров

\* \* \*

Я начал стареть,  
когда мне исполнилось сорок  
четыре,

И в молочных кафе  
принимать начинали меня

За одинокого пенсионера,  
всеми  
забытого  
в мире,

Которого бросили дети  
и не признает родня.

Что ж, закон есть закон.  
Впрочем, я признаюсь,  
что сначала,

Когда я входил  
и глазами нашаривал  
освободившийся стол,

Обстоятельство это  
меня глубоко удручало,

Но со временем  
в нем

Я спасенье и выход нашел.

О, как я погружался  
в приглушенное разноголосье

Этих полуподвалов,  
где дух мой  
недужный  
окреп.

Нес гороховый суп  
на подрагивающем подносе,

Ложку, вилку и нож  
в жирных каплях  
и на мокрой тарелочке —  
хлеб.

Я полюбил  
эти  
панелью дешевой  
обитые стены,  
Эту очередь в кассу,  
подносы  
и скудное это меню.

— Блаженны,—  
я повторял,—  
блаженны,  
блаженны,  
блаженны...  
Нищенству этого духа  
во веки не изменю.

Пораженье свое,  
преждевременное постаренье  
Полюбил,  
и от орденских планок  
на кителях старых следы,  
Чтобы тенью войти  
в эти слабые, тихие тени,  
Без прощальных салютов,  
без выстрелов,  
без суеты.

## Михаил Скуратов

### ПАРОВОЗЫ НА РУСИ

Отработали локтями паровозы на Руси,—  
Начадили-надъмили — и ушли — куда?— спроси.

Что-то было в них живое, любо-дорого глядеть!  
Куролесили, чудили,— не дурить им больше впрядь.

Жару-пару поддавали, а коптили — ай да ну!  
Чертомелили, бывало,— да на всю мою страну!

Поработали на славу,— знать, не зря пыхтели век.  
И пришелся всем по нраву их ретивый, шибкий бег!

# Константин Ваншенкин

\* \* \*

Воспользовавшись общим разговором,  
Я выхожу из дома и смотрю  
На гаснущую за вечерним бором  
Холодную и мрачную зарю.

Так в грудь вобрать побольше кислорода  
Стремятся, пересилив дурноту.  
Так две затяжки сделать косорото  
Выходят, коль терпеть немоготу.

Но мне-то, для чего мне нужно это:  
Пиджак набросив на плечи, стоять?  
Заря потухнет меж стволами где-то,  
И темнота низвергнется опять.

Над росами померкнувшего сада  
Поблескивают слабо провода.  
Души необъяснимая услада.  
Таинственная жизни правота.

## ЛЕС

Этот лес у меня на примете,  
Где, за тусклой полоской села,  
Возвышаются сосны из меди  
И от жара стреляет смола.

Где, крепки, будто кованы в горне,—  
Ты и сам спотыкался о них! —  
Выпирают сосновые корни,  
Эти ребра тропинок лесных.

Я стою возле края дороги,  
Только-только с автобуса слез.  
Так и хочется вытереть ноги  
Перед тем, как входить в этот лес.

## СВЕТ ЛЕСА

Шагнешь, оробелый,  
Как будто под ливня струю,  
В березничек белый,  
Что душу омоет твою

Стократно воспетым  
И новым в какой уже раз,  
Немыслимым светом,  
Опять поражающим нас.

Презренна осина —  
Из целого леса одна.  
Ее древесина  
Почти ни на что не годна.

Но вот за поляной,  
Где твой обрывается след,—  
Стволов этих странный,  
Зеленый, рассеянный свет.

Должно быть, мы косны,  
Не сбить нас с пути своего.  
И рыжие сосны  
Мне нравятся больше всего.

Ведь в пору заката  
И если потухнет закат,  
Они красновато,  
Как ровные лампы, горят.

## НАСТРОЕНИЕ

Зажглась улыбкой губ и глаз  
От моего пустого слова  
И вдруг нахмурилась — и враз  
Уже расплакаться готова.

Тому виной не выпад мой,  
Не посторонние причины,  
А скрытые в душе самой  
Неизъяснимые пружины.

\* \* \*

Возвращалась поздно, не одна.  
Расставались на лужайке плоской.  
И потом смотрела из окна,  
Как он удалялся с папироской.

А спустя мгновение спала  
И во сне, зардевшаяся малость,  
Убирала чашки со стола  
И куда-то переодевалась.

На рассвете пели соловьи.  
В комнате заметно холодало.

Руки обнаженные свои  
Прятала она под одеяло.

Сновиденья путая и явь,  
Выгибая заспанное тело,  
Улыбалась тихо, будто вплавь  
Озеро ночное одолела.

Свет ломился в просеку окна,  
Притемняя крашенные рамы.  
На предплечье — вмятины от сна, —  
Ночи кратковременные шрамы.

## С НАТУРЫ

На все есть искренность ответа,  
И ты с упреком не спеша.  
Но что отсутствует — так это  
Самостоятельность души.

Начищены, как на параде, —  
Его привычная юдоль  
И выведенная в тетради  
Теоретическая боль.

## ТРЕВОГА

Лошади у коновязи.  
Катера у пристаней.  
Слово б д и т е л ь н о с т ь  
в приказе  
Проступает все ясней.

На полу, на сеновале,  
В сладкой дымке деревень,  
Мы шинели не снимали,  
В крайнем случае — ремень.

Ведь в любое время года  
И на каждом рубеже  
Недруг или непогода  
Ожидаются уже.

Кровью впитано и плотью, —  
Под неистовство команд,  
Задыхаясь, рвать поводья,  
Топором рубить канат.

РАССКАЗАТЬ О ЖЕЛЕЗЕ

(Лирический репортаж)

Посветлели мои отдохнувшие руки:  
Ни мозолей,

ни ссадин,

ни вздувшихся жил,

Но ожог напряженной железной науки  
До сих пор в моем сердце еще не зажил.

Вот и снятся ночами калильные печи:  
То мазут не везут,

то горят кирпичи...

Сын находит мои онемевшие плечи  
И трясет осторожно:

«Отец,

не кричи!»

Просыпаюсь...

На сына гляжу ошалело.

Продолжают форсунки жужжать у виска.

...Неужели башка у меня тяжелела

Лишь затем,

чтоб понять,

что такое тоска?

Неужели взаправду бывает такое,

Что,

отдавши заводу десяток годов,

Станешь жить и не знать ни минуты покоя,

Словно яблоня-дичка

без тяжких плодов?

Ведь и нынче мой труд не совсем бесполезен,—

Мне над словом сидеть у ночного огня...

Я такое смогу рассказать о железе,

Что железо само

превратится в меня.

Возле острых зрачков —

незабытые даты,

Дым походных костров до сих пор в седине...

Я такое смогу рассказать о солдате,

Что убитый солдат

возвратится к жене.

Над удачной строкою бессовестно плачу,—

Главным нервом каким-то,

видать,

захромал,

Но, поплавав,

свою понимаю задачу,

Как во взводе команду —

«В ружье!» —

понимал.

Но когда в незадаче полночного бденья

Холодеет листок под недвижной рукой,

Начинают шататься мои убежденья  
И трудней в одиночку справляться с тоской.  
Вдруг поняв,

что тоски самому не осилить,  
Я спешу к проходной,  
в цех кузнечный иду,—  
Там встречает меня Азаренков Василий,  
Милый Костя Корнеев отводит беду.  
Мы садимся на теплые глыбы поковок,  
Достаем «Беломор»,

и «Памир»,  
и «Прибой»...

За стеною компрессор вздыхает толково,  
Чтоб летел из форсунок огонь голубой.  
Чтоб адело железо от доброго жара  
И ложилось желанно под умный удар...  
На горячих ладонях упругих державок  
Вот он,

рядом с тобой,  
человеческий дар.

Под удары деталь зарождается.  
В этом  
Сложном грохоте дней мы себя обрели:  
Трудным зноем дыша,

добела разогретым,  
Здесь куется рабочая правда земли.  
Наша жизнь —

в непрестанной и нужной работе  
(Робы — коробом...

Соль поседевших висков...),  
Потому нам дышать не для благостей плоти,  
А для прочного хода грядущих веков.  
Что слова,

если делом они не подперты?  
Снова фартук на мне и в руках кочерга...  
Жора Мосин шумит:

«Ну какого ж ты черта?!  
Заготовки горят,—  
не торчи как слега!»

Торопясь,  
поднимаю печную заслонку,  
Как могу,  
принимаю огонь на себя,  
А у Жоры сияют стальные коронки,  
Жорин вид грозноватый прекрасно губя.  
Не совру,—

нормы две до обеда мы дали,  
Даже мастер Никитич поздравил меня,  
Только светлые руки мои пострадали  
От железного дела,  
от ласки огня.

Только знаю,  
мне вечно «динамовцем» зваться,  
Только верю,—  
еще мне кричать по ночам,  
Коль во сне будет сердце мое надрываться:  
Не хватает дыханья калильным печам.

Жаль,  
    что речке к своим не вернуться истокам,—  
Да, не скрою:  
    сегодня в кузнечном — я гость,  
Но гудит,  
    не смолкая,  
                    разбуженным током  
В глубине моей сути рабочая кость.  
Но горжусь,  
    что я в кузнице стал коммунистом  
Под обвальные грохоты огненных дел,  
Что своим поручителям честно и чисто  
В глубоченные очи сегодня глядел.  
Потому я считаю,  
    что труд мой — полезен,—  
Мне над словом сидеть у ночного огня...  
Я такое смогу рассказать о железе,  
Что железо само  
                    превратится в меня.

## Марк Соболев

### ЖИВАЯ ВОДА

На кромке переднего края,  
лишь крикнуть успевший:  
    «Вперед!»,  
он знает, что он умирает,  
не верит, что насмерть умрет.

Слабеющий взор еще ясен,  
земля под спиною мягка,  
и мертвым он быть не согласен,  
покуда плывут облака.

И тоненько тенькает песня —  
струною травинка дрожит,  
и ворон в своем поднебесье  
еще безучастно кружит...

Не дрогнул солдат от удара,  
он просто упал навсегда.  
А вдруг у дружка-санитара  
во фляге — живая вода?

Глоток, заживляющий души  
до свадеб детей и внучат...

Но в сердце все глуше и глуше  
тупые осколки стучат.

Весь мир неподвижен и выжжен,  
и больше не видно ни зги,  
и ворон все ниже и ниже  
прицельно сужает круги...

...Про жизнь рассуждая толково,  
прикинув свой жребий земной,  
я знаю: случится такое  
когда-нибудь и со мной.

Но яростный, стреляный, старый,  
которому все не впервой,  
дождусь я того санитаря  
с той самой водою живой.

В атаке, в дороге, в палате,  
где б мой ни окончился путь,  
на это меня еще хватит —  
из фляги солдатской хлебнуть.

## Юлия Друнина

### СВЕРСТНИКАМ

Мы вернулись. Зато другие...  
Самых лучших взяла война...  
Я «окопную ностальгией»  
Безнадежно с тех пор больна.

Потому-то с отрадой странной  
Я порою, когда одна,  
Трону шрам стародавней раны,  
Что под кофточкой не видна.

Я до сердца рукой дотронусь,  
Я прищурю глаза — и тут  
Абажура привычный конус  
Вдруг качнется, как парашют.

Вновь осколки засвищут тонко,  
Вновь на черном замру снегу.  
И прокручивается пленка —  
Кадры боя летят в мозгу...

### ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

За утратою — утрата,  
Гаснут сверстники мои.  
Бьют по нашему квадрату,  
Хоть давно прошли бои.  
Что же делать?  
Вжавшись в землю,  
Тело брэнное беречь?..  
Нет, такого не приемлю,  
Разве, друг, об этом речь?  
Кто осилил сорок первый,  
Будет драться до конца!

Ах, обугленные нервы,  
Обожженные сердца...

## Виктор Урин

### ПЯТИЛИСТНИК

Успевший мелким бытом обрасти,  
пытался ли другое обрести?

И мысленно — хотел ли ты возврата,  
чтоб повторить забытое когда-то?

И, мучаясь в смятенъе неповеленном,  
жалел ли ты когда-нибудь о сделанном?

Сумел ли, наконец, постыдно-вкрадчивое  
перечеркнуть, себя переиначивая?

И все так упрощенно усложняющееся —  
постиг ли в наше время изменяющееся?



МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ \*

*(Отрывок из поэмы)*

Мы все  
любили его за то,  
что он не похож на всех.  
За неустанный его задор,  
за неумемный смех.  
Тот смех  
такое свойство имел,  
что прошлого рвал пласты;  
и жизнь веселела,  
когда он гремел,  
а скука  
ползла в кусты.  
Такой  
у него был огромный путь,  
такой ширины шага,—  
что слышать его,  
на него взглянуть  
сбегались друзья и враги.  
Одни в нем видели  
остряка,  
ломающего слова;  
других —  
за сердце брала строка,  
до слез горяча и жива.  
Вот он встает,  
по грудь над толпой,  
над поясом всех широт...  
И в сумрак  
уходит завистник тупой,  
а друг  
выступает вперед.  
Я доли десятой  
не передам,  
как весел и смел его взгляд:  
и — рукоплесканье  
летит по рядам  
строке,  
попадающей в лад.  
Ладони бьют,  
и щеки горят...  
Еще ли  
усмешка коса!  
За словом  
слова тяжелый снаряд  
летит, шевеля волоса.  
Советский недруг,  
остерегись;

попятившись,  
кройся в даль —  
так страшно  
голоса нижний регистр  
надавливает педаль.  
Все шире плечи,  
прямей голова,  
все искристее глаза...  
Еще,  
и еще,  
и еще наплывай,  
живительная гроза.  
. . . . .  
Как стал он вхож  
в людские понятия!  
Как близок строчкой,  
прямо и правдив;  
ведь ни по приказу,  
ни на канате  
к себе не притянешь,  
сердца обратив...  
Читая,  
начнешь стихи его путать,—  
сейчас же  
сто голосов — на подсказ!  
Как будто не я,  
а они как будто  
встречались с ним  
по тысяче раз.  
Ведь это  
не выдумка барда бахвальная:  
вот этот асфальт,  
и эти огни,  
и площадь —  
не старая Триумфальная,  
и — с Пушкиным рядом —  
встали они!  
И все повседневней,  
все повсеместней  
становится — миром  
его родня;  
сюда он шагал  
с Большой своей Пресни,  
с шагов своих первых,  
с мальчишьяго дня...



ПЕСНЯ ВЕТЕРАНОВ

Магнитка, Магнитка,  
открыта ветрам с четырех ты сторон.  
Возили мы в тачках навстречу рассветам бетон.  
Бураны стонали, свистя по-казацки в печи,  
уложены нами твоих корпусов кирпичи.

Магнитка, Магнитка,  
нам юности нашей не жаль.  
По первому сорту для фронта мы выдали сталь.  
Гудит по рольгангам, окалиной брызжет прокат,  
и робкие звезды над станом прокатным дрожат.

Магнитка, Магнитка,  
стоишь ты на стыке ветров.  
Привычны к железу ладони твоих мастеров.  
Далеко ударные вахты тридцатых ушли,  
но в яростных плавках — все отсветы  
нашей души!

Марк Максимов

ТИШИНА

Лев шагает с неслышной уловкой,  
сом стыдится плеснуть на реке.  
Человечество движется громко,  
как громила матрос в кабаке.

О, беззвучный отшельника посох  
и шипящих полозьев концы!  
Заскрипели сперва на колесах,  
завели под дугой бубенцы.

И тоской заболеть не успели  
по синичьему свисту в мороз,  
по случайному грому в апреле,  
по июльскому звону стрекоз,—

а уже, предавая впервые  
и назвав неземной тишину,  
зашипели котлы паровые  
и шатун зашептал шатуну.

Отгудел по церковной привычке  
церемонный вокзальный набат,  
и — безбожницы электрички  
разъезжаются и визжат.

Открываются окна на площадь,  
и подрагивают дома,  
и ракеты над миром оглохшим  
перекатывают грома.

Увядают цветы оробело,  
соловьиных яиц не несут,  
и акустик, сочтя децибелы,  
соловьям предрекает инсульт.

А бульдозер эстрадным поэтом  
в честь влюбленных гремит у окна.  
Поразмыслить бы надо об этом,  
но для мыслей нужна тишина.

## ПРИТЯЖЕНИЕ

Ревниво притяжение Земли,  
оно с полетом спорит неустанно.  
Идут ко дну, старея, корабли,  
и обвисают щеки капитанов.

И кланяются долу колоски,  
и притяженье, а совсем не время,  
старухам изгибает позвонки  
и складывает скалы, как поленья.

Земля, неосмотрительная мать,  
свела объятья любяще и грозно,  
мешала в детстве с четверенек  
встать,  
приревновала к обрученьям звездным.

Сама тебя взрастила для дорог  
и снарядила вроде бы на совесть  
и проучить пустила за порог,  
туда, где лицемерит невесомость.

И вот — ты бог высот и скоростей,  
но сообщают станции слеженья,

что ты теряешь кальций из костей,  
восставший раб земного притяженья.

Доносит голос радиоволна,  
и ты далеким хохотом контужен:  
— Ах, я тебе отныне не нужна?  
Смотри же, и костяк тебе не нужен!

Земля не выпускает нас из рук,  
не отдает галактикам без боя,  
ей мало звездной тяжести разлук,  
земную тяжесть взять велит с собою.

И мучится: какая соблазнит  
тебя звезда, заманит и притянет,  
под тяжестью каких иных орбит  
костяк твой хлипкий снова крепнуть  
станет?

Земля, твоя стареющая мать,  
тираня нас болезненной любовью,  
на звездных свадьбах хочет пировать  
ревнивою и властною свекровью.

## МУСТАНГ

Как свобода, дикий и крылатый,  
трепетный и рыжий, как костер,  
он стоит среди степей Невады  
и копытом пробует простор.

Он косит цыганским глазом чистым,  
дрожь течет по шее на бока.  
Подзови его коротким свистом,  
вождь индейцев Твердая Рука!

Он с тобой разделит, как доверье,  
воли необузданной тоску,  
лишь прижмись короною из перьев  
к вытянутой шее на скаку...

Дикий запад. Дикий? То ли будет!  
Травы гербицидами сожрут,  
что там кони, одичают люди,  
джазы и транзисторы заржут,

и примчит к мустангу-полукровке  
на рысях бензиновых коней  
одичалый век в татуировке  
бешеных неоновых огней.

И лассо, взлетевшее над «джипом»,  
просвистит над чуткой головой,  
и сорвется с пеною и с хрипом  
солнце неба в гриве огневой.

И природа-мать увидит сына  
в судорогах смерти и тоски,  
и забьются рыбы о плотины,  
разобьются птицы о силки.

Не укроет саваном саванна  
жизни угасающей пожар,  
лишь с багром над тушей  
бездыханной  
у весов согнется мыловар.

И уже копытам не взорваться  
топотом галопа по плато...  
Старый вождь в одной из резерваций  
«колу» пьет в потрепанном пальто.

Бледнолицый брат его коварный  
галстуки за перья продает.  
А над желтым дымом мыловарни  
молодо хохочет вертолет.

КРИСТИАНУ БЕРНАРДУ

Человек лекарства глотает,  
Ворот рубашки рвет.  
Воздуха не хватает!  
Врач тяжело вздыхает:  
Долго не проживет...

Все скверно и безнадежно.  
И как избежать сейчас  
Вот этих больших, тревожных,  
Тоскливо-молящих глаз?!

— Доктор! Найдите ж, право,  
Хоть что-нибудь, наконец...  
У вас же такая слава  
По части людских сердец!

Ну, что отвечать на это?  
Слава... Все это так.  
Да чуда-то в мире нету  
И доктор, увы, не маг!

Пусть было порою сложно,  
Но шел, рисковал, не спрося.  
И все же, что можно — то можно,  
А то, что нельзя,— нельзя!

А что насчет «знаменитости»,  
Так тут он спускает флаг.  
Попробуй пройди сквозь мрак  
Барьера несовместимости!

Сердце стучит все тише,  
Все медленней крови бег...  
Ни черт, ни бог не услышит,  
Кончается человек...

Но что это вдруг? Откуда?  
Кто поднял поникший флаг?!  
Гений? Наука? Чудо? —  
В клочья порвали мрак?

Под небом двадцатого века,  
В гуле весенних гроз,  
Шагнул человек к человеку  
И сердце ему принес!

И вовсе не фигурально —  
В смысле жеста любви,  
А в самом прямом — буквальном:  
— На. Получай. Живи!

Чудо? Конечно, чудо!  
Ведь смерть отстранил рукой  
Не Зевс, не Иисус, не Будда,  
А отпрыск земного люда —  
Умница и герой!

И смело, почти отчаянно  
Он всыпал расизму перца,  
Когда, словно вдруг припаяно,  
Забилось в груди англичанина  
Черного негра сердце!

Все злое, тупое, дикое  
Он смел, как клочок газеты.  
Где выбрана цель великая,  
Там низкому места нету!

Пройдут года и столетья,  
Но всюду, в краю любом,  
Ни внуки, ни внуков дети  
Не смогут забыть о нем!

### ЖАВОРОНОК

Январь морозами ломил,  
февраль в гульбе беспутной  
вьюжил,  
март грыз дороженьки, чернил,  
кур напоил апрель из лужи.  
А май — хозяин сам с усам —  
пошел зеленым жизнетворцем  
по всем полям, по всем лесам,  
по мхам-болотам и озерцам.  
Он горд: «Моя пора пришла —  
и нет ни горестей, ни болей!»  
Вся синева звенит над полем  
во славу жизни и тепла!

Вон — жаворонка ввысь несет,  
вот и пропал он в синем небе  
и сыплет, льет журчащий щебет...  
Вдруг наземь камешком падет!  
Жене «люблю» шепнуть успел  
и вновь взлетел, исчез,  
запел!

### ТУЛЬСКАЯ ЗАСЕКА

Сижу я боком на телеге,  
дорога русская длинна,  
а в колеях и в конском беге  
былое, давность, старина.  
Теперь подобный случай редок —  
машина все да самолет,—  
и рад я, что качу, как предок,  
что прежний конь меня везет.  
Конечно, я не враг прогресса:  
так стало — так тому и быть!  
Когда ж нет спешки до зареза,  
добро — возок и волчья сыть.

Наш путь уже довольно долог—  
не знаю, два ли, три ль часа:

не в сказку ли ведет проселок,  
где что ни шаг, то чудеса?  
Сквозь полосу дубрав старинных,  
сквозь Засеку наш путь пролег.  
...А прежде, в вековых глубинах  
народ не делал здесь дорог.  
Он засекал, валил дубравы,  
чтоб неумной татарве  
за эти засеки-заставы  
проходу не было к Москве...

...Я еду, еду на телеге,  
дорога русская длинна.  
А в осени, как в конском беге,  
былое, давность, старина...

# Павел Антокольский

## КАЛИОСТРО

(четырнадцатая сказка времени)

1

На ярмарке перед толпою пестрой,  
Переступив запретную черту,  
Маг-шарлатан Джузеппе Калиостро  
Волшебный свой стакан поднес ко рту.  
И сразу пламя вырвалось клубами,  
И завертелась площадь колесом,  
И жарко стало, как в турецкой бане...  
И разбежался ярмарочный сонм!  
И дрогнула от дребезга и треска  
Вселенная... И молния взвилась!..  
Лишь акробатка закричала резко:  
— Довольно, сударь! Сгиньте с наших

глаз!—

Но возразил ей старый маг любезно:  
— Малютка, я еще не превращен  
В игрушку вашу! Поглядите в бездну,—  
И он взмахнул пылающим плащом.  
Она вцепилась в плащ и поглядела  
Сначала робко, а потом смелей:  
— Ну что же, маг, ты сделал наше дело —  
И мне винца, пожалуйста, налей!—  
Пригубила и, обжигая десны  
И горьким зельем горло полоща,  
Захотела: — Все-таки несносны  
Прикосновенья жгучего плаща...  
Но что бы ни было, я не трусиха.  
Ты, может быть, опасный человек,  
А все-таки отъявленного психа  
Я придержу на привязи навек.

Что с ними дальше было — знать не знаю,  
А коли знал бы — все равно молчок!  
Но говорят, что акробатка злая  
Сдержала слово — сжала кулачок...

2

В другой, изрядно путанной легенде  
Описаны их жуткие дела —  
На пустяки растраченные деньги:  
Девчонка расточительна была.  
Она и он добыли, что им надо,  
Не замечали пограничных вех,  
Европу забавляли буффонадой,  
Не час, не месяц, годы — целый век.  
Как видно, дьявол старика принудил  
Изнемогать от горя и любви.

И служит ей он, как ученый пудель,  
Все замыслы откроеет ей свои.

Летят года. Беснуется легенда  
И как попало главами пестрит.  
И вот уже зловредного агента  
Следить за ними выслал Уолл-стрит.  
В какой трущобе иль в каком трактире  
Заколот этот Шерлок Холмс ножом?  
Где в тучи взмыл ТУ сто тридцать четыре?  
Чей Пинкертон пакетами снабжен?

3

А в это время Калиостро скрылся  
На полстолетья, как на полчаса.  
Его архив грызет чумная крыса,  
А старикан с начала начался.  
Есть у него дворец и графский титул,  
Сундук сокровищ и гайдук-арап.  
Забронзовел, весь в прозелени идол,  
Владыка ада, все-таки он раб...  
Да! Ибо в силу некоего пакта  
Меж ним и автором явилась тут  
Все та же, та же, та же акробатка.  
О ней неправду сплетники плетут...  
Но что за мерзость — городские сплетни!  
Ведь акробатка — вечная весна,  
Ведь стосемидесятисемилетний  
Из-за нее одной не знает сна!

Смотрите же — в партере, на балконе,—  
Как действие стремительно идет!  
Несут карету бешеные кони,  
На козлах автор — сущий идиот!  
А позади — плечом к плечу две тени,  
Они страшны для чьих-то медных лбов.  
В сплетенье рук, в сцепленье двух смятений  
Вне времени свершается любовь...  
Там ждут востребованья сотни писем.  
Здесь лопается колба колдуна.  
От акробатки ветреной зависим,  
Он знает: жизнь исчерпана до дна.  
Он скоро сдохнет. Так ему и надо!  
Но мечется легенда наугад...  
Дай на пятак — стаканчик лимонада!  
Дай на целковый — парусный фрегат!  
За океаном — в Конго иль у Ганга —  
Единая однажды навсегда,

Все та же краля, выдумка, цыганка  
Взмахнет платочком красным: до свида...

4

Пора, пора! Еще ничто не ясно.  
Воображение — дерзкий проводник.  
Весь мир воображением опоясан,  
Он заново разросся и возник.  
Он движется вовне или внутри нас,  
На личности и роли нас деля.  
Он формула. Он точность. Он стерильность.  
Вкруг солнца вечно вертится земля.

Стучит тамтам. Гудят удары гонга.  
Кружение пар. Скольжение легких тел.

## ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

*Памяти  
Валентина Александровича Серова*

Финикийская царевна! Я не лгу!  
Помнишь, как на Средиземном берегу  
Повстречала ты Юпитера-быка,  
Как ласкала ты бычьи бока,  
Как сплела ты богу три венка  
И к нему вскочила на хребет.  
Началась пора побед?  
Но грозят, скользят, ползут века!  
Все-таки дорога не легка...

Средиземное проплыл я поперек,  
Все, что было, чего не было, — сберег, —  
Это не обида, не упрек.

Продолжается, кончается наш век,  
Не смыкай бессонных век — навек!

Не скучай же ни о ком,  
Разобшенная с Юпитером-быком,  
Освещенная неоновым огнем,  
Ленинградской белой ночью, словно днем,  
Обожаемая греком-стариком,  
Ты расскажешь детям сказочки о нем.

Никакой Юпитер-бык не заревет.  
Никакой междугородный телефон  
Межпланетных наших снов не оборвет.

Рукой подать до Ганга и до Конго.  
Кто захотел — мгновенно долетел.

5

Не представляя, что подскажет завтра,  
На полуслове обрубают автор.  
Он отвергает ложную мораль.  
Стучится в окна утренняя рань.  
Да и к чему служила бы мораль нам?  
В четвертом измеренье ирреальном  
Свершается кратчайший перелет:  
Маг новобрачным поздравленья шлет.  
Я посвящаю Женственности Вечной  
Рассказ про Калиостро-колдуна.  
В руках моих — не пузырек аптечный.  
Мне в руки даром вечность отдана.

Никакой заокеанский солдафон  
Не ревнует финикиянку чужую, —  
За ревнивцем послезу я!

Поднимай же, Евразийский материк,  
Ради мира, ради будущего крик!  
Кто бы ни были, дитя или старик, —  
Снаряжать пиратский бриг!  
Здравствуй, Питер-Петр!  
Приказать полкам на смотр!

Пусть Великий, или Тихий, океан,  
Полубелый, получерный, в доску пьян,  
Рыжий Каин, грешен, бешен, окаян,  
За рога возьмет быка на бордаж:  
— Эй, девчонка, ты мне ручки не подашь?  
Так спускайся по канатам мокрых рей,  
Руби канаты, —  
Здесь одна ты?  
Скорей!

Было дело. Это вечность проходила.  
Финикиянка-Европа невредима.  
Будет будущее. Ждать недолго.  
Рядом Миссисипи, Рейн и Волга.  
В час вечерней темноты  
Мы с тобой на «ты»?..

Что ж, кончать? — Я песню дотяну, —  
Только ты не обмани меня!  
Я с тобой не потону.

Назову тебя по имени:  
Навзикая, Навзикая!  
Возникая  
В колеснице,  
Руку дай!  
Что же снится,  
Угадай!  
— Снится мне мужик Зевес...

— О-го-го! Тяжеловес!  
— Снятся мне Афины, Фивы  
И другие перспективы.  
Снится Невский мне проспект.  
Пушкин площадь пересек...  
— Ишь создание дерзкое!  
— Честное пионерское!

## ЗЕРКАЛО

Я в зеркало, как в пустоту,  
Всмотрелся — и раскрылась  
Мне на полуденном свете  
Полнейшая бескрылость,  
Как будто там за мной неслась  
Орава рыжих ведьм,  
Смеялась надо мною всласть,  
Как над ручным медведем,—  
Как будто там не я, а тот  
Топтыгин эксцеленца  
В честь женщины — вот анекдот!—  
Выкидывал коленца.  
Но все-таки не он, а я  
Не справа был, а слева,  
И под руку со мной — моя  
Стояла королева.  
Так нагло зеркало лгало  
С кривой ухваткой мима.  
Все было пусто и голо,  
Сомнительно и мнимо.

\* \* \*

А. Н. Н.

Какой секущий ветер  
Вдоль Западной Двины!  
А что ее ты встретил,  
В том нет ничьей вины.  
Как лифты всех гостиниц  
Несутся вверх и вниз.  
Как злобно ощетинясь,  
Табачный дым повис.  
Как тонет в черном дыме  
Аэропорт чужой.  
Ты рядом с молодыми  
Состаришься душой.  
Не старься! Ты ведь плавал  
Когда-то а-ля брасс.  
Не старься, бедный дьявол,  
Хотя бы в этот раз!..

## ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Проходит год, проходит два,  
и вновь, уже неодолимо,  
влекут к себе утесы Крыма,  
где море плещется едва.  
С собой не в силах совладать,  
Москву бросаешь, предвкушая,  
какая радость ждет большая,  
какая будет благодать!

Благословенная земля  
нежданно принимает хмуро.  
Южанка — сложная натура!  
Глядит, услады не суля.  
Не то что лес — сам Чатырдаг  
от глаз завешен облаками.  
Машины движутся рывками.  
Асфальт не виден в двух шагах!

Зажженных фар мутится взгляд.  
День превратила в ночь погода!  
Дорогу взяли тучи с хода,  
они в долины с гор валят.  
Дождь бьет в стекло, дубасит в  
жесть.

Деревья с лета вихрь арканит.  
...А к вечеру и ветерка нет,  
и успевает высь расцвести!  
Во весь размах голубизна!  
На залитые солнцем скалы  
дождя сверкучие кристаллы  
роняет крымская сосна.  
И ощущается приток  
такой воздушно-зыбкой неги,  
как будто женский образ некий  
витает где-то между строк!

## ГОРНОЛЕСЬЕ

На сумасшедшей крутизне  
сосна к сосне, сосна к сосне!  
Гудят стволы. Вскипают кроны.  
Подножье — камни! Кто им рад?  
Но сосны горные царят,  
забыв, сколь шатки эти троны.

Их обвивают облака,  
сползая к ним издалека,  
сползая с гор к морской пучине.  
Их глушит криком черный гриф,  
свой клюв на взморье обагрив,  
вопя в тоске по мертвечине.

Мир дикой мощи вековой,  
обвалов воздух грозовой  
грозят бедой автомашине.  
Защиты у лесов искал  
тот, кто громил врага средь скал,  
тот, чья могила на вершине.

Кому что силу придает,  
кто славу чью передает, —  
о том не ведаю я твердо.  
Но сосен слышу голоса!  
И Партизанскими леса  
в Крыму я называю гордо.

## ГОЛУБОЙ УРАЛ

Урал зимою голубой!  
Нагорный колорит сапфирен,  
хоть дым над заводской трубой,  
фонтаны пара у градирен.

Звенит мороз как телефон.  
Даль — золотое многоточье!

Подспудных тайн железный сон  
леса оберегают ночью.

Ночь в голубой легла сугроб  
и смотрит ввысь, где звезд немало:  
неужто там так много проб  
берут кипящего металла!



## Анисим Кронгауз

### ДВОРЫ

На дворе трава,  
На траве дрова.  
Нет ни дров,  
Ни травы —  
Полон двор  
Детворы.

В песке окопы вырыты  
По правилам науки.  
Но полководцы — сироты,  
А остальные — слуги.

Статисты и премьеры,  
Готовые почти,

У них свои карьеры,  
У них свои вожди,

У них свои градации,  
У них свои традиции,  
У них свои Горации,  
У них свои патриции.

На дворе трава,  
На траве дрова.  
Нет ни дров,  
Ни травы,  
А дворы, дворы,  
Как миры, миры...

## Михаил Танич

### ДОВОЕННЫЕ ВЕЩИ

Пойдемте со мною —  
Хотите? —  
Под сводами белых ночей  
По лесенке лет и событий  
В музей довоенных вещей.

Поедем в автобусе АМО  
К моим безмятежным годам!  
Вы только послушайте —  
Мама  
Для нашей соседки — мадам!

И примус чихает горелкой,  
И так до войны далеко!  
И черный динамик тарелкой  
Все ищет свою Сулико.

И к ходикам  
Кто-то неплохо  
Придумал подвесить утюг,  
И это не стрелки —  
Эпоха  
Проходит свой финишный круг.

Был май.  
Был июнь.  
И суббота.  
И солнце садилось вдали  
За плац,  
На котором пехота  
Кричала:  
— Коротким — коли!

# Николай Тряпкин

\* \* \*

Днем и ночью, снова днем и ночью  
Подступают к сердцу те слова...  
Да по всей Двине, по Заволочью  
Раскидались песен острова.

И не нам менять сии скрижали,—  
По-иному, значит, не смогли...  
Мы кошель на Вычегде связали,  
А слова с Онеги принесли.

Принесли вот так — по вольной воле...  
Да святятся снова те края!  
И пускай на песельном приколе  
Запоет вся Ладога моя.

Да взревет над Свирью бор сосновый!  
И тогда, не ведая преград,

Пусть пройдет над нами стоветровый  
Огневой всемирный листопад.

И возьму я посох свой дорожный  
И пойду весною в те концы.  
И пускай с краскою непреложной  
Подступают к сердцу городцы.

Изопью воды у тех оконниц,  
Чтобы в горле булькал соловей...  
Снится Устюг, ласковый Олонец  
И соцветья рубленых церквей.

И на крыльях славы и печали  
Проплывут над нами журавли...  
Мы кошель на Вычегде связали,  
А слова с Онеги принесли.

## ЮНОСТЬ

Клокочет котлами, готовый в поход,  
Мой дом пассажирский — речной пароход.

Сейчас просигналим — и выйдем туда,  
Где звонко на кручах поют города,

Где звери по тропкам сбегают к воде,  
Где солнце завьется в моей бороде.

Ах, синяя речка! Веселый баклан!  
Раскурим по трубочке, мой капитан.

Ах, белая лебедь! Сиреневый чад!  
Пускай над водою все птицы кричат.

Вчера еще здесь ледоход проползал,  
А нынче я пальцы кладу на штурвал.

Сейчас просигналит веселый гудок —  
И там, за бортом, закачается док.

А нутка по трубочке, мой капитан!  
Река собралась в голубой океан.

Пускай перед нами все птицы кричат,  
А есть на земле еще озеро Чад.

Ах, синей рекою по вольным краям!  
Пусть солнце ударит по всем якорям.

Да здравствует солнце! Да скроется тьма!  
Про это мне пела подружка сама.

Да здравствует юность и весь ее цвет!  
А мне уже снова — четырнадцать лет.

И пусть по окошкам знакомых светлиц  
Летит краснокрылая почта зарниц.

А мы просигналим — и выйдем туда,  
Где звонко на кручах поют города.

## ЗА РЕЧНЫМИ ПЛЕСАМИ...

За речными плесами —  
Снова грачий грай.  
Сколькими покосами  
Прозвенел мой край!  
Только свист вполголоса  
Да пыльца на пнях.  
От ржаного колоса  
Хорошо в полях!

Городьбой гороженный  
Злато-русый Глеб —  
Да святится всхоженный  
Испоконный хлеб!  
И пускай в три яруса,  
Над дымком жилья,  
Журавлиным парусом  
Зашумит земля.

Гей, трава-полевица,  
Гулевой разгон!  
Пусть выходит девица  
На высокий склон.

Со снопами злачными  
Поднимай шести!  
И цветами брачными  
Убирай кусты!

И пускай журавики  
Клонятся под нож.  
Да святится навеки  
Дедовская рожь!  
Изогнутся луками  
Годы-времена —  
И с моими внуками  
Зашумит она!

Эй ты, гей, за плесами  
Чернокрылый грай!  
Сколькими покосами  
Прозвенел мой край?  
Только свист вполголоса  
Да пыльца на пнях.  
От густого колоса  
Хорошо в полях!

## Яков Хелемский

\* \* \*

Самовлюбленность — жалкий грех  
Поистине, самовлюбиться —  
Как совершить самоубийство,  
При этом на виду у всех.  
Бесценной личностью своей  
Под стать Нарциссу умиляться,  
Ведь это значит — умаляться  
В глазах порядочных людей.  
Самонадеянность всегда —  
Порок душевного невежды.  
Себе он подает надежды,  
Себе и только — вот беда!  
Себе единственному рад,  
Не знает он иного бога,  
Поскольку скромность, говорят,  
К забвенью верная дорога.  
Такой, покуда он в живых,  
Себя забыть не даст, поверьте,  
Но канет в Лету после смерти  
Без промедленья, в тот же миг.

А скромность могут разглядеть  
Не сразу. Так, увы, бывает.  
Но честный дар не убывает,  
Он будет развиваться впредь.  
Его девиз — не хлопоча,  
Не пыжась, не вредя соседу,  
Лишь мастерством добыть победу,  
А не пробойностью плеча.  
Да и зачем таланту прить?  
Самовлюбленное усердьё,  
Забота о своем бессмертьё  
Зачем? Они мешают жить.  
А если мастер и умрет,  
Не признан, даже не опознан,  
Он к жизни рано или поздно,  
Но возвратится в свой черед.  
Дорогу к людям проторив,  
Он улыбнется им устало,  
Естествен и несуетлив,  
Как долгожителю пристало.

\* \* \*

Вот уже и лето на ущербе.  
Ночь длинней. Но в этом нет беды.  
Август — хлебодар и виночерпий —  
Собирает злаки и плоды.

Вот уже уборка на исходе,  
На подходе ранняя зима,  
Но, как это водится в природе,  
Осень заполняет закрома.

Тучи нависают все угрюмей,  
Время старостью убелено.

Но с тобой—насущенный хлеб раздумий,  
Опыта крепчайшее вино.

Блеск весны, и летний жар, и осень  
Вырастили этот снежный день.  
Три прошедших времени возносят  
Самую высокую ступень.

Как в ракете, так и в жизни тоже  
Три ступени вовсе не предел.  
Может, век для той четвертой  
прожит,  
Для зимы, для самых мудрых дел.

\* \* \*

На Пласа Пуэрта дель Соль,  
Среди магазинного блеска  
Глубинная грозная боль  
Пронзает внезапно и резко.

В разгаре мадридского дня,  
За множество лет не состарясь,  
Она настигает меня  
У мелкой реки Мансанарес.

Окраинный Карабанчель,  
Чье имя как гром барабана.  
Он весь — попадание в цель  
И сам — незажившая рана.

А нынешний город уже  
Давно не похож на вчерашний.  
Что скажут ранимой душе  
Сквозные современные башни?

Напрасно врываются в стих  
Соборы, отели, казармы,  
Монахи в сутанах глухих,  
В лихих треуголках жандармы.

Ревут, словно стадо быков,  
«Рено» и «фиатов» моторы.  
Сигнал, как мулета, багров,  
И дразнят быков светофоры.

Но, красному цвету близки  
(С виденьем таким не расстанусь),

Пронесется грузовики  
С веселыми милисианос.

Гитара по-русски звенит,  
Матросы шагают с плаката.  
Влюблен осажденный Мадрид  
В трагедию «Мы из Кронштадта».

По шумной Гран Виа иду  
(Ее переименовали).  
«Гайлорд» и «Флориду» найду  
На улице этой едва ли.

И все же не где-то, а в них,  
В гостиницах тех опаленных,  
Встречался «Испанский дневник»  
С тирадами «Пятой колонны».

Пусть город вчерашний, увы,  
В сегодняшнем виден все реже,  
Людские сердца не мертвы,  
И лица прохожих все те же.

Туристский автобус ползет,  
Былыми ветрами исхлестан,  
С университетских высот  
Спускаясь к Толедскому мосту.

И вновь отдается в ушах  
Штабная суровая сводка,  
Кольцова стремительный шаг  
И грузного Хема походка.



## ЯЛТИНСКИЙ ДОМИК

Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,  
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,  
как мне ни странно и как ни печально, увы,  
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Годы проходят, и — как говорится — «сик транзит  
глория мунди», — и все-таки это нас дразнит.  
Годы куда-то уносятся, чайки летят.  
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.

Грустная желтая лампа в окне мезонина.  
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.  
Белые бабочки вьются над желтым огнем.  
Дом заколочен, и все позабыли о нем.

Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.  
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.  
Письма на полке пылятся — забыли прочесть.  
Мы еще будем когда-то, но мы еще есть.

Пахнет грозью, в погоде видна перемена.  
Это ружье еще выстрелит — о, непременно!  
Съедутся гости, покинутый дом оживет.  
Маятник медный качнется, струна запоет...

Дышит в саду запустелом ночная прохлада.  
Мы старомодны, как запах вишневого сада.  
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.  
Мы уже были, но мы еще будем потом.

Старые ружья на выцветших старых обоях.  
Двое идут по аллее, мне жаль их обоих.  
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.  
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.

## ГОДЫ

Годы двадцатые и тридцатые,  
словно кольца пружины сжатые,  
словно годичные кольца,  
тихо теперь покоятся  
где-то во мне,  
в глубине.

Строгие годы сороковые,  
годы воистину роковые,  
сороковые, мной не забытые,

словно гвозди, в меня забитые,  
тихо сегодня живут во мне,  
в глубине.

Пятидесятые, шестидесятые,  
словно высоты, недавно взятые,  
еще остывшие не вполне,  
тихо сегодня живут во мне,  
в глубине.

Семидесятые годы идущие,  
годы прошедшие, годы грядущие,  
больше покуда еще вовне,  
но есть уже и во мне.

Дальше — словно в тумане судно,  
Восьмидесятые — даль в снегу,

и девяностые — хоть и смутно,  
а все же еще представить могу.

Но дальше мой век уже не  
захватывает —  
произношу их едва дыша:  
год две тысячи — сердце падает  
и замирает моя душа.

## Василий Гришаев

### ВОСХОД

Не голубой  
и не багровый,  
седая прядка по виску.  
Седая птица над дубровой,  
седое облако — в реку.  
Седое утро... Как у Блока.  
Так это Родина и есть?  
Без нареканья, без упрека  
день прячется за тучи. Весь.

И вновь такой.  
Но что случилось?  
Чья кровь в реке отражена?  
Иль это старая лучина,  
не догорев, накалена?

Сейчас придут,  
ее обломают —  
и зашипит, в ведро упав...  
Клубится в небе красный омут,  
как окровавленный рукав.

Да, быть грозе...  
И загудело!  
И гром, и блеск,  
да в ливень дождь.  
А солнце  
в редкие пробелы  
глядится —  
что ему за дело! —  
и сыплет золото на рожь.

### СЕДОЕ СОЛНЦЕ

Взошло — седое, как планета,  
в морозном инее земном,  
и не в соболий мех одето,  
не в тех ветрах,  
и не согрето  
кипучим солнечным огнем.

Ты что же, солнце, в заволоке  
плывешь, медвежьей шерсти  
клок, —  
и от сугробов недалеко,  
а без землянок и берлог?  
Тебе декабрь свое дыханье,  
сердитый старец, подарил.  
И вот несет, как на закланье,  
под вечным холодом светил.

Какой звезды лучи живые  
тебя достанут, обожгут?  
Они — холодные, чужие —  
в морозном трепете живут.

Седое солнце!  
Ты приходишь  
в наш северный дремучий край  
нечаянного гостя вроде.  
Ну, задержись, огнем вспылай!..  
А ты — уж за сугроб, седея.  
На что надеюсь, на кого?..

Но мы — мы верим в чародея.  
Ведь столько весен у него!

# Илья Френкель

## ПЛОЩАДЬ И МУЗЕЙ

БЕЗ МИКРОФОНА

Москва 1923 года. Театральная площадь, почти такая же, как сегодня. Только в тот день от Красной площади до фронтона Большого театра стояли в строю красноармейские полки. Опять грозила нам Антанта, и вся Москва, рабочая, студенческая и военная, вышла на улицы протестовать.

Наша колонна возле здания Думы (ныне — Музей Ленина). Оттуда я вижу четверку бронзовых коней, а над кустарниками сквера мерцают тысячи штыков. Прозвучало «смирно», и его повторили голоса многочисленных командиров. Оркестры умолкли, оборвалась песня на словах:

От тайги до британских морей...

Стало не то чтобы тихо, а безмолвно. Четверть века спустя, оставляя Николаев, мы взорвали доки бывшего Французского завода. Грохот взрыва не был слышен: его не уловило человеческое ухо из-за низкой частоты. Лишь колыхнулась земля и на мгновение сделалось тошно.

А теперь, стоя на площади, я еще не мог понять природы наступившей тишины.

И эту громоподобную паузу нарушил голос невероятной силы и тембра. Он произносил слова размеренно, но с энергией.

Говорил Маяковский с крыши броневой машины.

Это были стихи, но они звучали, как команда:

Разворачивайтесь в марше...

«Левый марш», но какой-то другой, первоначальный, будто сейчас создаваемый стенами зданий, мерцанием штыков, безмолвием участников этого удивительного парада.

Взор ли померкнет орлий?  
В старое ль станем пялиться?  
Крепи у Керзона на горле  
Пролетариата пальцы...

Импровизация пришла настолько ожидающе, что мне еще раз показалось, что слова «у мира на горле» я сам перефразировал. Колонны Большого вибрировали, как струны, и ото всех стен в мою грудь рикошетом летел могучий голос. Поймал себя на том, что губы сами шевелятся. Взглянул на соседку — и у нее. У соседа одного, другого рты полуоткрыты:

Коммуне не быть под Антантой!

Левой...

Вряд ли кто-нибудь заметил, как последние строчки рефрена перешли в команду. Только войска двинулись и штыки образовали волнистую линию. Трещали барабаны, раздавался мерный топот, и вся масса войск зашагала, хором повторяя: «Левой... Левой... Левой...»

В то время поэты еще не пользовались микрофоном, а Маяковский и так был слышен.

КАК ПИСАТЬ СТИХИ?

Очень люблю Политехнический. Больше всего ту аудиторию, где, начиная с двадцатых годов, происходили встречи московской молодежи с людьми искусства, и не только искусства. Там, например, шла горячая





полемика между Луначарским и ораторами так называемой «живой церкви». Слушатели дивились эрудиции, изяществу аргументов, восхищались логикой и самим церемониалом турнирной борьбы. В своей жажде познания публика была ненасытна. Уверяю — народ шел в Политехнический музей не из страсти к очевидению скандалов. Конечно, приходили и завсегдатаи, — я из их числа. И ту аудиторию я люблю потому, что в ней выступал Маяковский.

За два часа до начала вечера у пузатых колонночек музея бушевала толпа жаждущих проникнуть. Азарт посетителей не могли охладить милиционеры. Они как-никак тоже являлись участниками поэтических вечеров. Покачиваясь на своих высоких подвижных трибунах-седлах, весьма красивые, на очаровательных конях, вычищенных и причесанных, словно в честь предстоящего вечера, ребята явно нам сочувствовали. Однажды какой-то хлопец, став перед милиционером, читал «Хорошее отношение к лошадям», и милиционер не усмотрел в этом желание «нарушить» и сказал не «давайте не будем», а «небось Маяковский», конь же поглядел на чтеца с полным взаимопониманием...

На один из таких вечеров я пришел вместе со Светловым. Лошадь фыркнула над моим ухом, и мы прошли в здание. Вообще-то я старался не пропустить ни одного мероприятия, где выступал или мог выступить, даже просто присутствовать любимый поэт.

Поток посетителей, клубясь и шумя, прорвался в аудиторию. Мы оказались на самом верху, на галерке. Там не было сидений. Людям, впрочем, нравилось слушать и смотреть стоя. Тем более что за спиной была стена, так что галерочник никому не застил, а голос Маяковского и акустика не нуждались в усилении.

«Как делать стихи?..» Сегодняшнему читателю известна эта работа Маяковского, наряду с другими. Описывать воздействие личности и мастерства оратора — задача неблагоприятная, и хочется рассказать о другом.

Маяковский превосходил своих коллег находчивостью и остроумием. Многие его экспромты становились крылатыми. Особенно когда он бросал реплику «в адрес» поэта. Поэты, знакомые публике, широко печатающиеся, конечно, стремились попасть на вечера Маяковского. Рисковали быть мишенью, а все-таки приходили.

— Знаешь, старина, я хочу слышать о себе из первоисточника, — сказал Светлов. — У меня есть основание: ты же читал мою эпиграммку на Маяковского. Далекое не шедевр. На месте Владимира Владимировича я что-нибудь отмочил бы...

И мы подпирали стену, наслаждаясь теснотой и оживлением, — что может быть приятней для героя вечера?

Записки не были еще модой или частью регламента, — то и дело вспыхивали громкие замечания. Маяковский стоял на трибуне с толстой тростью в руке — регулировал накал страстей.

— Стоп! — возглашал он и указывал тростью на репликанта, ошибочно найдя его в публике. Чувствовалось, что он в отличной форме и доволен творческой атмосферой в зале. — Вот вы, — что у вас там, выкладывайте...

...В какой-то момент мы потеряли ниточку внимания, потому что все расхохотались: девушка, на которую уставилась трость, вместо слов икнула и в смущенье уселась.

— Поехали дальше, — сказал Маяковский. — Теперь послушайте, как надо писать...

В другой его руке оказался раскрытый журнал. И все стихло.

— «Гренада», — торжественно сказал Маяковский и обвел зал глазами. Стало еще тише.

Мы ехали шагом,  
Мы мчались в боях

И «Яблочко»-песню  
Держали в зубах.  
Ах, песенку эту  
Доныне хранит  
Трава молодая —  
Степной малахит.

Светлов побледнел, закрыл глаза и начал сползать. Я подхватил его. А «Гренада» продолжала изливаться из восторженного сердца чтеца. И глаза его, в микросекундные промежутки между строфами, подымались вместе с голосом. И мой друг сжимал мне потную руку, слушая стихи так же, как любой человек в этой аудитории.

Не надо, ребята,  
О песне тужить.

После «Гренады» еще длилось молчание. Потом все встали, захлопали в ладоши, заговорили. А Маяковский повторил:  
— Вот как надо писать...

## Сергей Наровчатов

### У КАЖДОГО ИЗ НАС БЫЛА СВОЯ «РОСТА»

В разгаре работы над докладом о Маяковском я вдруг подумал: «А ведь у каждого из нас была своя «РОСТА». В заводских многотиражках, в районных газетах, во фронтовой печати проходили мои товарищи школу прямого слова, бьющего непосредственно в цель. Бок о бок со мной в армейской газете работали сперва Михаил Луконин, а потом Александр Прокофьев, и я убеждался, какими точными были их поэтические выстрелы.

В «Сыне Родины» — газете 13-й армии и «Отваге» — газете 2-й Ударной армии сохранились и мои стихотворные строчки. Никогда я их не включал в сборники, они и впрямь — «как безымянные, на штурмах мерли наши» — умирали, сделав свое дело. И ради этого дела они заслуживают мимолетного воскрешения: пусть читатели младших возрастов, и среди них поэты младших поколений, хоть на миг ощутят шинельное сукно солдатского стиха, облекавшее когда-то наши плечи.

### ВСЕ ПУТИ ЗАКАЗАНЫ НАЗАД!\*

Над Русью вновь летят седые ветры,  
И красный диск, верша круговорот,  
Над горестной, над древней, над пресветлой  
Мамаевым побоищем встает.

Плечо горит... Но биться без оглядки,  
Но не подпасть под смертной боли власть  
И, зубы сжав, перед последней схваткой  
К земле родной, как к матери, припасть.

Нам все пути заказаны назад.  
И небо, цвета омота речного,  
И ветры поседелые летят,  
И поле словно поле Куликово.

1941

## ПЕСНЯ О САНИТАРЕ\*

Если ты вдруг упадешь на бегу,  
Завертится земля под тобой,  
Тебя не оставит в добычу врагу,  
Тебя не оставит лежать на снегу  
Наш санитар боевой.

Горячая кровь захлещет ключом,  
Он крови остановит ток,  
Он от смерти тебя заслонит плечом,  
Штурмовавшего Запад ночью и днем,  
Он тебя поведет на Восток.

На бескрайний Восток, на спокойный  
Восток,  
Где свинцовых не слышно бурь,  
Где к жизни проложены сотни дорог,  
Где тебя тишина зазовет на порог,  
Слыхавшего посвист пуль.

Ты скажешь врачу: — Лечи не лечи,  
А видно, пришел конец,  
Теперь не помогут, пожалуй, врачи,

Недаром бойца подстерег в ночи  
Проклятый немецкий свинец.

Врач ничего не скажет в ответ,  
Но через месяц-другой  
Ты сам поймешь, что не в 20 лет  
Прощается с храбрыми белый свет  
И что смерть не спозналась с тобой.

Ты снова в часть возвратишься свою,  
И, с новыми силами, вновь  
Встанешь как равный в походном строю,  
И с лихвой врагу отомстишь в бою  
За свою и товарищей кровь.

Так помни и знай: боевых друзей  
На бой ведя за собой,  
Всюду следит за судьбой твоей,  
Всюду спасет от семи смертей  
Наш санитар боевой.

1941

## НАШ РАСЧЕТ\*

Нас с товарищем в расчете  
По работе узнают,  
А за дружбу — в нашей роте —  
Неразлучными зовут.

Нас привыкли видеть вместе  
За учебой боевой,  
За работой и за песней  
И за кашей котловой.

Крепко дружим, вместе служим,  
День вдвоем и ночь вдвоем,  
С боевым своим оружием  
Тоже в дружбе мы живем.

До последней шайбы смазан,  
Никогда не подведет  
Наш товарищ безотказный,  
Наш бессменный пулемет.

Так живем мы с пулеметом,  
Дело спорится в руках,  
А пойдет в сражение рота,  
Мы с товарищем в боях.

И в бору, и в поле чистом,  
В дождь ли, в ведро ли, в метель,  
Будем дружно бить фашистов,  
Пуля к пуле — прямо в цель!

1942

## ЗНАМЯ ПОЛКА\*

Однажды нам смерть засмотрелась в лицо,  
Запаяли враги огневое кольцо...

От командира и до стрелка,  
Мы знали: назад ни шага,  
Стойкость в бою — это знамя полка,  
Это воинская присяга.

И насмерть встал присягнувший полк,  
И каждый из нас по фашисту убил.  
Мы насмерть стояли — и враг не прошел,  
Мы насмерть стояли — и враг отступил.

С тех пор, где б с врагами ни бился я,  
Едва лишь бой закипает,  
Мне сердце твердит  
И винтовка моя  
Огнем за ним повторяет:

Лишь смелым и цепким Победа близка,  
Назад не отступим ни шага!  
Стойкость в бою — это знамя полка,  
Это воинская присяга.

1942

## Семен Сорин

### ЭСМИНЕЦ

Не в запас — на переплавку списанный,  
Ожидал у пирса свой черед.  
Но сказал сквозь зубы штатский с лысиной:  
— Старая калоша, но сойдет...

И на борт пошла, полезла с хохотом  
С киноаппаратами орда.  
Всяко было — сносно или плохо там,  
Так — травы до смерти! — никогда.

Пусть одежду скинули стилижную,  
Всунуться во флотскую спеша, —  
Под тельняшкой хлопчатобумажною  
Стыла сухопутная душа.

А какой красавчик смотрит с мостика —  
Близко бы таких не подпускать!  
Ручку телеграфа дергать бросьте-ка,  
Это же не воду вам спускать!

Эх, куда бы лучше не с красивыми —  
С прежними, с кем плавал — будь здоров!  
Оробел под кинообъективами  
Истребитель вражьих крейсеров.

Да еще актриса в куртке кожаной —  
Тут помянешь в гневе всех родных.  
Жаль, без женщин фильмы не положены,  
Сборы, говорят, малы без них.

Мчался на попавших в поле зрения,  
А теперь раз пятьдесят на дню

Дуги интенсивного горения  
Заставляют вздрагивать броню.

Худо, брат, но требуют — лавируешь,  
Даже подставляешь бок волне.  
Но зачем ты, лысый черт, нервируешь —  
Кажешь четверть правды о войне?

Наплевать, товарищи хорошие,  
Как и что подумает слюнтяй.  
Называй хоть старую калошею,  
Только правду крупным планом дай!

Тяжко привыкать к киношным фокусам,  
Коль на штучки-дрючки не мастак.  
И вздыхал, и вздрагивал всем корпусом,  
Если что с машиною не так.

До чего ж дотошные киношники:  
То посемафорь, то погуди.  
Ладно, нажимайте, полуночники,  
Цель его святая — впереди.

Помнит он «Ташкент» — эсминец тонущий,  
Помнит нефть, горезшую вокруг,  
Помнит не дождавшиеся помощи  
Факелы взметнувшиеся рук.

Пусть не совладать с судьбою старящей,  
Он, с грядущим на одной волне,  
Погибая, воскрешал товарищей,  
Что лежат на черноморском дне.

МАЛЬЧИКАМ  
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

От мешков вещевых горбаты,  
От винтовок и станкачей,—  
Непрерывно брели солдаты  
Через чад фронтовых ночей.  
Я запомнил их поименно  
(Год был яростен и суров).  
Под рубахами их — знамена  
Перебитых в бою полков.  
Молчаливые, точно камень,  
В соли пота и соли слез.  
Я тащил вас, скрипя зубами,  
По ничейным дорогам нес,  
Чтоб потом, в свой черед и муку,  
Плыть на ваших руках, в бреду,  
По горячему, словно уголь,  
Будто кровь молодая,— льду.  
Мы бывали хмельны без водки —  
Нараспашку рванье рубах!  
И любовь моя — одногодки  
Умирали в моих руках.  
Умирали, шептали: «Мама...»,  
Сердце билось еще пока.  
И была у дороги яма  
Вам прибежищем на века.  
Я вас помню в кровавых росах,  
Где — разрыв, а потом — ни зги,  
Ваши грузные, как колеса,  
Задубевшие сапоги,  
Ваши выжженные шинели,  
Тенорок, что в бою убит,  
Ваши губы, что занемели  
И для жалоб, и для обид.  
Сколько прошлое ни тряси я —  
Все одно и то же, как стон:  
«Лишь была бы жива Россия  
Под зарею своих знамен!»  
Я запомнил навек и свято  
Ржавый дым и ожог жнивья,  
Дорогие мои ребята,  
Мои мальчики, кровь моя.  
Грубоватые и земные,  
Вышло голову вам сложить,  
Вышло — вас пережил я ныне,  
Дай бог память не пережить.  
Вас запомнят века другие,  
Всей безмерной земли края,  
Братаны мои дорогие,  
Мои мальчики, кровь моя...

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Горнолыжники  
Приэльбрусья!  
Наслаждение наблюдать!  
Не раздумывая,  
не труся,  
Мчатся с гор  
под углом сорок пять!  
Я над ними,  
как недотрога, —  
В кресло сел  
и смотрю с высот:  
Парнокресельная  
дорога  
На ладони  
меня несет!  
При содействии  
той дороги,  
Невесомый почти —  
наяву, —  
Свесив сверху  
лыжи и ноги,  
Я над лыжниками  
плыву.  
Вот где мы  
головы  
не склоним —  
Даже  
ниже меня —  
Терскол.

Подо мной  
по высотным склонам  
Горнолыжный  
скользит  
комсомол!  
Вижу сверху  
лыжные трассы —  
И мне ясно,  
как дважды два:  
Горнолыжники —  
это асы!  
Это —  
молния мастерства!  
То орлины,  
то лебедины —  
Крылья вскинули —  
и летят!  
«Балеруны»  
и балерины!  
Каждый годен  
в Большой театр!  
Перед молодостью  
скоростною,  
Как в президиуме,  
сизу.  
И «Луна»<sup>1</sup> внизу  
подо мною,  
С высоты  
на нее  
гляжу.

<sup>1</sup> «Луна» («Ай») — кафе в Приэльбрусье.

МИНВОДЫ

...мыслит жизни нить  
В волнах целебных укрепить...

*А. Пушкин*

От болезней  
лечась незваных,  
Пряча в воду,  
что ль,  
их «концы»,  
Я купался  
в нарзанных  
ваннах,  
Как в шампанском  
когда-то  
купцы...

Я довольствовался  
нарзаном,  
И — вовнутрь  
принимал  
нарзан.  
А того,  
что совсем  
нельзя нам,  
Не попало  
ни грамма  
в стакан.

Потому что  
                        не сдался скуке,  
Слушал:  
                        только что —  
  в гуле скал,  
В эполетах,  
                        в копытном стуке,  
В листьях осени,  
                                в птичьем вспуге—  
Юный Лермонтов  
                                проскакал!  
Все тут —  
                        классикою  
                                дышало!  
Приглашало,  
                        влекло в полет!  
И снижаться  
                        не разрешало —  
Ни с каких высот —  
                                до болот.  
А кругом —  
                        подрастает  
                                юность!  
Не моя,  
                        а чужая —  
                                пусть!

## ГОРЯЧИЙ СНЕГ

*Песня*

*Юрию Бондареву*

Клубились яростно метели  
По сталинградской по земле.  
Дымились потные шинели,  
И шли солдаты по золе.

И танк в сугробе — как в болоте,  
И бьют снаряды по броне.  
Снежинки таяли в полете,  
Как ветки с листьями в огне.

И падал в битве человек  
В горячий снег, в кровавый снег.

Смертельной битвы этой ветер,  
Как бы расплавленный металл,  
Сжигал и плавил все на свете,  
Что даже снег горячим стал.

(Я цвету,  
                        на нее любуюсь!) —  
Учит  
                        лириков  
                                наизусть.  
Так светло тут  
                                и так кислородно!  
И повсюду —  
                                гениев след!  
От Бештау  
                                до Кисловодска —  
Нашей классики  
                                вечный свет!  
Здесь  
                        слепил нас  
                                алмаз  
  Эльбрусский,  
Где земля  
                                и небо слились,  
Здесь  
                        вершинам  
                                поэзии русской  
Мы и кланялись  
                                и клялись.

И за чертой — последней, страшной,  
Бывало, танк и человек  
Встречались в схватке рукопашной,  
И превращался в пепел снег.

Хватал руками человек  
Горячий снег, кровавый снег...

Опали белые метели.  
Цветами стали по весне.  
Большие годы пролетели,  
А ты все сердцем — на войне,  
Где отпевали нас метели,  
Где в землю многие легли.

...А дома — мамы поседали.  
...У дома — вишни зацвели.  
А у тебя в глазах навек —  
Горячий снег, кровавый снег.

## НЕЖНОСТЬ

Поэты  
в возрасте  
не вешнем,  
Друг друга  
в обществе своем —  
В противоречье  
с видом внешним —  
Как в годы юные  
зовем;  
Уже —  
почти «выходим в классики»,  
И — давят годы  
на плечо,  
А мы —  
все К о л е н ь к и  
и В а с е н ь к и,  
А мы —  
все П а в л и к и еще!

### Варвара Родченко

#### ВМЕСТЕ С МАЯКОВСКИМ

На обложке «Дня поэзии» помещен силуэт В. В. Маяковского, ранее неизвестный читателям. Он выполнен моим отцом, художником Александром Михайловичем Родченко, в 1940 году.

В то время отец работал над оформлением известного однотомника Маяковского. Он долго добивался наиболее выразительного решения переплета и, наконец, обратился именно к форме силуэта. Был разработан ряд вариантов. Один из них был выбран для однотомника, другие остались в архиве.

Силуэт, публикуемый здесь впервые, — один из этих вариантов.

Отец горячо любил Маяковского, был связан с ним годами совместной работы. В 1939 году по просьбе Музея В. В. Маяковского он написал воспоминания о поэте. Вот отрывки из них.

«1920 год. 2 октября 1920 года на 19-й Государственной выставке я выставил 57 работ. Выставка открылась в «Салоне» на Большой Дмитровке, на вернисаже был Маяковский. Он подошел ко мне... Это было первое знакомство с Маяковским...

С тех пор я начал ходить на Водопьяный переулок на Мясницкой, отсюда же началось знакомство и с Асеевым и другими.

Меня Маяковский с первого раза звал «старик», а я его Володя; он был моложе меня всего на два года...

1923 год... Я начал фотомонтажи для «Про это»... Сделал обложку и 11 монтажей.





Тогда же начал работать по рекламе для общества «Добролет», сделал значки и плакат «Тот не гражданин СССР, кто «Добролета» не акционер».

Как-то вечером мы сидели на Тверском бульваре в павильоне — Володя, Асеев и я. Они стали смеяться над этими стихами «Добролета», зная, что я делал этот плакат, и предполагая, что это стихи какого-нибудь плохого поэта. Я обиделся и стал их ругать за то, что они не пишут текста к рекламам, а что этот стих — мой и получился он случайно, я просто сократил и переставил данный мне текст. Он был такой: «Тот не гражданин СССР, кто не состоит акционером «Добролета».

Не знаю, это ли дало толчок, или Маяковский уже собирался, а потому и заметил плакат, но только вскоре он предложил мне делать рекламы — для ГУМа...

Началась наша совместная работа. Марка была такая: «Реклам-конструктор МАЯКОВСКИЙ — РОДЧЕНКО».

Работали с огромным подъемом...

1924 год... Работа над советской рекламой — создание нашей новой рекламы — шла на полный ход...

Придешь, оказывается, ему нужно написать текст или вычертить что-нибудь. Он не любил чертить и вымерять. Он любил все делать от руки. Все сразу нарисует карандашом, без помарок, и после все обведет тушью и уже потом раскрашивает.

Видно было, что дается это ему легко и работать ему приятно.

Это было для него отдыхом, и он делался ласковым и нежным...

Отец оформил ряд прижизненных изданий Маяковского, среди которых, кроме упомянутого им «Про это», такие известные издания, как «Маяковский улыбается...» (1923), «Мое открытие Америки» (1926), «Сергею Есенину» (1926), «Разговор с фининспектором...» (1926), «Клоп» (1929, книга и декорации к первой постановке), первое Полное собрание сочинений в 10 томах.

А. М. Родченко сделал несколько известных фотопортретов Маяковского. После смерти поэта он собирал все фотоматериалы, касающиеся Маяковского, восстанавливал для музея старые любительские снимки, поврежденные негативы.

Серия фотографий, публикуемых в «Дне поэзии», также взята из архива Александра Михайловича Родченко.

# Ирина Волобуева

## НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Пора нам в путь!

И, как всегда, невольно  
Немного грустен расставанья час.  
...Кубанцы нас встречали хлебом-солью.  
И провожают как родню сейчас.

И, что скрывать, мне хочется до боли  
Найти такой родник душевных слов,  
Чтоб стала бы, ответно, хлебом-солью  
Хотя б одна строка моих стихов.

## МОЙ КАРАВАН

Вершины гор, ушедшие в туман,  
Как бытия незримый караван.

Сдается — на их мощные горбы  
Навьючен груз всех лет моей судьбы.

На светлом том, что выше остальных,  
Лучистый груз всех радостей моих.

На этом, на приземисто-крутом, —  
Тяжелый груз, содеянный трудом.

На каменистом, что угрюм на вид,  
Колючий груз печалей и обид.

На том горбу, что травянисто-свеж,  
Воздушно-светлый груз моих надежд.

Как грустно, что с годами, сквозь туман,  
В небытие уходит караван.

# Игорь Строганов

\* \* \*

Повыше девятого вала  
Я вырос на мостике, прям.  
Мне молодость принадлежала —  
Ее подарил я морям.

Стал домом эсминец «Урицкий»  
И вывел салагу в простор.  
Был Тихий,  
Был рейд Бокарицкий,  
Экватор палил, как костер.

Рули мне ворочать не тяжко,  
В охотку утюжился клеш.  
А тело  
И сердце  
С тельняшкой  
Сроднились —  
Не отдерешь!

Доходят из юности вести —  
Бывает, в неожиданном краю

Вдруг  
в мраморной глыбе  
Иль песне  
Нежданно годка узнаю...

Я стал на Нептуна похожим  
Дубленным навек моряком  
И не расстаюсь  
С краснокожим  
Билетом своим  
С якорьком.

И нету мне доли милее,  
Чем выдюжить  
В зной  
Иль пургу.

А если о чем и жалею —  
Что море обнять не могу.

ЦЕЛЫЙ СТИХ

Я половин не признаю,  
Лишь разве что одну  
Могу, как факт, признать свою  
Законную жену.

А больше нету половин:  
По мненью моему —  
Наполовину гражданин  
Не нужен никому.

В пол-уха слушать соловья —  
И соловей не мил,  
В полу-любви — прощай семья  
И в полу-мире — мир.

Нельзя лишь полу-честным быть,  
Наполовину сметь,  
Да можно ли в пол-сердца жить,  
Когда пол-сердца — смерть?

Вот, говорят, пол-века мне,  
А я скажу — пол-ста,—  
Ведь то в страде, то на войне —  
Как тут делить-считать?

И право, грешный человек,  
Я проживу один —  
Не целый век, но цельный век,  
Без всяких половин!

СОЛНЦЕ ОСЕНИ

О солнце осени!.. Когда-то  
И я писал, другим вослед:  
«Нещедрый», «жидкий», «скуповатый»,  
«Холодный», «блеклый», «мертвый» свет...

О нет! Теперь я знаю это.  
Напомнит бронзою плечо,  
Как все негаснущее лето  
Трудилось солнце горячо.

Едва прикрытое ночами,  
Оно струилось и текло,

До капли сердце расточая...  
И вот уж — отдано тепло.

Но, в грудях туч найдя оконце,  
И ныне — уж не горячи,—  
Как немощные руки, солнце  
Все тянет к нам свои лучи.

Так бабка, старость беспокоя,  
Внучку, кому — в солдаты срок,  
Сует морщинистой рукою  
Украдкой медный пяточок.

\* \* \*

Не как случайный посетитель  
Ты в сердце ворвалась мое,  
А так, как постоянный житель  
В свое вселяется жилье.

Я огорошен был, признаться:  
Вошли с тобою заодно  
И вот уж в сердце громоздятся  
Твои театры и кино,

С тобою все твои игрушки  
И вещи целою горой,  
Твои друзья, твои подружки,  
Твоих знакомых целый рой!

Все без стеснения прут навалом:  
Звонок — и в дверь, плечом вперед!  
Врачи, студенты, генералы,  
Бородачи и без бород,

Кого-кого тут только нету —  
Не упасешься от гостей:  
Блондины, рыжие, брюнеты,—  
Ну, словом, всяческих мастей,—

Эпикурейцы и аскеты...  
Который — сбился! — миллион!

Не сердце — город! (Где Москве  
там!)  
И явно перенаселен.

И, затерявшись в их толпе, я  
Живу, предчувствием томим:  
Что, если город тот — Помпея  
И есть Везувий рядом с ним?..

## В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Над размалеванными куклами,  
Над их поступками  
Нелепыми  
И над невероятно глупыми  
Речами их  
Смеялись слепо мы.  
А те  
Кривлялись вновь отчаянно,  
И зал  
Ответно  
Смехом вспыхивал...  
Я вдруг заметил,  
Что, печальная,  
Ты неожиданно притихла.  
Склоняясь к тебе,  
Под гул нестройный

Смеющихся над новой рожею,  
Я спрашивал обеспокоенно:  
— Скажи мне,  
Что тебя встревожило? —  
А ты, немного оробелая,  
Сказала грустно,  
Вперив в них очки:  
— Зачем, скажи,  
Такими сделал их  
Тот, кто их дергает за ниточки? —  
Не разобравшийся тогда еще  
И думая:  
«Какая странная!» —  
Сказал тебе я утешающе:  
— Так это ж — куклы  
Деревянные!..

\* \* \*

...И дрожит,  
И дрожит  
Паутинка белесая осени.  
И покой на душе —  
Пустоват.  
И не то чтобы грязно,—  
А как-то  
Набросанно.  
Отгремел,  
Отблестал,  
Откружился  
Мой бал-маскарад.

Я иду меж берез  
По тропиночке узенькой.  
Чуть шуршит  
Под ногами листва.  
И остались в душе  
Только эхо той музыки

И твои —  
Ни о чем,  
Ни о чем совершенно  
Слова.

Голова моя —  
Облако белое.  
Может,  
Прожил я жизнь  
Невпопад.  
Может,  
В чем виноват.  
Но что сделано —  
Сделано...

Медяками листвы  
Расплатился за все  
Листопад.

ИЗ СТИХОВ О БЛОКАДЕ

\* \* \*

Жилища наши —  
В тишине угрюмой,  
Лишь метроном не устает стучать...  
А людям остается  
Только думать.  
Молчать и думать.  
Думать и молчать.

О чем же мы —  
О небе без бомбежек,  
В который раз о хлебе и тепле?  
Я вам отвечу,  
Что об этом тоже.  
И главное скажу:  
— О всей Земле!

О всей Земле,  
Где мы — земные дети —  
Сейчас в тисках блокады и зимы.  
О всей Земле —  
Беспомощной планете,  
Которую  
Сейчас спасаем мы.

С фронтов пока —  
Нерадостные вести.

Но знаем мы,  
Что в этот страшный час  
Москва и вся Россия — с нами  
вместе,

Как с вами мы —  
И Волга, и Кавказ!

Враги твердят нам,  
Что борьба бесцельна  
И из блокады к жизни —  
Нет пути.  
А нас волнует:  
Где товарищ Тельман  
И можно ли его  
Еще спасти?  
Что слышно  
Из Парижа и Варшавы?..  
У партизан балканских —  
Как дела?..

...Наш город день и ночь  
В бою кровавом,  
Чтоб выжила Земля  
И ожила!

\* \* \*

Мы никогда  
Так много не молчали,  
Не думали так много  
Никогда,  
Как той зимой  
Потерь,  
тревог,  
печали,  
Где новый день —  
Как новая беда...

К чему ж упрек,  
Что слишком поспешил  
И трудное решение принял сразу?  
Я, может быть,  
Уже тогда решил,  
Как поступить сегодня  
Был обязан...

\* \* \*

В этом деле никто не поймет ни шиша,  
Ни поляк, и ни грек, и ни швед, и не фрязин...  
По своей ли по воле гуляет душа!..  
...Приказал паруса разворачивать Разин.

И не знает он, где та проходит черта,  
Тот предел, тот заруб, та межа, та граница?..  
И не хочет он знать на земле ни черта!  
...Выплывает неспешно стругов вереница...

И на веслах уже запекает мордвин...  
И с распахнутой грудью, в накидке собольей  
Под неистовым ветром стоит он один  
На корме, задохнувшийся собственной волей...

### ВИНОВАТ

Извини меня, если забыла...  
Я то в рай, то опускался в ад.  
Что тут скажешь:  
        то, что было,— было,  
Сам во всем, конечно, виноват.

Ты сказала — точно отрубила!..  
Мой ответ и вправду невесом.  
Что тут скажешь:  
        то, что было,— было,  
Я, конечно, виноват во всем.

Я ошибся — и меня убило...  
Мой отчет прощальный длинноват!  
Что тут скажешь:  
        то, что было,— было.  
Сам во всем, конечно, виноват.

### ПОСРЕДИ ДЕЛИ

В пиджаках московского пошива  
Мы стоим и смотрим на него...  
Вот он пляшет, шестирукий Шива,  
Вечных превращений божество.

Среди старинных золотых зданий  
Гид бубнит, все зная назубок...  
Разрушений или созиданий?  
Кто же ты?

Чего ж ты все же бог?

Мы стоим среди дневного лягга,  
Средь нормальной спешки городской.  
Отчего, скажи мне, эта пляска?  
Что случилось?

С радости какой?

Курим... Неужели вечно это?  
Вьется дым московских папирос...  
И, танцуя, не дает ответа  
Развеселый бог метаморфоз.

## СПОКОЙСТВИЕ

Старый Кант подсел поближе к лампе  
и листает вырезки цитат...  
Но вздохнул лакей ворчащий, Лампе,  
честный, старый отставной солдат:

что-то, дескать, пишет все в тетрадке!  
А ведь мог бы... Да с его умом!..  
...Кант спокоен: в мире все в порядке:  
звезды в небе, совесть в нем самом...

## КАРАМЗИН

Дай мне тростиночку простую,  
ее вот этак очини.  
Я в ту тростиночку подую,  
пристроюсь где-нибудь в тени.

...Пусть дуб стоит, листву роняя,  
пусть птичий вижу перелет,  
пусть та тростиночка шальная  
о безмятежности поет...

## СТАРИКИ

Если мне когда-то станет худо  
и знакомым сразу надоем,—  
слава богу,  
что сейчас покуда  
я не стар и не больной совсем! —  
верю:  
ты придешь ко мне, дружище,  
хоть и будет путь ко мне далек.

И добавим мы к духовной пище  
весело заваренный чаек.  
Нам судьбу не надо молодую!..  
Счастливы и так наверняка —  
и сидим друг с другом, в блюдце  
дуя,  
два судьбу понявших  
старика.

## Владимир Семакин

\* \* \*

Мы над Камой зори зоревали  
и тужили, милая, о том,  
что нигде мы вместе не бывали,  
никуда не ездили вдвоем.

Как из почки, вспыхнул свет зе-  
лennyй, —  
весь багаж — каких-то два узла.  
Наш вагон качнулся у перрона  
и поплыл, как лодка без весла.

Не беда, что стыки, — попривыкнем.  
Тесновато? Это ничего.  
Сон сморит —  
плечом к плечу приникнем,  
отоспимся всласть...

Без твоего  
звонкого, рассыпчатого смеха  
среди моих сомнений и тревог  
вряд ли я решился бы уехать,  
я бы сделать многого не смог  
ни сейчас, ни в будущем...

Родная,  
нас не зря в дороге обожгли  
зной горячий,  
стужа ледяная  
не такой уж ласковой земли,  
не такой устроенной покуда...  
Но и все же — доля удалась:  
жили всяко,  
жили не без худа,  
а остуда в грудь не пролилась.

# Александр Николаев

\* \* \*

Весь город будто вымер.  
Куда ни посмотри,  
туман над мостовыми  
укутал фонари.

Ему под мокрым небом  
дрожать и зябко стыть.  
Я никогда здесь не был,  
но должен был здесь быть.

Я вечером,  
не ночью,  
прошелся по нему,  
чтоб лично,  
чтоб воочью  
и чтобы — одному...

Ни встречный,  
ни попутный  
не встретится в пути.  
Весь город  
абсолютно  
пустеет к девяти.

По моде стародавней,  
пришедшей в наши дни,  
в домах закрыты ставни,  
погашены огни.

Иду и вижу,  
скоро  
кончается асфальт,  
и слышу лязг затвора,  
и словно выстрел:  
— Хальт! —  
Полощется над башней  
в полоску звездный флаг.  
Союзник мой вчерашний  
мне крикнул «Стой!»,  
как враг.

А я во время оно  
туда шел не один.  
Но там чужая зона,  
там Западный Берлин.

## В НЕМЕЦКОЙ ПИВНОЙ

Повидал я их на свете  
в разных чайных и в бистро,  
а теперь в ночном гаштете  
подмигнул он мне хитро.

В плечи врезались подтяжки,  
ремешок в ключицу влез  
от скрипучей деревяшки  
под названием протез.

Он подвинулся учтиво,  
хоть почти был пуст гаштет,  
я поставил кружку пива,  
сел с ним рядом,  
тет-а-тет.

Так вот где-нибудь над Бугом  
мы году совсем в другом,  
как сегодня друг пред другом,  
сели враг перед врагом.

Может, где-нибудь в Европе  
не зарос еще окоп.  
Я — в окопе,  
он — в окопе,  
и прицел —  
друг другу в лоб.

От тоски или от стужи  
от зари и до зари  
сорок градусов снаружи,  
сорок градусов внутри.

Никакого интереса  
пить с ним нынче по другой,  
я в немецком — ни бельмеса,  
в русском он — ни в зуб ногой.

«Соловьи» бы спеть,  
да песни  
не умею петь.  
А жаль.





### СНЕЖНАЯ НОЧЬ

Снова ветер белой лапой  
Двери черные скребет,  
А над крышей тихой сапой  
Снег таинственно идет.

Полночь бьют часы,  
а в доме,  
Полоненном тишиной,  
Никого сегодня,  
кроме  
Грустной женщины одной.

Не разлучница невеста,  
Не печальница жена,

Вот свечу зажгла вместо  
Света яркого она.

И, взглядевшись в чье-то фото,  
Нежит милые черты.  
Вдруг послышалось, что кто-то  
В дверь стучит из темноты.

Со свечой у двери стоя,  
«Кто?»—  
спросила шепотком.  
И сердечко золотое  
Вдрогнуло над фитильком.

### ГУЛЕНА

В собольем меху из нейлона  
(Вольно ей живется, вольно!)  
К утру возвратилась гулена.  
Откуда? Не все ли равно.

Поставила чайник на кухне  
И, зеркальце взяв со стола,  
По грешным губам,  
что припухли,  
Концом язычка провела.

И словно ночной благодатью  
Еще упивалась она,  
Когда потянулась всей статью  
И бросила взгляд из окна.

И свистнул снегирь ей:  
— Гулена,  
Я тайну твою сберегу.—  
Кофейные семечки клена  
Луцил он на белом снегу.

### КУПАЛЬЩИЦА

В кустах, где птаха песню ладила,  
Она разделась догола,  
И груди властные огладила,  
И в реку синюю вошла.

И, запрокинув стан не кукольный,  
Блаженно на спину легла.  
И, словно белый храм двухкуполь-  
ный,

Вниз по теченью поплыла.

# Владимир Туркин

\* \* \*

Мне все больней с тобой встречаться,  
Нести в себе запас тепла,  
Входить в твой дом, в котором счастье  
Ты не со мною обрела.

Мне все больней с тобой встречаться,  
Уж не к тебе спешить, а к Вам.  
И только взглядом прикасаться —  
Который год! — к твоим губам.

С годами мне все чаще — грустно.  
Мертвеют чувства и слова.

•

\* \* \*

А говорят, что бога нет.  
Какому же творцу молиться  
За то, что Вы теперь столице  
Собой явили божий свет.

А говорят, что бога нет.  
Но чья божественная сила  
Свела в гармонии красивой  
Так много черт в один портрет.

А говорят, что бога нет.  
Но разве то не воля неба,

\* \* \*

Мне чувствовать не часто выпадало,  
Как льется время, звездами звеня...  
Спасибо за прекрасный Ваш подарок,  
За этот редкий вечер для меня.

И сердце не стучало учащенно,  
Но на душу мне — с неба, наяву —  
Такая снизошла раскрепощенность, —  
Как будто я по озеру плыву.

Но боль — безвозрастное чувство, —  
Боль и при старости жива.

Мне все больней с тобой встречаться,  
Ведь я уже осознаю,  
Как ты легко и непричастно  
Глядишь на эту боль мою.

И все ж спасибо, что — с рожденья —  
Ни в трезвый час, ни в час хмельной —  
Ты не искала наслажденья  
Вот в этой пытке надо мной.

Когда растерянно и немо  
Глядят мужчины Вам вослед.

А говорят, что бога нет.  
Но разве то не божья кара —  
Жить молодым так много лет,  
Не встретив Вас. А встретить —  
старым.

Красивых женщин в мире много.  
Без них угасла б жизнь планет.  
За то, что есть Вы, — слава богу.  
Пусть говорят, что бога нет.

С далеких лет, как помню себя взрослым,  
По гребням волн, которым нет числа,  
Я плыл и плыл, не опуская весла, —  
А в этот час вода меня несла.

Природа надо мной держала шефство,  
Все было совершенным в этот миг.  
...И сам я был частицей совершенства,  
Которое нечаянно постиг.

МЫ

Огонек спешит из тьмы  
В круг друзей-огней...  
Я не против Я,  
Но МЫ  
Во сто крат сильней.

Я — тот самый огонек,  
Вся страна — огни.  
И без них я одинок,  
Светят мне они.

Я — солдат, и я — поэт,  
Бог и ротозей,  
Но меня на свете нет  
Без моих друзей.

Если знаешь ты войну  
И бывал в бою,  
Ты поймешь, куда я гну  
Линию свою.

Разделить друзей нельзя,  
Дружба — монолит.  
Хорошо, когда и Я  
Словно МЫ звучит.

Я — иной раз тугодум, —  
Отрицает МЫ.  
Я — один всего лишь ум,  
МЫ — уже умы!

ЛЕТО

В космос послана ракета,  
След растаял в синеве.  
Между прочим, нынче лето  
Очень жаркое в Москве.  
А за городом великим  
Дуновение грозы,  
И соцветия клубники,  
И созвездия росы.  
Против города любого —  
Десять тысяч козырей!..  
И пора для рыболова,  
И пора для косарей.

Я — себе лишь на уме,  
МЫ — добро вдвойне.  
Все, что я имел-умел,  
Люди дали мне.

Даже эта жизнь моя  
Мне дана взаймы.  
Тот, кто очень любит Я,  
Презирает МЫ.

Ты скучаешь у окна  
В домике своем...  
Буква Я совсем одна,  
Ну а МЫ — вдвоем.

Позади меня гора  
Всякой кутерьмы.  
Много якал, и пора  
Перейти на МЫ.

Мы поем: наш паровоз...  
Это МЫ — народ,  
И волнуемся до слез,  
И летим вперед.

Огонек спешит из тьмы  
В круг друзей-огней.  
Я не против Я,  
Но МЫ  
Во сто крат сильней!

Гром резвится где-то рядом,  
Заструился синий свет,  
И повеяло прохладой,  
И дождя все нет и нет.  
В небесах грохочет бочка,  
На луга ложится тень.  
И чуть-чуть длиннее ночка,  
И чуть-чуть короче день.  
На траве росистой сенце,  
Серебрится холодок,  
И летит мне прямо в сердце  
Сенокосный ветерок.

# Александр Корнев

## В ЧЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

### I. СОЛО ВИОЛОНЧЕЛЬ

Поет, парит виолончель, виоло...  
Ее полет, ее излившееся соло!  
Так — полностью,  
воспрянуто,  
естественно—

Вот так же! Так же!  
Моя ода в честь тебя.

Пойми, насмешливая, ласковая, гордая,  
Где б ни был я, после тебя — любая,—  
Как после блеска  
снегового,  
горного

В полуподвале  
лампочка слепая.  
Все женщины, уверен в том, все женщины  
Рядом с листвой твоею  
мертвенной песка.

После тебя —  
с другой,  
любой, поющей, шепчущей,  
Быть рядом, провожать ее — тоска!  
Ты знаешь,  
музыка,  
мой стих,

стихия высшая,  
Любые все — когда меня любила ты! —  
Как после моря,  
горького и свежего,  
Лишь ванна дома,  
полная воды...  
Поверь, мой ранний свет,  
мой вдохновенный, главный,  
После тебя, после тебя для моих глаз  
Все женщины — тусклы и деревянные,  
Все юные — как куклы из пластмасс.

### II. КАЖДЫЙ РАЗ

Я каждый раз иду от нее, встревоженный,  
Растерян, растроган, до дна души, до конца,  
Ее прощанием,

ее:  
«Иди осторожнее!..»

И светом, и нежностью  
прощающегося лица.

А вьюжная улица — горстями — в упор в меня шваркает,  
Жги, вьюга, крути, я в таком же смятенье, в бреду,  
Опять и опять,

качаясь от горя и жаркости  
В груди,— я к троллейбусу —  
хорошо, что он пуст!—  
я иду.

Я каждый раз иду из больницы из этой  
В слезах, на людей натываясь, наподобье слепца,  
По зимней по улице...

Убит просто —  
нежностью, светом

Ее исхудалого,  
полного ласки  
лица!

## Лев Озеров

### НИКОЛАЮ УШАКОВУ

Вы поздно стали баловнем молвы,  
Вас долго не было среди вожатых.  
Весну республики<sup>1</sup> воспели вы  
В подробностях, из жизни вами взятых.

Вы числились разведчиком у нас,  
Разведчиком отборнейшего слова,  
И вот пришли строители в свой час,  
И дом построен, говорят — готово!

<sup>1</sup> Имеется в виду книга «Весна республики» (1927).

\* \* \*

Перебирая старые тетради,  
Я находил в них профили и пряди,  
Ненужных телефонов номера  
(А было: набирая, обмирал),  
И адреса, которые забыты  
(А было: каждый из таких — событие),  
И перечни давно свершенных дел  
(А было: как спешил я, как летел!).

Дом заселен, я тоже в нем живу  
И слышу птичий щелк и звон капли,  
Антенна подпирает синеву —  
Антенну вы на пустыре узрели.

Поэзия с предчувствием в родстве,  
С предвиденьем. Зима весну торопит.  
Нам явлено в деталях, в естестве —  
Грядущее, как наш ближайший опыт.

Я находил в них замыслы: три слова —  
Несозданной трагедии основа,  
Абзац, который не вошел в роман,  
В роман, развеявшийся как туман,  
В поэму, что оборвалась вначале...

Тетради те отвергнув без печали,  
Я новую легко открыл тетрадь —  
По первопутку лучше мне шагать.

## Виктор Гончаров

### В ОПЕРАЦИОННОЙ

«Из этого знатного дома,  
От золота тех эполет...  
Нам только б успеть до парома,  
Пока не забрезжил рассвет.  
А дальше, я верю,  
Ты знаешь —  
Мы счастливы будем с тобой!»

— Опять безнадежный товарищ...  
Лежите спокойно, больной.

«Хотя бы сбылось все, хотя бы...  
Я жду тебя, друг, у дверей».

— Ну что вы как сонные жабы?  
Давайте на стол поскорей!

«Любимая, кони готовы  
И верные люди со мной.  
И гнущее счастье подковы  
Повисло уже  
Над рекой...»

## Елена Николаевская

\* \* \*

Семь погод на дворе,  
Семь погод:  
Сеет, веет, и рвет, и ревет,  
Крутит, мутит, и снизу метет,—  
Взяли мир в оборот  
Семь погод!

Ах, погода, резка да крута!  
Дождь, и ветер, и град, и крупа...  
Ни в обход и ни в брод — ни ногой...  
...Семь цветов — надо мною дугой!

Может, видит их кто?  
Подтверди!..

Да куда там! —  
Сидят взаперти...  
Семь замков —  
Ни ногой за порог...  
Завалило, замело  
Семь дорог...

— Семь цветов  
В круговерти такой?..  
Чепуха!..  
— Да поверьте — дугой,  
Добрым знаменьем, вестью благой! —  
Жаль, никто их не видел другой!..

\* \* \*

Над лугом да над весью  
Тумана пелена...  
Рыжеет чернолесье,  
Краснеет бузина,  
Грибною тянет прелью  
От брошенных борозд,  
И хоть рассыпал трели,  
Забывшись, черный дрозд,—  
Лес нынче будто вымер:  
Всем звукам вышел срок,  
Ни леших, ни кикимор,  
Ни стрекота сорок...

Поклон тебе низжайший,  
Лес в золоте зари,  
То грозный, то тишайший,  
Как на Руси цари,  
Вверх устремленный круто,  
В нависший небосвод,  
В себе таящий смуту,  
Как на Руси народ;  
Таящий зелень в сучьях,  
В их черной нагоде,  
Таящий многозвучье  
В застывшей немоте...

## Николай Флеров

\* \* \*

Я знаю, это будет, будет,  
Когда не то что «высший суд»,  
А ночи сна не принесут  
И просто утро не разбудит.

Не помышляй об укоризне,  
Не проклинай небытие,

А верь:  
В веках грядущей жизни  
Есть продолжение твое.

И потому, что шел сквозь грозы,  
Был в невозможном далеке,—  
С людьми беседуют березы  
И солнце воду пьет в реке.





НАД ФОТОГРАФИЕЙ ОТЦА

Высокий, веселый, прямой,  
Прищурясь знакомо,  
Пришедший со службы домой,  
Стоит он у дома.

Стоит, опершись о плетень,  
Играя фуражкой.  
Обнял гимнастерку ремень  
С солдатскою пряжкой.

Двух войн буревая волна  
Прошла по дорогам.  
А новых забот времена —  
Еще за порогом.

А были и гром и огонь  
В ненастную пору.

И помню его я ладонь  
Как дар и опору...

На фоне леска, словно дым,  
При ивовом тыне,  
Его молодым-молодым  
Я вижу поныне.

Таким, что себя уж давно  
Не помню, признаюсь.  
А он — будто гляну в окно —  
Стоит, улыбаясь.

Тем горестней мне оттого  
Знать истину эту,  
Что рядом со мною его  
Давно уже нету.

ВСТРЕЧА

*Сестре моей Зое*

Ехал я в гости к сестренке:  
С давних не виделись пор!  
Вечером, съехав с бетонки,  
«Газик» вкатился во двор.

Домик обшитый. Крылечко.  
Ставни с нехитрой резьбой.  
Белого дыма колечко  
Над жестяною трубой.

И, отстраня ладонькой  
Режущий свет от лица,  
Женщина корм из лукошка  
Курам бросает с крыльца.

Легонький плащ и ботинки.  
С кормом сухая рука.

Выбилась из-под косынки  
Легкая прядь у виска.

В пряди той — первая малость  
Снега. И складка у рта.  
В ровных движеньях — усталость,  
И доброта, доброта...

Вспомнил я детскую пору —  
Давние, древние сны.  
Как петушки без разбору  
Пели в начале весны.

Как выносила им сечку  
Мама, убрав со стола...  
— Мама! — шагнул я к  
крылечку.  
...Это сестренка была.

## ПАМЯТИ А. ТВАРДОВСКОГО

На горчайшей этой тризне  
Да не хлынет слов вода!  
Ведь он сам сквозь все года  
К сердцу строчки-провода  
Вел от сердца  
Ради жизни,  
Ради слова — никогда.

Пировал под небом ясным,  
Заносим ли был пургой, —  
Веры он не знал другой:  
Красен стих не словом красным,  
Светом истины нагой!

## Сергей Марков

### БАТЮШКОВ

Печальный Батюшков — во мгле  
В земле своих Прилук...  
О сколько было на земле  
Свиданий и разлук!

И сколько горестных утрат  
На гибельной стезе...  
Вся жизнь — как черный виноград  
На сломанной лозе!

Не слыша зова сонид,  
Расставшийся с мечтой,  
На дне безумья разум скрыт,  
Как перстень золотой.

Тревожный Батюшков постиг:  
Спасенья не дано,  
И всколыхнется лишь на миг  
Багряное вино.

И снова в страшной тишине,  
Как двадцать лет назад,

Потонет в горькой глубине  
Неоценимый клад.

Он знал давно: Торквато Тассе  
Был с ним судьбою схож!  
Пророчества внезапный глас —  
Как леденящий нож.

Вернется все, что было встарь,  
И сбудется, как сон...  
«А кесарь мой — святой кесарь», —  
Писал в безумье он.

Горел полуночный огонь.  
Кто знает — почему  
Луна, могила, крест и конь  
Все чудились ему?

И до рассвета слышал он  
Неутомимый звук —  
Протяжный, постоянный звон  
Колоколов Прилук...

## ВЕРСТАК КАРАМЗИНА

Как в силу воплотить одну  
Все, что живет в тебе?  
Завидую Карамзину,  
Его большой судьбе.

Его пером водили честь,  
Упорство и мечта,  
В любом великом деле есть  
Земная простота.

И поступил однажды так  
Бессмертный Карамзин —  
Он заказал себе верстак  
Из десяти тесин.

Он встал, как у ладьи варяг,  
Задумавшись на миг,

Историк — властелин бумаг  
И повелитель книг!

Торжествовал упорный труд,  
Он с жизнью был в ладу,  
Не страшен плен бумажных груд,  
Все было на виду!

Порой до самого утра  
В глубокой тишине  
Тень от гусяного пера  
Качалась на стене.

Весь мир лежал на верстаке!  
Но вдруг нахлынул мрак —  
Историк сжал перо в руке  
И рухнул на верстак.

## ЗЛАТАЯ ПЧЕЛА

Меня под сень крыла  
Приял архистратиг.  
Мой разум, чуждый зла,  
Премудрости постиг;  
Он реял, как пчела,  
Над вертоградом книг.

Веков золотая пыль  
Слагалась в чистый мед.  
Но ты вонзил костыль  
До дна прозрачных сот.

И я бежал сквозь мглу  
В глухой и страшный час  
И ясную пчелу  
От поруганья спас.

И тьмы твоих Малют  
Не стерегут меня,  
Но скорбен мой приют  
У чуждого огня!

Ужель не понял ты  
Моих святых тревог,  
Что здесь — не те цветы,  
Что дух мой изнемог?

В тени чужой листвы  
Волшебная пчела.  
Темны сады Литвы,  
На их ветвях — зола...

Страшит вороный грай,  
Невозвратимей тем  
Мой ярославский рай —  
Утраченный Эдем!

Не за тебя, тиран,  
Я вновь пойду на смерть,  
Где сердце, как таран,  
Крушит чужую твердь!

Волшебная пчела,  
Пришел желанный миг:  
Я разум, чуждый зла,  
Для мщенья воздвиг.

О, волшебства пример:  
Наперерез лучу  
В сверкающий аэр  
Златой пчелой лечу!

Тоска земли сырой  
Под сводами палат,  
Где, как пчелиный рой,  
Кипят огни лампад.

Ты ловишь каждый звук,  
Страшишься тишины,  
Бросает тень клобук  
На белизну стены.

Мертвы твои слова,  
Но остр разящий жезл,



ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ

*Из поэмы*

В поэме автор путешествует вместе с гениальным польским скульптором Витом Ствошем, пренебрегая последовательностью времен. Ствош жил пять веков тому назад. Закончив великое свое творение — резной алтарь краковского собора, — он ушел в Нюрнберг и запропал на пути. После оккупации Польши гитлеровскими войсками фюрер приказал перевезти знаменитый алтарь в Нюрнберг. Алтарь прибыл туда, куда не дошел его создатель. И был возвращен в Краков после войны.

\* \* \*

Четырехстопный ямб  
Мне надоел. Другьям  
Я подарю трехстопный,  
Он много расторопней...

В нем стопы, словно стопки,  
И не идут колом.  
И рифмы, словно пробки  
В графине удалом.

Настоянный на корках  
Лимонных и иных,  
Он цвет моих восторгов  
Впитал, трехстопный стих.

И все стихотворенье  
Цветет средь бела дня  
Бесплотною сиренью  
Спиртового огня...

СМЕРТЬ ЛОСЯ

Стихи за пятьдесят!  
На мне они висят  
Невыносимой ношей.  
Бог с ними! Мне пора  
Сбираться. И с утра  
В дорогу с Витом Ствошем.

Закончен мой алтарь.  
В нем золото и янтарь,  
И ангелы и черти,  
И даже образ смерти.

Пора не вниз, а вверх,  
Туда, поближе к богу, —  
В беспечную дорогу,  
В преславный Нюрнберг...

Однако думы прочь!  
В походе к Нюрнбергу  
Звезд полную тарелку  
Мне насыпает ночь.

Передо мной лежат  
Прекрасные поляны,  
Жемчужные туманы  
Их мирно сторожат.

Передо мной текут  
Прохладные потоки.  
И где-то кони ржут,  
Нежны и одиноки.

Вечерний свет померк.  
Залаяла собака...  
Как далеко, однако,  
Преславный Нюрнберг!

\* \* \*

Ночь пала. Все слилось.  
В костре пылали ветви.  
И в красноватом свете  
Явился черный лось.

Роскошный рог над ним  
Стоял, как мощный дым.

И в бархатных губах  
Держал он ветвь осины.  
И, беззащитно-сильный,  
Внушал невольный страх.

Он был как древний бог.  
И в небе черно-чистом  
Созвездием ветвистым  
Светился лосий рог.

(Недаром древле Лось  
Созвездие звалось.)

Распахнутый для нас  
От паха и до холки,  
Смотрел он взглядом долгим  
Своих тенистых глаз.

— Зачем,— Вит Ствош  
вскричал

В мучительном порыве,—  
Я за плечом Марии  
Его не изваял!  
И почему царей,  
Младенца Иисуса  
По манию искусства  
Не превратил в зверей!

Но я ответил:  
— Брось!

Мы зря переживаем.  
Пусть лучше неизваян  
Гуляет этот лось.  
Пусть вечности бежит  
Прекрасное созданье  
И нашему страданью  
Пусть не принадлежит!  
Смири себя, ваятель!  
Забудь, что было встарь,  
Когда ты свой алтарь  
Выдалбливал, как дытел!  
Смири себя, смири!  
Сомкни плотнее веки!  
И отрекись навеки!  
И больше не твори!

И долго Вит сидел,  
Помешивая угли.  
Потом они потухли,  
А он в золу глядел.

Вся эта ночь насквозь  
Была прозрачной, ясной.  
И, как корабль прекрасный,  
Плыл по поляне лось.

Вдруг изо тьмы — удар  
Остановил мгновенье...  
Пороховой угар.  
И в нем поникновенье  
Творенья красоты  
И беззащитной мощи...  
И в озаренной роще —  
Хрустнувшие кусты.

Как девушка, вразброс,  
Лежал тишайший лось.

И на его главе —  
Глаз, смертью отягченный,  
И — папоротник черный —  
Рога в ночной траве...

Охотник подошел:  
— Пудов пятнадцать мяса!  
Вот бык! — Он рассмеялся.—  
Однако хорошо!—  
Он сел и закурил...

.....  
Для нас погибель зверя —  
Начальная потеря,  
Мерило всех мерил.

— Скажи мне, мастер Вит!  
Как при таком мериле  
Плечо святой Марии  
Кого-то заслонит!

Нам с Витом не спалось.  
И мы лесною тропкой  
Пошли. И тенью робкой  
Плыл перед нами лось.

Лось-куст и лось-туман,  
Лось-дерево, лось-темень,  
Лось-зверь и лось-растенье  
И лось-самообман...

Так шли мы — я и мастер,—  
Пока не рассвело.  
И дивное несчастье  
Нас медленно вело...

Вверху подобьем знака  
Ветвился лосий рог...  
Как далеко, однако,  
Преславный городок!

#### БАЛАГАН

— Да, он один убит, —  
Сказал мне мастер Вит,—  
А вы еще живете  
По собственной охоте.

Здесь только скукота  
И люди с рыбьей кровью.  
Пойдем в средневековье,  
Возьмем с собой кота!

— Ах, разве можно вспять  
Куда-то возвратиться?  
Давай-ка лучше спать  
И видеть то, что снится.  
Давай-ка бредить вслух!..

— Ну что ж, вернемся, друг,  
Туда, где и поныне  
Царит вселенский дух  
Трактира и латыни,  
Где, шляясь по торгам,  
Увидим мы, коллега,  
Под небом — балаган,  
Над балаганом — небо...

— Пьянчуги, торгоши,—  
Я подхватил в восторге.—  
А ну, вольней дыши  
На этом шумном торге,  
Где толпы горожан  
И теснота ковчега.  
Под небом — балаган,  
Над балаганом — небо.

Вит Ствош был весел вновь  
И вновь в своей тарелке.  
— Как горячат нам кровь  
Лукавые паненки!..  
— Как раздражает нюх  
Благоуханье пира!..  
— Виват! Вселенский дух  
Латыни и трактира!..  
— Гляди, а там правож:  
Попал в беду пройдоха!..  
Я говорю: — Ну что ж,  
Эпоха как эпоха.

— А вон карманный вор!  
— А вон доминиканец!  
— Вон сбир!  
— Вон страж!  
— Вон спор

Оборвышей и пьяниц!

А ближе к облакам  
Раскинут балаган.  
— Про это — я! Постой! —  
Воскликнул Вит. — Простой  
Сюжет. Весьма наивный.  
Сей шут богопротивный —  
Дьявол. Мрака сын  
Решил смутить Юстина.  
А этот вот детина  
Есть человек Юстин.  
Отродье сатаны,  
Чтоб парня не прохлопать,  
В нем разжигает похоть,  
Сулит ему чины.  
Юстин же стал мечтать  
Про все земные блага.  
И вот посмел, бедняга,  
На бога возроптать...  
Ликует гений зла!..  
Но, сжалась, матерь божья

Опутанного ложью  
Юстина упасла...  
— Дай я!.. Пустив слезу,  
Спасенный на колени  
Упал. Его моления  
Сейчас произнесу:  
Спасибо вам, господь  
И пресвятая дева,  
За то, что свою плоть  
Я вызволил из хлева!  
За то, что вы спасли  
Меня от вожделенья.  
С поклоном до земли  
За то мое моление!  
За то, что дух тщеславный  
Не указал мне путь  
И в городок преславный  
Приду когда-нибудь!

— Нет, мне неволю,—  
Прервал Вит Ствош.— Надейся,  
Что ты спасен. Но в действо  
Пора войти коту.—  
И закричал: — Агу!

— Агу! Держи! Ага!  
— В чем дело?

— Ты незрячий?—

Какой-то пес бродячий  
Заметил Четверга.  
Сцепились пес и кот.  
И вдруг, заулюлюкав,  
Рванулся весь народ,  
Как тыща мамелюков,  
Вслед за котом и псом —  
Весь наш цветущий сонм:  
Мальчишки, бернардины,  
Красотки, паладины,  
Монахи, игроки,  
Торговцы, голяки,  
Лиценциаты, шлюхи,  
Младенцы и старухи...  
Пустились в этот гон...  
И скрылись в гул времен...

Мы с Витом, хохоча,  
Переживали праздник.  
А кот, лихой проказник,  
Мурлыкал у плеча.

И Вит воскликнул: — Днесь  
Я возглашаю здесь,  
Что радость мне желанна  
И что искусство — смесь  
Небес и балагана!  
Высокая потреба  
И скомороший гам!..  
Под небом — балаган.  
Над балаганом — небо!

СИРЕНЕВАЯ ДАЛЬ

Ничком на клевер, пахнувший далеким  
украинским неповторимым детством.  
...Звенигородка. Родина. С порога  
двум близнецам — все разгадать, всмотреться,  
в подсолнечные заросли уйти,  
у взрослых под ногами повертеться  
и новые слова изобрести  
(все новым кажется в твоём блаженном детстве),  
в ладонях растереть пахучей мяты,  
а к вечеру — бежать на ужин в хату,  
сорвав с десятков незрелых слив  
и тут же подзатыльник получив.  
Зеленый луг...

Лежим, уткнувшись в клевер,  
и ничего не знаем мы про север,  
про длинных вьюг серебряный мотив,  
позднее вставший в цепь воспоминаний...  
Какие отделяют расстоянья  
мой рай земной. Вишневое блаженство,  
дитячий рай.

Сиреневая даль...  
Осталась мне доверчивая, женская  
извечная и сладкая печаль.

КОСТЕР

Мне еще в таких лесах бродить!  
Мне еще такие сны увидеть...  
И будить, будить себя, будить,  
и любить еще,  
и ненавидеть.

Мне еще в таких лесах бродить!

О, как сладок этот непокой!  
Расстоянья, встречи и разлуки.  
Вечный бой, и ежедневный бой,  
и колес вагонных перестуки.  
А потом костер блаженных снов,  
он не даст озябнуть, он не даст.  
Терпкий дым вместо жарких слов  
уведет в чащобу леса нас —  
к заповедному земному раю.  
Он не даст озябнуть мне, я знаю.

Есть костер у каждого из нас —  
свой, единственный, неповторимый.  
Он наш утешитель в горький час.  
Не пройти бы ненароком мимо!

Не обидеть только б! У костра  
есть свои приметы и законы.  
Он живой. И боль его остра.  
Он поет, он гневается, стонет.

Мой костер! Костер блаженных снов,  
год который согреваешь душу.  
Не подаришь ненадежных слов,  
верности, я знаю, не нарушишь.

Мне еще в таких лесах бродить!  
Мне еще любить. Еще любить!



## ДАНЬ СИМВОЛИКЕ

Рывок.

И вновь помчала  
Моя ладья меня  
От прежнего причала  
На стрежень  
Злобы дня.

Люблю строптивый стрежень,  
Где пляска струй свежа.  
Твоя ладья  
их режет,  
Как режут без ножа.

И, коль уселся кормчим,  
Давай, пловец, шуруй!  
Мы из себя не корчим  
Всезнаек  
бурных струй.

Но в роли ладьеводца  
Нам целый мир — родня.  
И весело плывется  
По стрержню  
злобы дня!

## НАСЧЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Когда спортсмен на ковре борется  
ниже своих возможностей, судья  
выносит ему предупреждение за  
пассивность.

Такого не произносилось  
При мне,  
и вдруг услышал я:  
— Предупреждение  
за пассивность! —  
Выносит  
мастеру  
судья.

Выносит приговор атлету  
За то, что борется не так, —  
Необходимой страсти нету,  
Нет —  
ни приемов, ни атак.

А раз такое положение —  
Забудь о первенстве в борьбе,

Того гляди,  
что поражение  
Зачтут  
Пассивному  
Тебе...

Нет,  
упаси меня, всевышний,  
От этой участи борца.  
Хочу, без робости излишней,  
Во всем  
бороться до конца.

Еще душа не износилась.  
И, верный делу своему,  
Предупреждения за пассивность  
Не принимал  
и не приму!

## НАТАЛЬЯ ПУШКИНА

Осточертели  
                  те и эти,  
Кто, у традиции в плену,  
Заводят слово о поэте  
И вновь клянут его жену.

С бесцеремонностью всезнаек  
Разносят яд, налитый всклень,—  
То стихотворец,  
                  то прозаик,  
То краснойбай, кому не лень.

Берется жизнь ее бывшая,  
Где свой особый  
                  блеск и вес,  
И царедворство Николая,  
И круг отъявленных повес.

Но как-то глуше и беднее  
Рисуют буйство дней и лет,  
Когда был счастлив рядом с нею  
Ее ревнивец  
И поэт,

Когда, блистая над другими,  
Она рассеивала тьму,  
Когда подобием богини  
Была  
                  великому  
                                  ему.

И бесподобно им воспета  
(Учти, хулитель-грамотей!)  
Она —  
                  избранница поэта,  
Мать четверых его детей.

## САМОРОДОК

Оттомился в глубинных породах.  
Обнаружен.

                  И выдан на свет —  
Неприметный на вид самородок,  
Ничего в нем особого нет.

Да,  
                  он выглядит как-то неброско,  
Но взглядишь поострее  
                                  да взвесь:

Полновесный,  
Без внешнего лоска,  
Он  
                  из чистого золота  
                                  весь.

## Михаил Годенко

\* \* \*

Не надо, хлопцы, ждать шекспиров,  
Шекспиры больше не придут.  
Берите циркули, секиры,  
Чините перья и за труд.

Просторные воздвигнем своды  
Для размышлений и страстей,

Великие напишем оды  
Про век высоких скоростей,

Про удивительное тело  
В космогоническом луче,  
Про Дездемону и Отелло  
С фуфайкой ватной на плече.

## Владимир Осинин

### УТРО ПОБЕДЫ

Тишина на почерневшем склоне,  
Гарью занесенная броня.  
В пробковом тяжелом шлемофоне  
Паренек, похожий на меня.

Сам себя я узнаю не сразу,—  
Может быть, от пыли поседел?  
И газойлем, словно черт, измазан.  
Дни и ночи штурмовал —  
А цел!

Не забуду тот рассвет весенний —  
Мир гремел во все колокола!  
Дымные раскачивались тени,  
И повсюду — камни и зола.

И броня уральского закала,  
Чудом уцелевшая броня,  
Как живая, горячо дышала  
И смотрела нежно на меня.

\* \* \*

Ползли под колючкой,  
рвались к рукопашной,  
в морозную полночь  
ходили на доты.  
Тогда, в девятнадцать,  
все не было страшно.  
И нам доверяли  
гвардейские роты.

О юность ты, юность!  
Пора золотая.  
Я с болью к тебе  
возвращаюсь опять.  
А может быть, просто  
сегодня пытаюсь  
какую-то правду большую  
понять.

## Леонид Вышеславский

### БОЙ БЫКОВ

*Памяти С. Кирсанова*

Есть у поэта строки про быка,  
которого терзают на арене.  
Уже быку исколоты бока.  
Уже он, грузный, подогнул колени.

Песок и кровь. Дразнящий взмах платка,  
и публика бушует в нетерпенье...  
Но слышится во всем стихотворенье  
такая неизбывная тоска,

такая человеческая боль, что даже,  
когда на мир в своем зверином раже  
жестокость лезла, это существо

невольную в нас вызывало жалость,  
и хоть совсем, казалось, сердце сжалось,  
любовь к живому трогала его.

БАЛЛАДА О НЕРАЗОРВАВШЕЙСЯ БОМБЕ

*То Хоаю, поэту*

В степи под Воронежем. Первые дни фронтовые.  
В бою еще не были, все нам в новинку, впервые,  
Все — даже безоблачный день, разогретая степь с мотыльками...  
Обед. Мы штурмуем походную кухню, гремим котелками.

Эй, повар, шуруй черпаком, наливай пожирней да поболее!  
Лапша и густа и навариста. Жалко, что вовсе без соли  
(Тем летом случались не с солью одной перебои),  
Еда не в охотку. Но небо зато — голубое.

Вдруг звякнули ложки. Качнулся возок от удара.  
Вдали над селом, против солнца — чадающее пламя пожара.  
А в небе над степью крестовой девяткою плотной  
Шли «юнкерсы» прямо на нас, на дымок нашей кухни походной.

По синему небу серебряным просверком  
бомбы, летящие косо.  
«В укрытие!» Плюхнулись в ров для кухонных отбросов.  
И как под крылом голова, и ладонью притиснуто ухо.  
Тряхнуло. Подбросило. Стало противно и глухо.

...Глаза приоткрыл. Вроде жив. Только ноги совсем занемели.  
А «юнкерсы» дальше пошли, не снижаясь, выискивать новые цели.  
Опять тишина. Мотыльки. Да стрекочут кузнечики тонко.  
А рядышком свежий колодец. Дыра. Не разрыв, не воронка.

Воткнулась фугаска, не выполнив смертного дела.  
Глубоко воткнулась, — как видно, взрыватель заело,  
А может, еще на заводе германском сработали чисто  
Бесстрашные руки рабочего-антифашиста...

В ту давнюю пору мне лет еще мало так было.  
Как должное принял я чудо, что бомбою нас не накрыло.  
И верилось — все доживем до победы с такою счастливой судьбою,  
Кузнечики прыгают. Небо опять голубое.

...Ох, сколько с тех пор и воды утекло и кровищи!  
Война раскидала людей так, что кости порою не сыщешь.  
Но этот денек, и без соли лапшу, и пожаров высокое пламя  
Я вспомнил, когда мне рассказывал друг о горящем Вьетнаме.

Вот раненый мальчик лежит у реки под стволами бамбука.  
Летают жуки. В их жужжании чудится грохот со скоростью  
звука.

И в памяти бомба всплыла, та, из бездны степного колодца.  
И кажется, сердце мое вот теперь вместе с ней разорвется.

## Николай Соколов

### КОНТУЗИЯ

*С. Сомовой*

Контузия —  
как мина  
замедленного действия.  
Как нож бандита в спину.  
Как подлость без возмездия.

Она подстерегает  
и тянет вниз, ко дну.  
Она напоминает  
минувшую войну.

Прошедшая — для многих,  
для многих — не страшна,  
под черепом глубоко  
в тебе живет война.

Под черепом  
стреляет  
давно умолкший дот.  
Атаку подымает  
убитый помкомвзвод.

Хрипит:  
— Вставайте, черти!  
Быстрее, черт возьми!

Сегодня  
мы от смерти  
должны отбить  
Сонгми!..

Ты с боемходишь в дело —  
за мертвых и живых...  
Но боль  
находит тело  
вдали от огневых.

Беззвучно наплывает,  
темна и невидна,  
и снова  
с ног сбивает  
прошедшая война.

Редеем строй служивых...  
И, как в полях тех лет,  
чернеют брызги взрывов  
на полосах газет.

## Николай Старшинов

### ДЕВОЧКА И ЧАЙКИ

Волны накатываются, гальку моя.  
Волны дробят голубую гладь.  
Девочка вышла на берег моря  
С чайками утренними поиграть.

Чайки кричат о недавнем шторме,—  
Был он безудержным и крутым.  
Девочка их, белокрылых, кормит —  
Черные корки бросает им.

Зорко за нею следит вся стая —  
Чайки взлетают  
И на лету,  
Словно жонглеры, куски хватая,  
Благодарят ее за доброту:

Кружатся рядом, полны доверья,  
Над головой поднимают гам.  
И оставляют на память перья —  
Перья роняют к ее ногам...

Море Балтийское, как ты мило!  
Девочка русая так мила!..  
Только ты, море добра и мира,  
Не обернулось бы морем зла.

Лишь бы...  
А дети — повсюду дети.  
Тучи надвинулись — не беда:  
Были бы желтые дюны,  
Ветер,  
Чайки белые  
И вода...

## У КОСТРА

Лес еловый.  
Дым лиловый  
Над пригаснувшим костром...  
Сядь со мною, и — ни слова,  
Я прошу тебя добром.

Видишь, искры рассыпая,  
Догорает головня?  
Их глотает ночь слепая,  
Шаг за шагом наступая  
На тебя и на меня.

Вот она вокруг излуки  
Сжала черное кольцо...  
У тебя худые руки  
И усталое лицо.

Но в глазах твоих, живые,  
Даже в нынешние дни  
Все не меркнут фронтовые,  
Те, далекие огни.

Ты пришла из дымных зарев,  
Ты по мирным дням прошла,  
Ничего не разбазарив  
Из того, что жизнь дала.

Прежней дружбы не утратив,  
Не забыв до этих пор

Фронтовых своих братьев,  
Боевых своих сестер...

Гаснет пламя на поленьях,  
Прогоревших до золы.  
Стынут руки на коленях,  
Словно первый снег белы.

Но постой-ка, не вчера ли  
Эти руки поутру  
Землю рыли и стирали  
И дрова несли костру?..

Так мгновенье за мгновеньем  
Я сижу и жду зарю.  
И почти с благоговеньем  
На лицо твое смотрю...

Лес еловый.  
Дым лиловый.  
Ты притихла у огня,  
Словно ждешь чего-то злого...  
Ну а если скажешь слово,  
Не суди тогда меня.

Я пойду напропалую  
И тебя в глухой ночи  
Обниму и зацелую —  
Лучше слушай и молчи...

\* \* \*

Иду, ничем не озабочен.  
Дорога вьется вдоль реки.  
Темнеет.  
Около обочин  
В траве мерцают светляки.

Я рад вечернему затишью,  
Меня покой берет в полон...  
Но вот уже летучей мышью  
Расчерчен синий небосклон.

Мелькая над рекой, над хатой,  
Все небо — вдоль и поперек —  
Избороздил зверек крылатый,  
Мятущийся в ночи зверек.

Как будто это, сна не зная,  
Отчаянно,  
Едва дыша,  
По небу мечется больная  
И одинокая душа...

Варлам Шаламов

\* \* \*

Я вызываю сон любой,  
С любой сражаюсь тенью,  
С любой судьбой вступаю в бой  
В моем ночном сраженьи.

О будущем своем молчу,  
Далек от предсказаний,  
Я дятлом в памяти стучу,  
Чту дятла показанья.

Небрежный почерк на коре —  
Зарубки и засечки,  
Под стать моей ночной игре,  
Танцующей от печки.

От печки детства моего —  
Печурочки железной,  
Где все — и грусть и торжество,—  
Все для меня полезно.

## Виктор Кочетков

\* \* \*

Нет ничего прекрасней поля  
Перед осеннею страдой,  
Когда на нем, как выпот соли,  
Туман белеет молодой.

Оно задумалось устало,  
Колося тяжкие клоня.  
Морщинит истина простая  
Чело задумчивого дня.

Нет ничего прекрасней луга,  
Цветами вытканной земли,  
Когда над ним — посланцы юга —  
Кричат гортанно журавли.

За ним тускнеет даль излуки  
И дремлют ясени в тиши.  
И вдруг коснется боль разлуки  
Сосредоточенной души.

Нет ничего прекрасней мира,  
Где речка поле обвила,  
Где так растерянно и мило  
Бормочет старая ветла,

И этой вымокшей лодчонки,  
Где ерш колотится о дно,  
И этих тихих глаз мальчонки,  
Весь день глядящего в окно.

## Михаил Квливидзе

\* \* \*

*Памяти Генгиза Сухишвили*

Мне непонятно, как произошло  
То, что казалось раньше невозможным:  
Меня с собою время увлекло  
В иные дни,  
А он остался с прошлым.

И вот я — то, чем был когда-то он,  
А он теперь — то, чем я стану тоже,  
Живет он вне пространств и вне времен,  
И встретиться мы с ним уже не можем.

Здесь все бессильно.  
Даже мысль моя  
Мне говорит, что надо покориться.

В былое мне никак не возвратиться,  
Ему — не выйти из небытия.

Мы никогда уж вместе не пройдем  
По улицам тбилисским и духаны  
Не посетим,  
И полные стаканы  
Не зазвенят за праздничным столом.

Он никогда ко мне не подойдет,  
Мы друг для друга стали неподвижны,  
И наши голоса уже не слышны...  
Я не могу — назад, а он — вперед.

*Перевел с грузинского А. Межиров*



## ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ С ПРОСПЕКТА РУСТАВЕЛИ

Ошибся тот, кто думал, что проспект  
есть улица. Он влажный брег стихии  
страстей и таинств. Туфельки сухие,  
чтоб вымокнуть, летят в его просвет.

Уж вымокли! — как тяжек труд ходьбы  
красавицам! Им стыдно или скучно  
ходить, как мы. Им ведомо искусство  
скольжения по острию судьбы.

Простое слово чуждо их уму,  
и плутовства необъяснимый гений  
возводит в степень долгих песнопений  
два слова: «Неуже-ели? Почему-у?»

Ах, неуже-ели это март настал?  
Но почему-у так жарко? Это странно!  
Красавицы средь стекол ресторана  
пьют кофе — он приятен их устам.

Как опрометчив доблестный простак,  
что не хотел остаться в отдаленьи!  
Под взглядом их потусторонней лени  
он терпит унижение и страх.

Так я шутил, так брезговал бедой,  
покуда на проспекте Руставели  
кончался день. Платаны розовели.  
Шел теплый дождь. Я был седым-седой.

Я не умел своей душе помочь.  
Темнело в небе — медленно и сильно...  
И жаль мне было, жаль невыносимо  
Есенина в ту мартовскую ночь.

*Перевела с грузинского  
Б. Ахмадулина*

ИЗ НАСИМИ

В 1973 году исполнилось 600 лет со дня рождения классика азербайджанской поэзии великого поэта-гуманиста Насими.

Насими жил и творил в тяжкое время средневековья, когда народные массы Востока подвергались бесчеловечному угнетению. В противовес исламской теологии, утверждавшей, что «человек ничто, а бог все», Насими провозгласил человека «средоточием всего сущего».

За свои мятежные стихи, полные прогрессивных мыслей, Насими был казнен.

Стихи его нелегки для перевода. Переводчику, приобщенному к стихии его мучительной и величественной поэзии, необходимо постичь суть его философского учения, проникнуться пафосом его еретических, для того времени, идей.

Стихи Насими — это пророческие проповеди. У него нет полутонов. Он страстно любит и страстно отвергает.

Предлагаю читателям два своих перевода из Насими.

\* \* \*

Везде коварство и навет, нет в мире верности ни в чем,  
Обманчив этот яркий свет, там траур скрыт под кумачом.

Ты честь свою побереги, с пройдохой не вступай в торги,  
Прочь от обманщика беги, не знайся с подлым ловкачом.

Мир — это праздности приют, тщеславье обитает тут,  
Чем жить средь грязных пересуд, остаться лучше ни при чем.

Сначала сладость посулят, потом в шербет добавят яд,  
Коль сердце змеи уязвят — не будешь ты спасен врачом.

Любовь — спасайся от нее! Ужимки, родинки — вранье,  
Страданье — вот удел ее, ад, полыхающий огнем.

Его реченья — клевета, его деянья — срамота,  
Надежды, помыслы — тщета, подумай горестно о том.

Проклятый дьявол — бледный конь для блудодейственных погонь,  
Узду кровавую не тронь, не запятнай себя грехом.

Тобой всеильный правит рок, он, как расчетливый игрок,  
Последний ход свой приберег, чтоб обыграть тебя тайком.

Служитель правды Насими, богатство двух миров возьми,  
Распредели их меж людьми, а сам останься бедняком.

\* \* \*

О мой весенний кипарис, чьей этой ночью стала ты?  
Вчера была моею ты, к кому теперь припала ты?

Душевный унося покой, куда ушла ты, ангел мой,  
Чьей стала ты теперь бедой, за что меня терзала ты?

В ночи я вспомню рдяный рот, и кровь из глаз моих течет.  
Блажен, кто, не пьянея, пьет, с кем это испытала ты?

Ресницы — быстрая стрела, бровь, словно лук, тонка и зла.  
Сраженным не было числа... К кому в силки попала ты?

Мне нестерпимо тяжело, я кровью обагрил чело,  
Кому теперь с тобой светло, с кем от любви устала ты?

О роза, шип любви остер, сжигает грудь мою костер,  
О напоенный влагой взор, скажи, где расцветала ты?

Мечом любви разя вокруг, ты убивала верных слуг.  
Чей врачевала ты недуг, чье сердце исцеляла ты?

Пусть каждый локон-завиток растреплет легкий ветерок.  
А Насими вдруг изнемог, любовь, всему начало ты.

## Жале

### ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Тридцать лет назад ребенок бывший  
стал сегодня молодым и сильным.  
Тот же, кто был молодым и сильным,  
поседел, состарился, согнулся.  
А того, кто слабым был и старым,  
не нашла я, сколько ни искала.  
Только кипарисы  
выросли в саду его, большие.

Бытие с небытием — две стороны,  
но медаль одна и та же.  
Бытие волне подобно буйной,

что ныряет в необъятность моря,  
чтобы вынырнуть другой волною,  
тоже буйной, тоже беспокойной.

Тот, кто тридцать лет назад скончался,  
дочь имел с лицом цветущей розы.  
Сын той дочери сегодня  
с дочерью своей идет вдоль моря.  
Беспокойные большие волны  
поднимаются и снова падают.  
Расцветает вечность в бесконечности.  
Дочь, отец, волна и море...

### ПЕСНЯ

Тюльпан мечты опять расцветет.  
Бутоны сердца опять разомкнутся.  
Хотя былая весна не вернется,  
вторично ушедший день не придет,  
но есть еще дни другие  
и есть еще весны другие.  
Радоваться — искусство.  
Радовать — высокое искусство.  
Но всегда улыбаются только маски  
бездушные,  
к людям равнодушные.  
Да минует нас беда равнодушия!  
Если бы было зеркало,  
которое отражало бы  
души человеческие,  
мы бы в нем увидели

то чудесное, чистое,  
что рождает стремление  
к жизни и к бессмертию  
и вливает надежду  
и победы желание...  
Радоваться — искусство,  
если ваша радость  
и других порадует.  
Жизнь — подмости,  
где каждый поет свою песню,  
а после сходит со сцены.  
Сцена — вечна.  
Слава песне,  
если ее запомнили,  
выучили наизусть.

*Перевел с фарси Б. Слуцкий*

## Алексей Марков

\* \* \*

Досказанная сказка —  
Привялая краса.  
Лицо в кричащих красках,  
И напрокат коса.

На шее безделушки,  
На пальце перстенок.  
С кокетством на макушке  
Расцветенный платок!

Наверно, на свиданье  
Последнее спешит,  
В котором расставанье  
Невидимо сквозит!

Уже потух над нею  
Желаний пересверк,  
Глаза с трудом синеют,  
Как будто день померк!

## Рувим Моран

\* \* \*

Зачем дала природа снегирю  
Огонь на грудку, выгнутую браво?  
Зачем самозабвенно и лукаво  
Он как бы дразнит нас: «горю! горю!»?

Игра ли это, чтоб потешить праздность  
Гостей случайных на пиру зимы,

Или прямая целесообразность,  
Которую пренебрегаем мы?

В рябине мерзлой та же свежесть цвета,  
В глазури льда черно блестит кора,  
И красота, бездумна и мудра,  
Не вопрошает и не ждет ответа.

\* \* \*

Улыбаться на грани  
Расставанья навек —  
Как прикладывать к ране  
Утешительный снег.

Все, что вырубил грубо  
Жизни резкий резец,  
Робко сияются губы  
Заровнять под конец.

Может собственной властью  
Не излиться слеза,  
Но не могут, к несчастью,  
Притворяться глаза...

ПРОГУЛКА В МИХАЙЛОВСКОМ

Ах, сколько лет сменилось на земле!  
Уже не дети, внуки старых елей,  
Что здесь, бывало, вслед ему глядели,  
Свой век стоят.  
Уже для них теперь  
Приют и дом — Михайловского нивы.  
Поклон тебе — не будет сиротливо  
При нас и им на дедовской земле...  
Вон путь его в Тригорское.

Ручьи

Его тропу весною источили.  
Вон сосны на холме. Они служили  
Его владений дедовских межой.  
Не те, другие. Те сожгла война —  
Мы уходили, сосны оставались.  
А вон Воронич. В той земле смешались  
С костями дедов кости внуков их.  
И те дубы увечные несут  
Осколков свежих памятные  
шрамы...

Бродивший меж надгробными  
камнями,  
Еще не знал он, грезя здесь стихами,  
Что к нам пришельцы новые придут!  
Отбились мы, хоть был тяжел урон,  
И склеп его от мин освободили.  
И вновь к нему тропинки проложили,  
И снова он спокоен меж своих.  
И если вдруг среди знакомых слов  
Услышит он наречие иное,  
Так лишь затем, что каждою весною  
К нему гостей ведем мы на поклон.  
Так повелось: на праздник муз —

к нему

Идем мы, окруженные друзьями.  
И делимся улыбкой и стихами,  
И делим хлеб и дружества вино.  
Так было им самим заведено.  
И да пребудет это между нами,  
Как он хотел...

КЛАДБИЩЕ В ЛЕЧИНЕ

Есть кладбище в тихом Лечине —  
О нем я не знал никогда;  
Совсем не по этой причине  
Я ехал на Одер туда.

Я ехал по улочке узкой  
Меж лавок, набитых добром,  
И вдруг обелиск  
И по-русски  
Печальная надпись на нем.

И золотом звезды на плитах,  
И холм перед каждой плитой:  
Три ста убиенных, убитых  
В три дня сорок пятой весной.

Где только фамилию вижу,  
А где-то под звездочкой в ряд —

«Ефрейтор такой-то». А ниже:  
«И с ним восемнадцать солдат».

И снова читаю я даты —  
Мы были ведь рядом тогда!  
Ребята, ребята, ребята,  
Какая сожгла вас беда?

Стою с головой непокрытой  
У ваших последних холмов:  
Три ста убиенных, убитых.  
А сколько в Лечине домов?

Да полно, деревни в то лето —  
Я видел их — были пусты...  
Спасибо за памятник этот,  
Спасибо за эти цветы.

Спасибо, что всех подобрали,  
Что всех положили рядком.  
Мы, верно, не там умирали  
Под маленьким сим городком...

Друзья, одногодки, солдаты,  
Какою окольной тропой  
Я снова пришел к вам, ребята,  
Простите, пришел к вам живой.

Я сон ваш ничем не встревожу,  
Я лишь покурю, одинок,—  
Быть может, приснится вам все же  
В Лечине  
                  махорки дымок,

Где жительниц местных руками  
Пострижена зелень могил,  
Где старая кирха над вами  
И дуб, что войну пережил...



ЛЮБЯТ ИСКРЕННО ТОЛЬКО  
ДЕТИ

Взрослым можно сказать:  
«Простите.  
Опоздал.  
Не принес цветов:  
Все киоски давно закрыты,  
Искуплю, мол, вину потом».

Взрослым чуточку лицемерья  
Не мешает друзьями быть.  
«Новоселье — так новоселье!  
Опоздал — есть о чем тужить».

Не такое друзьям прощаешь!  
Ты и сам, если в раж войдешь,  
Шубу лисью наобещаешь,  
Позже в шутку все обернешь.

А ребенку скажи:  
«Ведь надо ж,  
Позабыл купить вертолет...» —

Он обиды не выдаст даже,  
Но частица любви умрет.

БЫЛ Я ИЛЬ НЕ БЫЛ НА  
ВОЙНЕ?

Все чаще думается мне,  
Увидев битву на экране:  
«Был я иль не был на войне?  
Был я иль не был дважды ранен?»

И неужели,  
Неужель  
И я бежал в дыму сраженья,  
И я бросал свою шинель  
На вражеские укрепления!

И, обезумевши, кричал:  
«Ур-ра-а!!!»  
Кричал, как все солдаты.  
Потом — санбат.  
Потом привал  
У рубежей, еще не взятых.

...Теперь,  
Лишь луч мелькнет в окне  
Или скворец летит в скворешню,

Я снова радуюсь весне,  
Рву колокольчики, как прежде.

Ломаю гибкую сирень,  
Дарю цветы своей хорошей.  
И кажется в весенний день —  
Я навсегда забыл о прошлом.

Лишь в дни осенней непогоды  
Военные я помню годы.  
Я точно вспомню Богучары,  
Барвенково,  
Бой под Орлом,  
И дым пылающей Варшавы,  
Смоленск, охваченный огнем.

Но только боль в груди пройдет —  
Меня сомненье вновь берет:  
«Был я иль не был на войне?..»

Иль все это приснилось мне?..



СТИХИ О ТИШИНЕ

Густой травы  
Не приминая,  
Ото всего отрешена,  
Как девушка глухонемая,  
Неслышно бродит  
Тишина.  
Ей здесь все побродило  
Знакомы.  
Все птичьи гнезда  
Ей видны.  
Как обеззвученные громы,  
Мхом обрастают  
Валуны.  
Чадят и зыбятся болота.  
Шумит,  
Качаясь, пьяный лес...

А тишина все ждет  
Чего-то,  
Все бродит в поисках  
Чудес.  
Весенним радуясь обновлениям  
(Кому зеленый мир  
Не люб?!),  
Она, быть может,  
Бредит словом,  
Слетевшим с онемелых губ?  
Живет в глуши  
И вряд ли знает  
В наивной простоте своей,  
Как человечество  
Мечтает  
О радости слиянья с ней!

ПРИЧАСТНОСТЬ

Что мне до звездного тумана,  
До млечной бездны надо мной!

*И. Бунин*

Еще не справляли свадеб  
Мы на других планетах,  
Загадочной Аэлиты  
Мы не видали глаз...  
Но мы уже хоронили —  
Нам ли забыть об этом? —  
На поприще подвига  
Павших  
Разведчиков звездных трасс.

Скорбят о погибших вдовы.  
Растут без отцов их дети.  
Их матери молча плачут.  
Стонут друзья во сне.  
Омытые жаркой кровью,  
Млечные дали эти  
Приблизились к самому  
Сердцу  
И властно живут во мне...

ОБЕЛИСКИ

Люди гибнут в морях  
И в туманных высотах.  
Замерзают во льдах,  
Тонут в горклых  
Болотах.  
Но ни в небе,  
Ни в море  
Не найти обелисков  
В честь погибших

Героев,  
В память гордого  
Риска...  
Ни болота,  
Ни лед  
И не звездная замять, —  
Лишь земля бережет  
О сынах своих  
Память!

# Александр Коваль-Волков

## ТРОПИНКИ

Бульвары  
                  протянулись по-над Доном.  
По-прежнему  
                  так солнечны они.  
Ветвятся тропки  
                  по заросшим склонам,  
Из прошлого  
                  взбегая в наши дни.  
Держу те тропки,  
                  будто на ладони,  
Одна из них какая-то —  
                  моя.  
Наверно, та,  
                  что вцепкиих травах тонет,  
Мои следы веселые тая.  
По ней к воде,  
                  вихрастый, босоногий,  
С ребятами  
                  я скатывался вниз,  
Приветствуя и Дон мой,  
                  и дороги,

Что в голубом заречье  
                  разбредлись...  
Не робкими мы были  
                  с малолетства.  
В четырнадцать  
                  так радостно жилось.  
Война оборвала  
                  тропинки детства.  
И нам  
                  шагнуть  
                  под пули  
                  довелось...  
Стою на левом берегу  
                  пологом,  
Где часто я  
                  с ребятами стоял.  
Тропинки наши  
                  выросли в дороги,  
Хоть многих  
                  я друзей  
                  недосчитал...

## НАД СИВАШОМ

Машина режет мглу  
                  над Сивашом,  
И волны, тихо стряхивая пену,  
До горизонта всходят под крылом,  
Одетые  
                  в буденновские шлемы.  
Я вглядываюсь в них:  
                  богатыри  
Встают из волн.  
И, полыхнув штыками,  
Идут на Крым  
                  по золоту зари,  
И соль земли  
                  скрипит под сапогами.  
Им широко  
                  распахивает степь  
Во все концы  
                  свои дороги —  
                  настежь.  
Они идут, как шли.  
За цепью — цепь.  
Над ними время  
                  не имеет  
                  власти.

## Нина Эскович

### КИЖИ

К теплоходу приближались,  
то отважны, то робки,—  
«тега-тега!» — разбежались  
острова и островки.

Благо есть им,  
где побегать  
и зарыться в облака!  
Ты, Онега,— мамка Лебедь  
в светлой дымке холодка.

«Тега-тега-тега-тега!»  
Как же их тебе собрать?  
Кижички близко, брось, Онега,  
в море сизое играть.

Двадцать две главы увижу  
и тихонечко спою:

«Тега-тега, Кижички, Кижички,  
удержитесь на краю!»

Серый селезень подранен,  
припадает на бочок.  
Многокупольный  
огранен  
серебристый чесночок.

В нити солнцева обнiza  
церковь ряжена в веках,  
или здесь Онега — сиза  
возвеличена в веках?

Кижички — зеркало ручное,  
поднимая к небесам,  
гребнем —  
сказкою резною —  
провела по волосам!

## Ирина Снегова

\* \* \*

Над Кавказом осенний стяг:  
Синевы с желтизной — поровну.  
Отъезжаем. Не век в гостях!..  
Я смотрю в обратную сторону.

В желтизну смотрю, в синеву,  
Вопреки расписанью скорому,

Сквозь торчащее наяву  
Я смотрю в обратную сторону.

Все черней, все быстрее в окне,  
Все надсадней вороны-вороны..  
Ах, как светит в той стороне,  
В той, обратной, в погасшем дне,—  
Я смотрю в обратную сторону.

\* \* \*

Похолодало небо, и  
В нем меньше утешенья,  
И ждет покинутость земли  
Последнего решенья.  
И лист, и я, и жизни ход  
Притихли, звук в упадке...  
Все ждет: вот-вот и — «Суд идет!»  
С помилованьем в папке.

## Иван Варавва

### СИНИЦА

Мы возвращались в дальний тыл,  
Солдаты армии Чуйкова,—  
По следу грома боевого,  
По свежей памяти могил.

Кругом зеленая трава  
Покрыла щели и бойницы,  
Где светлогрудая синица  
В стволе орудия жила.

Был полдень солнцем осиян,  
Во все концы —  
Земля большая  
Дышала силой урожая  
В нее заброшенных семян.

По флангу нашего полка  
Земля атакою примята.

Из жерла пушки синичата  
Все просят,  
Просят червячка.

Синице этой повезло.  
Где ни кустарника,  
Ни дуба —  
Дыра в тяжелой пушке Круппа,  
Как настоящее дупло.

Звенела птица:  
«Тень да тень»,  
Взлетев на ржавой пушки хобот.  
Солдат на Родину торопит  
Веселый, белобровый день.

А строгий маршал наш Чуйков  
Склоняется над картой фронта,  
Пока гремят в ногах пехоты  
Грома и молнии подков.

## Дмитрий Ковалев

### НЕ К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ

*Памяти комбрига Ивана Колюшкина*

Комбриг был слишком мягким  
вроде.  
Но между тем негрозный взгляд  
Все чувствовали.  
И в походе  
Он делал грозными ребят.  
С врагом  
В его же базах  
Встречи  
Искали.  
Время остро шло.  
А он-то помнил:  
С шуткой легко,  
Когда не в шутку тяжело.  
Негоже в море быть сурову:  
От близких все удалены.  
И лишь говаривал он к слову:  
— Идем  
Не к теще на блины...—

И озаряли бездны рая  
Ночные взрывы —  
Эхо «пли».  
И, не от спеси задирая  
Носы,  
Тонули корабли.  
Глубинки рвались так свирепо,  
Что лампы сыпались из тьмы.  
И корпус,  
Скрежеща, минрепы  
Трясли  
От носа до кормы.  
Но улыбались,  
Почему-то  
Той тьмою не ослеплены,  
Матросы,  
Вспомнив в ту минуту:  
— Идем  
Не к теще на блины.

\* \* \*

Один стою...  
И холмик твой,  
Поросший  
Травой,  
Уже сухой,  
И крест...  
А память —  
За дождями,  
За порошей.

Обнажены  
Пески родимых мест.  
Тревожное мятущееся небо,  
Как в заревах,  
В летящих облаках.  
Седая,  
Вся включенная верба.  
Стога седые  
За рекой в лугах.

В венце седин лицо.  
И нет смятенья  
На нем.  
В плывущих зыбкостях  
огня,  
Зеницы желтые  
Зияют тенью.  
Впервые ты  
Спокойна за меня.

Валентин Леднев

### ШИПОВНИК

Шиповник поздно зацветает.  
Родоначальник пышных роз,  
он не торопится, он знает:  
всему свой срок, всему свой  
спрос.  
Цветет, когда земля прогрета,  
и нянчит долго терпкий плод,  
зато спрессованное лето  
он до метелей сбережет.

Евгений Савинов

\* \* \*

Безжалостно осины вырубают...  
Мне объяснили: чистят березняк.  
Ах, роща, роща бело-голубая,  
Тут что-то не по-дружески, не так!  
Просвеченные солнцем, так красивы  
И так легки... Помедли, дровосек!

Но, под пилой затрепетав, осины  
С последним вздохом падают на снег.  
Без них, без них прогромыхают грозы,  
И птицы воспоют без них весну.  
И потемнеют сирые березы:  
Никто не подчеркнет их белизну.

# Николай Тарасов

\* \* \*

Ничего весна не развязала!  
По Москве иду средь бела дня.  
Улица как будто не узнала:  
На меня глядит и сквозь меня.

Молодость рассыпалась, как  
И как гул шагов по этажу. возглас  
Чудом оставляя этот возраст,  
Медленно в другой перехожу.

# Борис Куняев

## МОРЕ

То ровное,  
                                  то ломаное в моде.  
То макси.  
                                  То почти без ничего.  
А море  
                                  остаётся вечно морем,  
И мода  
                                  не касается его.  
Все было —  
                                  и папирусный кораблик,  
И лайнер —  
                                  целый город на волне.  
А море  
                                  отбирает самых храбрых  
И учит  
                                  широте и глубине...  
В сиреневую даль  
                                  не наглядеться,  
Не надышаться —  
                                  распирает грудь.  
Встает волна.  
                                  Стучит прибой, как сердце.  
Живое сердце!  
                                  Может, в этом суть.

# Борис Дубровин

## ДЕСАНТ

Колени я к груди поджал по-птичьи,  
Я, как былинка, под стеклом большим:  
Я пойман, многократно увеличен,  
Полнеба телом занято моим.

И — выстрел парашюта. Тело током  
Пронизывает в стихнувшей ночи.  
И я, как будто линзой, пойман в фокус:  
На мне сошлись прожекторов лучи.

Прокалывая черные высоты,  
Светящиеся в точечном огне,

Змеящиеся трассы пулеметов  
Скрестятся неминуемо на мне.

Уже и купол дырками чернеет,  
И срезало стропу. Наверняка  
Сейчас в меня. А может, не успеют?  
Промажут вдруг?! Близка земля,  
близка!..

Я выжил. Ни к чему теперь детали.  
Зачем к ним возвращаюсь — не пойму?..  
Ну, а по вас когда-нибудь стреляли?  
Вы прыгали когда-нибудь во тьму?

## СОБСТВЕННАЯ РЕЧЬ

Молчанья миг, и — дрогнул  
подбородок!  
Хоть кроток запеленатый кумир,  
Первоначальный крик самой  
природы  
Из губ его — родных ошеломил.

Хотя далековат от совершенства,  
Но все-таки естественно живой,  
Его язык из мимики и жестов  
Не «эсперанто» и — ничей, а —  
свой.

Всех тонкостей его не перечислишь,  
Всех изречений мне не уберечь:  
Сплетает звуки, сочиняет, мыслит,  
Изобретает собственную речь,

Торопится неискuschenно-смело:  
Он должен наверстать, открыть  
секрет

Всего, что человечество не сделало  
За миллионы миллионов лет.

## Николай Краснов

### В ПУШКИНСКОМ ЛИЦЕЕ

Камины растопив сильнее,  
Под вой пурги во всех щелях  
Ночуем в Пушкинском лицее,  
В дневных уставшие боях.

В волнах махорочного чада  
Амур парит над нашим сном —  
Без рук, без стрел и без  
колчана,  
С одним-единственным крылом.

И не заботит нас нимало,  
Что за окошком снегопад,  
По всей округе как попало  
Враги убитые лежат...

Блаженно спят друзья-солдаты.  
Тепло. А мне так всех теплей:  
Жду — тот, кто мне роднее  
брата,  
Вот-вот заглянет из дверей,

Вот-вот войдет, кого украдкой  
За школьной партою читал,  
Кого на всех своих тетрадках  
Анфас и в профиль рисовал  
И с кем сейчас — о миг  
чудесный! —  
Сошлись под крышею одной.  
Кудрявый Пушкин — мой  
ровесник —  
Все ходит, ходит за стеной.

И мнится голос вдохновенный  
Среди полнотной тишины:  
«Страшись, о рать  
иноплеменных!  
России двинулись сыны!..»

И с каждым мигом связь живая  
Меж нами крепнет навсегда...  
В провале потолка сияет  
Моя солдатская звезда.

## Владимир Жуков

### В ГРОЗНОЕ ОДНО ПОДРАЗДЕЛЕНЬЕ

В грозное одно подразделение  
чуть ли не на край родной земли  
просто  
почитать стихотворенья  
фронтовых поэтов привезли.

Стало быть, не стерлось наше  
слово,  
нас самих  
бросавшее вперед...  
Пошептавшись дружно,  
мы Орлова  
выдвинули с ходу наперед.

Вышел он смущенно и несмело,  
словно и не классик никакой.  
Штопаный, каленый и горелый,  
с яростной и рыжей бородой.

В шар земной  
таких вот зарывали,  
а они из шара сразу — вон,  
в танки  
в люки донные вползали  
и опять хрипели в шлемофон...

Как влитые замерли ребята  
и сидят, дыханье затая.  
Век двадцатый. Год семидесятый...  
Да ведь это ж наши сыновья!

Вот и мы такими были-жили,  
разве чуть потише, поскромней.  
Но зато в плечах сыны пошире,  
да и ростом явно покрупней.





\* \* \*

Он не вернулся. Все еще в полете  
он, Антуан де Сент-Экзюпери,  
слагаются легенды о пилоте,  
и позабылись споры на пари.

Горючее давно уже сторело,  
в прах превратились старые  
винты,  
ему-то до того какое дело —  
на тыщи лет хватает высоты.

### СОНЕТ

Учителей забывший ученик  
учителем не будет никогда,  
он не затратит своего труда,  
чтоб кто-то ремесло его постиг.

Есть на земле немало мудрых  
книг;  
зарывшись в них на многие года,

не сразу разберешься, где руда,  
а где глубоко спрятанный родник.

В учении живая связь нужна.  
Лишь в человеке видит человек  
себя, дела свои, свой век.

Чтоб не пропали даром семена,  
не наломать напрасно горы дров,  
подручные, любите мастеров!

## Нина Новосельнова

### БАЛЛАДА О НЕИЗВЕСТНОЙ СЕСТРЕ

Это было под Минском,  
Это было в Орле,—  
Далеко или близко,—  
На родимой земле.

Где бои отшумели,  
Там нашли под кустом,  
Под истлевшей шинелью  
Сумку с красным крестом.

Кто ты, юный ефрейтор,  
Как прервался твой путь?  
След затерянный чей-то  
Память хочет вернуть.

Собрались ветераны  
У куста, у костра.

Говорят ветераны:  
— Это наша сестра.

Здесь, на поле на бранном  
В сорок первом году,  
Если звал ее раненый,  
Отвечала: «Иду».

А потом с перевала,  
На обрыве крутом,  
Не она ль отправляла  
Санитарный паром?

...Вот бои отшумели,  
И нашли под кустом,  
Под истлевшей шинелью  
Сумку с красным крестом.



2



## ЖИЗНЬ КНИГИ

### I

Философы, вникающие в Суть!  
Художники! — блистательное племя,  
Чья жизнь — мечта, надежда, подвиг, бремя! —  
На ваш пример мне страшно и взглянуть.

Чтоб «книжной» не прозваться как-нибудь...  
Почтенней вас выходит даже семя  
Крапивы, презираемое всеми:  
Его-то ведь не грех упомянуть!

Что! Даже черт (не к ночи будь помянут!)  
Опять-таки звучит при свете дня.  
А скажешь «Кант» — и днем их уши вянут...

Стою без слов над тайной непостижной:  
За то ль зовусь «нежизненной» и книжной,  
Что буквы книг так живы для меня?

### II

Я не с листа писала на листок,  
Я не из книги в книгу заносила!  
Но знаю: книга — жизненный исток.  
Пресс Гутенберга — жизненная сила.

Я на рембовском «Пьяном корабле»  
В цитатный порт ни разу не являлась.  
Но я «литературностью» Рабле,  
Я «книжностью» Эразма вдохновлялась.

«Оторваны» мои учителя  
От «гущи жизни» — как никто на свете!  
Гомера ворошат чего-то для,  
За тогу римлян держатся, как дети.

Смешно сказать! — им слышится из книг  
Такой же — человеческий! — язык.

### III

Живой да будет каждая строка!  
Из жизни черпай злато размышлений!  
Но жизнь — помилуй! — разве так ярка  
И так сильна, как выраженный гений?

Не хмурь многозначительно бровей,  
Не покрывайся складками страданий!  
Всего полней (не спорь!), всего живей  
Жизнь гения и жизнь его созданий.

А нет, оспорь Шекспира. Вот где зло!  
...За окнами бушует Лондон ярый;  
Там — лязг и грохот, Джонсон и Марлбó...  
А он — корпит над летописью старой.

Не в жизни взял: с пергамента «списал»!  
Но кто нам сердце глубже потрясал?

## ЛИКИ ЛЬДА

Как зима беспредельна!  
У льда одного — сколько ликов!  
Кувывркающихся,  
Составляющихся  
Из бликов,  
Задирающих бровь, недовольных, зеленых, грозящих,  
Пропускающих свет и скольжение лучей — тормозящих.

С убегающим взглядом, вертящихся, как на шарнирах,  
Акварельных, игрушечных, радужных, линзообразных...  
Сколько ликов и видов!  
То сыростью нежных и сирых,  
То по-царски алмазных, то нищенски бедных и грязных...

Пушки солнца палят. Разрываются блеска снаряды.  
Подымаются в воздух сверканья лежалого склада,  
И лучей арсеналы взрываются. Но молчаливы,  
Но безмолвны, беззвучны, безгласны их залпы и взрывы...

Сколько ликов у льда!  
Он подобен, кружась перед вами,  
Отражению в ложке, в зрачке, в колесе, в самоваре,  
Но е г о отражения — сжатей, подавленной, глуше:  
Будто, издали, искоса в зеркало смотрятся души,  
Подступить не решаясь и честно в стекло поглядеться.

Чтобы глянуть прямее, им надобно долго вертеться,  
Приспосабливаясь, пристраиваясь, переминаясь,  
Уменьшаясь, кончаясь, вытягиваясь... Начинаясь  
От другого конца... И, как зонт осьминога, сминаясь...

Ну а что, если вдруг остановится скользкая рама?  
И фантомы зимы подойдут и посмотрятся прямо?  
И откроешь, дрожа, что и вечность не беспредельна?

Я люблю эту даль. Я боюсь этой дали смертельно!

Сколько ликов у льда!  
Он бывает пустым, облегченным,  
Серым, сетчатым, перистым, мокрым, весенним, сеченым,  
Черным, пильчатым, ржавым, дыханьем тепла омраченным,  
Мутным,  
Страшным,  
Слепым...  
С чем-то красным, внутри запеченным...

В поздних сумерках бурая льдина гнетет, беспокоя:  
Что за душная тень угнездилась — в холодном и светлом?!  
Как растает — вернуться, взглядеться, узнать: что такое...  
Может статься, весной наваждение рассеется с ветром?

Но всегда по весне забываешь о каверзной льдине.  
И скорей, чем о льдине, о тени в ее середине.  
И скорей, чем о тени, о месте, где, словно с пожара,  
Головня остекленная — странная льдина лежала...

О зиме без конца, о тоске без конца и начала  
И о всей многоликости льда...

## Евгений Евтушенко

\* \* \*

Столько раз я был так больно  
ранен,  
добираясь до дому ползком,  
но не только злобой протаранен —  
ранить можно даже лепестком.

Ранил я и сам — совсем невольно  
нежностью небрежной на ходу,  
а кому-то после было больно,  
словно босиком ходить по льду.

Почему иду я по руинам  
самых моих близких, дорогих,  
я — так больно и легко ранимый  
и так просто ранящий других?



\* \* \*

Хотя ты и не сеть,  
душа моя живая,  
в себе, как будто в степь,  
улавливал себя я,  
улавливал спеша,  
постичь хотел, запомнить,  
чтоб ты, моя душа,  
меня могла заполнить.

В простой моей судьбе  
удел есть предрешенный:  
как в зеркале, в себе  
живу я, отраженный —

от прожитых разлук,  
от встреч, где все иначе,  
от предрешенных мук,  
от прожитой удачи,

от прожитых потерь,  
от отречения — тень я...  
Неужто я теперь  
всего лишь отраженье  
тех дней, что на распыл  
пустил в дорогах трусских,  
того, кого любил,  
жалел средь истин тусклых.

Жил громко, напролом,  
вкусил всего довольно,  
как в зеркале — в былом  
ни холодно, ни больно.

И только в сердце грусть  
пахнет остудой снова —  
что в явь свою вернусь  
из зеркала прямого.

## СКВОЗЬ МЕНЯ

Каждым нервом, болью каждой  
слышу — движется ползком,  
обжигая душу, жажда  
сквозь меня — сухим песком.

В этой горькой жажде спертый,  
задыхаясь, знаю счет —  
миг — разорванной аортой  
с миром связи разомкнет.

Проступает терпкой смолью  
счет годов на старом пне —  
так и я своею болью  
проступаю в этом дне.

Связан с миром связью кровной,  
рвусь — росой сквозь зелена,  
ощутив, как мир огромный  
проступает сквозь меня.

Сквозь меня, как будто тени,  
пронеслись, переплелись  
звуки давних песнопений,  
голоса зверья и птиц.

Так живу, давно заманен  
в дни, где мне всего больней,  
в голос добрый, в голос мамин  
до скончанья этих дней.

Яростно и одержимо  
сквозь меня — ручьем сквозь  
снег —  
тяга рушится, с вершины  
продолжает давний бег.

Из себя, как из чужбины,  
к людям рвусь, к надежде рвусь  
и, как снега от рябины,  
так для нежности зажгусь.

Всей судьбой, всей жизнью  
тленной  
связь с грядущим днем крепя,  
всей своей души вселенной  
вновь обрушусь сам в себя.

Облик прошлого сминая,  
зыбкий облик,  
сквозь меня  
проступает даль иная  
быстриной иного дня...

\* \* \*

Еще не раз я пожалею,  
на прожитом остановясь,  
что все покорней, все большее  
во мне с родной землею связь.

Я все страшусь, что сердце разом  
забудет, слушая печаль,  
о том, чем я живу и связан  
с тобой, утраченная даль,

с тобой, подмерзлая дорога  
через луга наискосок  
вдаль от отцовского порога  
на одинокий огонек,

с тобой — под зябким небом  
млечным —  
через речонку перевоз,  
с тобой, рассолом огуречным  
пропахший с осени, мороз.

Я с той же нежностью старинной  
здесь — снова прежний и простой, —  
где дым протяжный, реактивный,  
как ветка вишни над избой.

И если я чего-то стою,  
то потому, что есть она,

та связь с родною стороною,  
что мне сильней, чем жизнь, нужна.

Какой бедой, какой утратой  
с родным уравнен буду здесь?  
И я молчу, как виноватый  
за все, что было, все, что есть.

Гляжу в доверчивые лица,  
ищу по совести ответ  
на прежнее: ну, как столица,  
о нас-то помнит или нет?

На правде сущей душу править  
еще пока я не отвык —  
где промолчать, где прилукавить,  
а где по-русски напрямик.

И, веря в слов простецких россыпь,  
как встарь, в забытый край  
стремясь,  
я, как чужой, с трудом, на ощупь  
ищу утраченную связь.

И на душе одна забота:  
вернусь — и снова загрузу  
и про себя у них за что-то  
прощенья тихо попрошу...

\* \* \*

Вот миг — и вдалеке  
вдруг канула минута —  
и вновь на сквозняке  
душа моя продута.

Морщины лоб секут,  
и что ни день — в утрате;  
и зыбкий бег секунд  
дрожит на циферблате.

А я одним томим:  
что часовая стрелка  
над временем моим  
не спит, как посиделка.

Души текучий лик,  
летучая частица,  
неужто в этот миг,  
как в мрамор, воплотится?

Неужто без следа  
живу, коль в тишь и вьюгу  
спешу, как стрелка та,  
по замкнутому кругу?

А я стою на том,  
что жизнь — не только бремя,  
коль сердцем,  
как щитом,  
вдруг остановишь время...

# Андрей Вознесенский

## ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик Ваш — серебряный как алебарда.  
Жесты легки.  
В Вашей гостинице аляповатой  
в банке спрессованы васильки.

Милый!

Вот что Вы действительно любите!  
С Витебска ими раним и любим.  
Дикорастущие сорные тюбики  
с дьявольски  
выдавленным  
голубым!

Сирый цветок из породы репейников,  
но его синий не знает соперников.  
Марка Шагала, загадка Шагала —  
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба  
в хохоте нэпа и чебурек.  
Во поле хлеба—  
чуточку неба.  
Небом единым жив человек.

В них витражей голубые зазубрины  
с чисто готической тягою вверх.  
Поле любимо,  
но небо возлюблено.  
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.  
Зонтик раскрой, выходя на проспект.  
Земли различны,—  
небо едино.  
Небом единым жив человек.

В век ширпотреба нет его, неба.  
Доля художников  
хуже калек.  
Давать им серебряники  
нелепо —  
небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя  
на Елисейские на поля?  
Как заплетали венки Вы на темя  
Гранд Опера, Гранд Опера!

Ваши холсты из фашистского бреда  
за Пиренеи несли через снег.  
Свернуто в трубку  
запретное небо,  
но только небом и жив человек.

Не протрубили трубы господни  
над катастрофою  
мировой —  
в трубочку  
свернутые  
полотна  
взвыли  
архангельскою  
трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,  
пока не выступят  
васильки?  
И сорняки здесь всемирно красивы,  
хоть экспортируй их,  
сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!  
По полю дрожь.  
Поле прищпорено васильками,  
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером —  
будто захварываешь,  
во поле углические зрочки.  
Ах, Марк Захарович,  
ах, Марк Захарович,  
всё васильки, всё васильки...

Не Игова, не Иесусе,  
ах, Марк Захарович, нарисуйте  
непобедимо  
синий завет —  
Небом Единым Жив Человек.

## ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВСТРЕЧИ



Мысль о том, чтобы показать свою выставку в Ленинграде, созрела у Маяковского еще тогда, когда с нею знакомились москвичи. Как только выставка в клубе московских писателей закрылась, поэт в записке, адресованной Библиотеке имени Е. И. Ленина, указал, что передает библиотеке все экспонаты «для постоянного показа и работы» и что считает необходимым «организованный показ рабочим клубам Москвы и других городов Союза». Эта записка датирована 23 февраля 1930 года, а уже на следующий день, в письме к Л. Ю. и О. М. Брикам, находившимся за границей, поэт сообщал: «От 5 до 12 марта выставка моя едет в Ленинград, очевидно и я выеду экспонатом». К моменту отправки этого письма П. И. Лавут по просьбе Маяковского уже договорился (по телефону) с ленинградскими товарищами о дне открытия выставки.

Клуба писателей в Ленинграде тогда не было. Местом сбора литераторов служил Дом печати, который помещался в некогда богатом особняке на набережной Фонтанки, неподалеку от цирка, под номером семь. Во дворе того же дома, если войти в него с улицы Толмачева, на втором этаже, располагалась Федерация объединений советских писателей (ФОСП). В правление Дома печати входили и журналисты, и писатели, и рабкоры.

Предстоящий приезд Маяковского был тотчас же зафиксирован в печатном календаре Дома: там отметили даты его выступлений; о выставке же никто не вспомнил, и к ее организации не готовились. П. И. Лавут явился в Ленинград с ручным багажом в несколько пудов — там были все экспонаты выставки, исключая лишь часть книг, которые нетрудно было достать в Ленинграде. Его не встретили и ни о чем не позаботились, — пришлось вызвать к телефону Маяковского, чтобы ускорить его приезд.

Владимир Владимирович приехал в Ленинград 4 марта. Он весьма внушительно поговорил с администрацией Дома печати и с профсоюзом печатников. Под экспозицию была отведена центральная гостиная на втором этаже.

Просторное это помещение было для выставки не очень удобно. Оно служило и прогулочным фойе, и проходной комнатой (только через нее можно было попасть в зрительный зал, в читальню, в другие гостиные и в директорский кабинет). К тому же все простенки были покрыты золочеными лепными завитушками в стиле купеческого ампира, а под люстрой в центре зала высились четыре колонны, — ни по расположению, ни по архитектурному своему облику для выставки Маяковского зал этот не подходил. Но другого помещения не было, и пришлось развешивать ее здесь.

Маяковский, обойдя зал, прикинул схему размещения стендов и попросил библиотекаряшу Дома печати подготовить имеющиеся в здешнем фонде книги его стихов.

— Может быть, найдутся, — сказал он, — издания первых лет революции, их дайте раньше всего...

Но сам он в этот день заниматься выставкой не смог — ему предстояли два публичных выступления: в четыре часа дня у студентов университета и вечером — в Педагогическом институте имени А. И. Герцена.

Я был тогда на втором курсе университета (на факультете языка и материальной культуры, как назывался нынешний филфак), и поэт Павел Яцынов, редактировавший нашу печатную «Студенческую правду», пору-

чия двум студкорам и членам ЛАУ (Литературной ассоциации университета) — Владу Беликину и мне — встретить Маяковского в гостинице и проводить его в наш актовый зал. Часа за полтора до начала мы явились к поэту в номер «Европейской».

У моего друга Беликина был бравый комсомольский вид: юнгштурмовка защитного цвета с ремнем через плечо, бриджи, кимовский значок на груди и... ботинки с обмотками вместо сапог. Поэт с жалостью посмотрел на эту обувь, но тут же объяснил, что при виде обмоток на ногах ему вспоминаются пленные австрийские солдаты времен русско-германской войны. Я же, пока шел этот разговор, стал разглядывать комнату и стол. На столе я увидел две книги, купленные, видимо, в то же утро, ибо это были ленинградские книги недавних изданий: большого формата в синей обложке «Альманах «Красной газеты» и очень скромный томик в бумажной обложке, наискосок которой раздельными буквами, выделенное двумя рядами линий, стояло слово «Разбег». Так назывался первый сборник стихов четырех ленинградских поэтов — А. Гитовича, Б. Лихарева, А. Прокофьева и А. Чуркина, — их литературный дебют. Я довольно неловко перевел разговор с обмоток на книги и поинтересовался, читал ли их Маяковский. Он ответил, что из томика успел прочесть только раздел Александра Прокофьева (восемь стихотворений, в том числе четыре песни о Ладогe) и два первых стихотворения Александра Гитовича («Фотография» и «В историческом музее»); альманах же, сказал он, «еще не разрезал».

Из гостиницы Владимир Владимирович отослал нас обратно в университет, пообещав, что доберется один.

Выступление в актовом зале длилось около двух часов. Зал плохо отапливался, и многие сидели в теплых куртках, в шапках, пальто. Но слушателей было много, — они заняли не только все стулья внизу и скамьи на балконе, но и подоконники у наружной стены. На одном из этих подоконников полусидел молодой человек в треухе, из-под которого торчали густые курчавые волосы, резко выделявшиеся на матово-бледном лице. Это был студент-стихотворец Т.; многие из присутствовавших знали его не столько по стихам, сколько по экстравагантным выходкам. Во время выступления Маяковского он стал подавать короткие, но грубые реплики, смысл которых до всех нас не сразу дошел. Одну и ту же фразу он повторял несколько раз, пока Маяковский не сделал паузу и не дал нам возможность услышать раздававшееся с подоконника слова:

— Володимир, ты обобрал Велемира.

Наступила еще более длительная пауза, которую Маяковский прервал словами:

— Ну-ка, выйдите сюда, расскажите...

Т. тут же поднялся на эстраду, скинул шапку, стал что-то бормотать (до нас донеслось только «нахлебники Хлебникова») и сразу сник...

— Чего же вы хотите? — спросил Маяковский.

— Хочу читать стихи. Они мои, а не чужие...

— Давайте, — разрешил поэт.

И Т., поднявшись на носки, начал. Но публика не пожелала его слушать. В зале поднялся шум, кто-то засвистел. Непрошенный чтец вынужден был удалиться в сопровождении свиты — еще одного студента и какой-то девицы. Маяковский снова овладел вниманием зала, но было видно, что инцидент ему неприятен, в голосе появилась дрожь, тон речи несколько снизился. Когда выступление кончилось, мы окружили поэта и пытались ему объяснить, что это не первая выходка нашего одноклассника, снедаемого жаждою известности и славы.

Настоящим триумфом поэта было его выступление в Педагогическом институте, — оно описано в воспоминаниях Леонида Равича. Маяковский

на этом вечере заметно приободрил, но и немало устал. Однако он еще несколько часов — почти до самой ночи — провел в Доме печати, готовясь к устройению выставки.

Библиотекарша подобрала к этому времени книги. Один из ленинградских литераторов (кажется, В. Боцяновский) принес сохранившиеся у него вырезки из дореволюционных петербургских газет (там были отклики на публичные выступления поэта, рецензии на постановку трагедии «Владимир Маяковский» в театре «Луна-парк»). Нашлись и эскизы костюмов и декораций, которые Маяковский делал в 1918 году для премьеры «Мистерии-буфф». Все это пополнило экспозиционный материал, привезенный из Москвы.

Весь день 5 марта, с самого утра, Маяковский провел в Доме печати. Поначалу всю работу по развешиванию выставки выполняли двое — он и Лавут. Помощников завербовал им непредвиденный случай: в объявлениях о выставке кто-то из работников Дома печати по небрежности указал, что она будет открыта ежедневно с 10 до 4 часов, тогда как следовало — от 4 до 10. Уже около полудня стали приходиться посетители; им ничего не оставалось, как рассматривать еще не развешанные экспонаты и помогать поэту водворять их на свои места. Некоторые из этих посетителей поработали здесь до самого вечера.

Журналисты и писатели начинали появляться в Доме печати обычно к середине дня, когда открывались библиотека и ресторан. Почти ежедневно бывали здесь поэты из молодежной группы «Смена» — Б. Корнилов, Б. Лихарев, О. Бергольц и другие. Узнав во время обеда, что наверху Маяковский устраивает выставку, они поднялись на второй этаж и включились в группу помощников. Спустя несколько часов работа была вчерне завершена.

На тот же вечер было назначено выступление Маяковского в зрительном зале. Оно было посвящено открытию выставки. Публика собиралась медленно, зал был неполон, бросалось в глаза отсутствие писателей. Ни ФОСП, ни ЛАПП (Ленинградская ассоциация пролетарских писателей) не прислали своих представителей. Дежурным по Дому был в тот вечер Виссарион Саянов. Его-то администрация и попросила открыть вечер в большом зале.

Саянов сперва растерялся, — он не знал, от чьего имени открывать вечер и по чьему поручению приветствовать поэта. Маяковский посоветовал:

— Что же, приветствуйте меня от имени Брокгауза и Ефрона...

Пикантность этой задачи не прибавила сил молодому поэту. Он даже не решался выйти на сцену. Тогда Маяковский, подталкивая его вперед, вышел с ним вместе и, подождав, пока утихнут аплодисменты, произнес:

— Вечер объявляю открытым. Сейчас меня будет приветствовать Виссарион Саянов...

Таким образом, Саянов оказался на этом вечере первым оратором. Он сообщил публике, что Маяковский своей выставкой отчитывается за двадцать лет литературной работы. Эти годы, сказал он, отмечены множеством его творческих и гражданских заслуг. Маяковский не только вписал себя в историю русской поэзии, но и стал учителем советской поэтической молодежи...

Боясь, что сорвется на пафос, на громкую речь, которую Маяковский по своей натуре мог и пригасить иронической репликой, Саянов говорил глуховато и подбирал попроще слова. Маяковский был задумчив и серьезен. Свое выступление он начал так:

— С удивлением услышал я слова приветствия... За последнее время обо мне чаще говорят как о начинающем... Друзья по бильярдной игре знают меня лучше, чем поэты...

Моя основная работа, — продолжал Владимир Владимирович, — раз-

вернулась за годы революции. Вы ее увидите на выставке. Она покажет вам, что делал Маяковский, но не только это: пусть все узнают, что такое в наше время работа поэта; я выставляю здесь плакат и рекламу, лозунг и диспут, газету и митинг — всё, высокомерно отвергаемое «чистыми лириками», — как важнейший род поэтического оружия...

Затем Маяковский говорил о своих ближайших работах. Он будет писать воспоминания. Они охватят полтора десятилетия — с 1914 года — и расскажут о литературной жизни Москвы и Петрограда, о людях, с которыми встречался, о борьбе направлений и школ, об эстетических и общественных спорах, участником которых он был.

Поэт кончил и хотел уже уходить, но его задержала публика, требовавшая чтения стихов. К нему подошел Саянов и тоже попросил об этом. Маяковский взглянул в зал — все сразу затихли — и, повернувшись вполоборота, воскликнул:

— Уважаемые товарищи потомки!

Спустя секунду все поняли, что это не обращение к публике, а первая строчка стихов. Так было прочитано вступление к поэме о пятилетке — «Во весь голос». Шумным одобрением всех собравшихся были встречены эти стихи.

Выходя потом вместе со слушателями в фойе, Маяковский сказал:

— Эта выставка нуждается в серьезных и больших пояснениях. Гидов у нас нет, и я все расскажу сам.

Он проводил слушателей от стенда к стенду и закончил свою краткую экскурсионную беседу словами:

— Остальное — в моих стихах.

На следующий день, 6 марта, я решил познакомиться с выставкой более основательно. Пришел к четырем часам. Маяковский был уже там. Он опять возился у стендов, прикреплял кнопками раздобытые где-то новые газетные вырезки, что-то менял местами, переставлял. Потом он куда-то исчез, его долго не было, а когда я уже собирался уходить, увидел его в боковой гостиной на диване, где он беседовал с В. Саяновым и Н. Брауном.

Впоследствии Николай Браун передал мне содержание этой беседы. Обратились к поэтическим делам, и Владимир Владимирович сказал, что прочел стихи в альманахе «Красной газеты» (том самом, который я видел у него на столе). Стихи ему не понравились. Они мелки по содержанию, по темам. Поэты пишут не о том, что нужно. Их окружает жизнь, в которой еще многое не устроено. Надо, чтобы поэзия помогала перестраивать жизнь. Надо, чтоб стихи принимал читатель и, соприкасаясь с ними, взрослел. Сколько раз, напомнил он, приходилось слышать и говорить о «понятности» и «непонятности» стихов! Главная трудность в том, что надо писать не только понятно, но и с расчетом на длительность жизни стиха, на способность его вести за собой будущего читателя, который потребует от поэзии большего, чем теперь.

Заговорили о прозе. Поэты спросили, верно ли, что он собирается писать роман (такой слух прошел недавно среди литераторов). Владимир Владимирович ответил не сразу. О романе он ничего не сказал, но снова, как и вчера, заметил, что сядет за воспоминания, которые непременно будет писать.

Вечером Маяковский провел еще одно выступление. Он был у студентов Института народного хозяйства имени Ф. Энгельса, на улице Марата, читал снова «Во весь голос». Оттуда пешком пошел на вокзал и уехал в Москву. Он не мог задерживаться больше, так как на следующий день, 7 марта, должен был выступить в клубе московских писателей на вечере памяти В. Хлебникова.

Это был последний приезд Маяковского в Ленинград.

\* \* \*

Как просто быть счастливой в этом  
мире!

Весенняя земля в апрельском мыле,  
и надо жить, последний снег любя,  
любя траву иль, восхитясь поправкой,  
намек на то, что станет первой травкой,  
в ней увидав намек и на себя.

Как просто быть счастливой в этом  
мире,  
когда всю слякоть с улиц ливни смыли,  
и душу поскорее ты омой  
свободным смехом, светлыми слезами  
и все сначала жадными глазами  
открой кому-то и себе самой.

Как просто быть счастливой,  
и не надо

печалиться земным подобьям ада:  
измене друга, гибели любви.  
Опять учишь терять, искать, сражаться  
и в зеркале надежды отражаться  
отвагою каракулей: «Живи!»  
Вести себя, как твенковский мальчишка,  
и отмечать восторженно почти что,  
как бабушки качают головой,  
с беспечным бескорытием трудиться  
и обществом ребенка насладиться,  
пока он мал, пока еще он твой.

## НИКА

*Э. Межелайтису*

Мне в жизни крупно повезло особенно однажды.  
Толпа втекала тихо в Лувр — в очередной заплыв.  
И нет, не губы у меня — вся высохла от жажды,  
под ветром каменным веков сама себя забыв.  
Она летела надо мной, счастливая античность,  
смеясь без звука, без лица — моею сутью, мной,  
и выдувала, не спросясь, разлад и хаотичность  
из пор, из клеток, из мозгов, забитых тишиной.  
Не сплющенная молодым величием парившим,  
росла я с шепотом его решительным: «Решись!» —  
в огромном мире-мастерской с Москвою и с Парижем  
и с ветром мартовским живым, зовущим к жизни жизнь.  
И мне казалось: из меня вздымает крылья Ника  
и горлом ветер я могу ломать, подобно ей.  
...Но иностранец из славян мне бросил: «Добра с лика!»  
На Нику не тянула я с курносостью моей.  
Как жаль, что ветер, даже тот, — лишь временная данность,  
что ограничена судьба началом и концом.  
И я пришла, и я уйду. Но я с тобой останусь,  
я, незлобивая душой и добрая лицом.  
Я, в мире громовых речей — смущенная зайка,  
с тавром неизбранности лоб среди спесивых лбов.  
Я — ветер неба и земли, ликующая Ника —  
там, где в защите и любви нуждается любовь.



\* \* \*

*Т. Смеляковой*

Значительность торжеств и похорон  
над трепетом о малом и о милом  
не означает ли, что покорен  
дремучий космос отношений с миром?

Тут — очи долу, там — бокал и —  
в рост,  
и не понять: душа или утроба?  
И тост, как тест, значителен, но прост.  
И возвышают пять минут у гроба.

Но обморочно вцепится вдова  
в мгновение, гармонию ломая,

и сквозь цветы и щедрые слова  
гримаса горя выглянет немая.

И кто-то из братьев по перу,  
по скальпелю, станку или чему там  
своим косноязычьем на пиру  
живую плоть и кровь вернет минутам.

И тихую свечу любовь зажжет,  
не умаляя фейерверков пышность,  
И я пойму, кто, почему, как лжет,  
когда молчит, иль говорит, иль пишет.

\* \* \*

На взморье серебряном,  
рижском,  
где чайки кричат над водой,  
где вее покоем и риском  
от ветки сосны молодой,  
где нет подмосковного пыла  
толпы, электричек, речей,  
где все обо всем позабыла  
и стала из чьей-то ничьей,  
хочу до конца разобраться,  
прошла ли страданий страда,  
верну ли прекрасное рабство,  
вернувшись отсюда туда,  
забуду ль о праздничном,  
первом,  
обрушу ли праведный крест,  
подвластна отныне лишь нервам  
снежинок, и дыма, и рельс...

\* \* \*

Все проходит — и это пройдет,  
от подробностей память разденет.  
...Я была одинока в тот год  
одиночеством книг и растений.  
И в минуты безмерные те,  
заживляя бойцовские травмы,

постигала: равны суете  
и бессмыслице многие драмы.  
После долгой и темной войны,  
после жалких ауканий в чаще  
мне даны драматизм тишины  
и молчания смысл глубочайший.  
И особенно жизнь хороша  
тем, что все же на ложь не купилась.  
Много шума узнала душа.  
Много ярости в ней накопилось.

## Владимир Костров

\* \* \*

Давно уже стали  
туманны, как сон,  
крутые священные волны  
Байкала,  
далекие сопки,  
степной гарнизон  
и медные трубы солдатского  
бала.

Любая труба —  
это чья-то судьба.  
На дальней границе  
стоят эскадроны,  
и в паузах пот утирают со лба  
басистые трубы,  
лихие тромбоны.  
Седая Аргунь расшумелась в  
горах.

Тревожно шумят  
забайкальские сосны.  
Поселок Даурия.  
В клубных дверях  
стоит молодой  
комполка Рокоссовский.  
Увидел ли он  
сквозь песчаный туман  
пожар и пепел  
земли белорусской?  
А может, ему  
предсказал барабан  
и гром Сталинграда  
и громы на Курской?  
Другой гарнизон,  
но все этот же год,  
другая тональность  
мелодии старой.

С полковником Жуковым  
в вальсе плывет,  
чуть-чуть раскрасневшись,  
жена комиссара.  
О, как же теперь эти дни  
далеки!

Но давняя боль  
отзывается в ранах,  
и снова, как прежде,  
редеют полки,  
Отчизна родная, твоих  
ветеранов.

Зачем я напомнил  
о прошлых боях  
эпохи далекой, высокой и  
грозной?

Я сам танцевал  
на солдатских балах  
с веселой и плотной  
девчонкой совхозной.  
И снова нам снятся  
военные сны,  
и нет еще мира  
на трудной планете.  
И, видимо, эхо  
прошедшей войны,  
как память отцов,  
отзывается в детях.  
Далекое эхо  
в далеких горах.  
Над степью белесая тучка  
несется.

Поселок Даурия.  
В клубных дверях  
стоят неизвестные нам  
полководцы.

# Валентин Берестов

## ЭЛЕГИИ

1

Не шевелясь, лежу под старым дубом.  
Для молодых скворцов он служит

клубом. 3

Как весело скворцам без пап и мам:  
«Сам бабочку поймал! Летая сам!»  
А дуб охотно подставляет ветки:  
«Летайте, детки! Отдыхайте, детки!»  
Вот горстка прошлогодних желудей —  
Гнилых скорлупок, черных от дождей.  
Я отодвинуть их хотел рукою,  
Они не поддаются. Что такое?  
Пробив скорлупку, птенчики-дубки  
Вонзили в землю клювы-корешки.  
Мне этот дуб сегодня как подарок.  
Нет, мир не только в детстве свеж и ярок.  
Не любят дети прелых желудей,  
А птицы улетают от детей.

2

Консерватория. Опять у входа  
Стою и жду среди юного народа.  
И боже, до чего ж он не похож  
На ту, былую, нашу молодежь.  
С тобою мы, ты помнишь, были раньше  
Я дылдой, ты приметной великаншей.  
А молодые жители земли  
Нас, кажется, давно переросли,  
Хоть, впрочем, среди рослой молодежи  
Встречаются и маленькие тоже,

Но и они взирают сверху вниз:  
«Вперед и выше!» — юности девиз.

3

Итак, библиотека, картотека,  
Наброски, сноски, выписки, мечты...  
И вдруг ты набредешь на человека,  
Который занят тем же, что и ты.  
Откуда он? Как мог он породниться  
С мечтой неясной, с замыслом твоим?  
И кажется, что светится страница,  
В прекрасный час написанная им.  
И радуешься ты ему, как брату,  
А если он уже землю взял,  
Ты ощутишь как свежую утрату  
То, что случилось много лет назад.

4

Век двадцать первый... Ну, еще подъем—

И вот он—он! Так доживем, придем!  
Тем, кто бежит трускою, дай бог ноги.  
Я б также не хотел, чтоб наши йоги  
Без пользы для народа и семьи  
Остались в позе льва или змеи.  
О нет, пусть взоры новых поколений  
Оценят гибкость их телодвижений...  
И я пойду туда дорожкой строк  
И потрублю немножко в свой рожок.

## Евгений Храмов

\* \* \*

Затем что этот день неповторим  
И в этом наша общая заслуга,  
Забудем клятвы, данные другим,  
И вспомним клятвы, данные друг  
другу.

Прекрасен голубой и горький дым  
И жесткий лист, трепещущий упруго,

Забудем клятвы, данные другим,  
И вспомним клятвы, данные друг  
другу.

Не мы с тобою это говорим,  
Вся осенью одетая округа,—  
Забудем клятвы, данные другим,  
Исполним клятвы, данные друг другу.



\* \* \*

Родная речь, родное слово,  
Родимый край, родимый дом —  
как мы бездарно, бестолково  
вас подменяем и крадем.

Боюсь, от этих слов целебных  
останется одна труха.

«Родное слово»?

А, учебник!

«Родимый край»?

Рефрен стиха!

Когда язык

высоким тыном

от суесловья оградим?

Чтоб дом

был истинно родимым,

а слово

истинно родным...

## ДОМ ДАЛЯ

Дом Даля потускнел и в землю врос.  
В расход! — решили умники. На снос!  
Кто он такой, чтоб память сохраняли  
об этом Дале?..

А Даль был, между прочим, моряком,  
влюбленным в степь,

фламандским казаком.

И с Пушкиным был дружен, между

прочим,

не очень

до той поры, ужасной, роковой,  
когда, распятый болью,

головой

ушедший в бесполезные подушки,

«Ты?» — молвил Пушкин.

Еще не впад, а лишь сползая в бред,

«Нет, мне здесь не житье», — сказал

поэт.

И, руку Даля сжав,

«Пойдем, да выше», —

все тише, тише.

Куда он звал в предчувствии конца  
Не Дельвига, не брата, не отца,  
за что чужого удостоил чести:  
«Пойдем... да вместе»?

Что это было? В самом деле бред?

А может, знал бессмертия секрет  
ведун великорусского живого  
родного слова?..

О, сколько м о л о д я т и н ы кругом!

Не разрушайте этот ветхий дом.

Того гляди достигнете суровых  
л е т с е р е д о в ы х.

А там уже придется дать отчет,  
кому вас надо,

кто вас призовет,

кто выдохнет при вас на лобном месте:

— Пойдем — да вместе.

\* \* \*

Мои друзья задумали родить  
второе чадо — после перерыва  
в пятнадцать лет.  
Поэта, может быть,  
красавицу или иное диво.  
Жму руку смельчакам:  
— Ура, друзья!  
Решусь ли на подобное? Едва ли! —  
Жду срока, после коего нельзя  
назад, в кусты.  
И поминай как звали!  
Еще не звали даже...  
Стыд и срам  
тому, кто косо смотрит на брюхатых.  
Родись, малыш, глазей по сторонам,  
грядущего увесистый задаток!..  
Так как же нам отметить торжество  
и как для незнакомца постараться?

Во что мы будем пеленать его,  
Уж не в клочки ли наших  
диссертаций?  
И чем кормить?  
Искусственная смесь  
ему, я полагаю, не по вкусу.  
Мать, не финти! Давай младенцу есть,  
как некогда Мария Иисусу...  
Как мы внушим ему,  
что лучший род  
занятий — состраданье, соучастье?  
Как оправдаем вечный наш цейтнот?  
Ведь человек рождается для счастья...  
Так вот в чем фокус:  
нужен свежий глаз,  
чтоб все увидеть в натуральном свете.  
Не к этому ли понуждают нас  
под занавес явившиеся дети?

\* \* \*

Чужой болезни страж,  
не знаешь, как помочь.  
Стакан, платок подашь,  
сидишь, не спишь всю ночь.

Не смотрит на меня.  
Ну что ж, не в этом суть!  
Сползает простыня —  
оправить, подоткнуть.

Рука висит, как плеть, —  
удобней положить.  
Сама начну болеть,  
кто станет сторожить?

Кто бросит все дела?  
Ворчат друзья мои:  
свой дар, мол, принесла  
я на алтарь семьи.

Пусть не могучий дар —  
пронзительный зато.  
«А он тебе что дал?»  
И в самом деле, что?

Троллейбусы слышны,  
а я еще не сплю.  
Лицо белей стены,  
и я его люблю.

Рот слабо приоткрыт,  
два склеенных угла.  
— Спасибо, — говорит.  
И по слогам: — Спас-ла...

И ничего не жаль,  
лишь был бы он здоров.  
И милосердья жар  
дороже всех даров.







Он выстрадан тобой, Отечество,  
Он твой, до капли крови твой.  
Принадлежащий человечеству,  
Твоим  
Величием  
Живой!

И помнит мир его дыхание,  
И видит мир его дела,  
И ты, Россия,  
В испытаниях  
Его бессмертье обрела.

## Лев Смирнов

### МАСТЕРСТВО

Я душу растратил свою  
на ветер, на пригоршню праха,  
и вот перед миром стою,  
не зная ни боли, ни страха.

Не каюсь в легучих грехах,  
о божьем не думаю громе,  
и лишь в опустевших стихах  
живу, словно в брошенном доме.

Комочек живого огня,  
в печи полыхавший все утро,  
не радует больше меня,  
написанный кистью как будто.

Мой возраст вошел в мастерство,  
мой стих зазвучал среди зала,  
но что-то ушло из него,  
что прежде мне сердце пронзало.

О рифме задумался я,  
искуснее стал, интересней...  
Но что-то не видят друзья  
лица, осиянного песней.

Не видят в московской толпе  
улыбки, чуть-чуть виноватой,  
с которой навстречу судьбе  
я вышел, наивный, когда-то.

\* \* \*

Береза прячет под собой,  
как тень свою оледенелую,  
полоску снега черно-белую,  
зимы кусочек голубой.

Случайный путник иногда,  
из леса выйдя, удивляется,  
как свет спокойный разливается  
по глади зябкого пруда.

Он застывает на краю  
всего, когда-то пережитого,  
и взглядом детства незабытого  
он видит родину свою.

Откуда, из какой глуши,  
шурша листвой, морозом  
схваченной,

к нему явился дар утраченный —  
глядеть из глубины души?

Он и доселе не забыл  
стволы родные, белокорые,  
стволы звенящие, которые  
не по вине своей срубил.

Он прожил, честью дорожа...  
Но есть у человека нашего  
особая, как ни прикрашивай,  
и мера жизни, и душа.

А потому, не пряча слез,  
стоит он где-то за Купавною  
и за свою жестокость давнюю  
прощенья просит у берез.

## МАЛЕЕВСКИЙ ПЕРЕСМЕШНИК

Живет меж дерев кромешных,  
у старых лесных запруд,  
малеевский пересмешник,  
таинственный птичий шут.

Почти не в своем рассудке,  
окрестный дивя народ,  
дудит в три лешажьих дудки,  
в три дятловых клюва бьет.

Ах, бедный мой плагиатор,  
чужих голосов творец,  
когда же в тебе новатор  
пробудится, наконец?

Над чистой моей страницей  
незримая тень твоя...  
Наверно, устал — синицей?  
Попробуй — под соловья!

Не надо терзать пушинку,  
не надо глядеть в окно.  
Под пишущую машинку  
подлаживаться — смешно!

И все-таки для чего-то  
ты создан во славу дня?!  
Сложна у тебя работа,  
почти что как у меня.

## ЛАСТОЧКИ

Ласточки летают вечерами,  
над притихшим мечутся бугром...  
Может, чья-то смерть не за горами,  
может, просто молния и гром.

Тишину волнуют и колышут,  
круг за кругом чертят над людьми.  
Что они по синему там пищут?  
Письмена печали иль любви?

Неужели этот вот комочек,  
стрельчатый, мелькнувший средь берез,

подсмотрел порывистый твой  
почерк  
и готов терзать меня до слез?

Неужели, заодно с громами,  
с молниями, рвущими простор,  
будет мне вот этими крылами  
мой земной подписан приговор?

Тень твою тревожно карауля,  
все я жду и жду на склоне дня,  
что влетит, как маленькая пуля,  
маленькая ласточка в меня.

## ОДА БЕГУ

Бегут часы и поезда,  
бегут машины и телеги.  
Свое спасенье видят в беге  
большие наши города.

Бегут по ниточке лучи,  
бегут по впадинам потоки,  
по жилам — кровь, по стеблю —  
соки,  
по транспортеру — кирпичи.

Бежит слезинка по щеке,  
бежит девчонка по перрону.

Все служат высшему закону:  
иль со щитом, иль на щите.

Кто это звезды ворошит?  
Кто это рвет оковы смело?  
Молчит под пыткой Кампанелла,  
то есть в грядущее спешит.

Я славлю — посреди созвездий,  
в последних числах сентября —  
бег по земле, и бег на месте,  
и даже бег внутри себя!

ДВЕ ЗАРИ

Начинается эта пора:  
В небесах не кончается свет.  
Словно с вечера и до утра  
Заметает от сумрака след.

Начинается эта пора:  
Свет дрожит меж стволов золотых.  
Как он розово-нежен с утра,  
Как он к вечеру розово-тих.

Начинается эта пора:  
Две зари прикоснулись ко мне.  
И одна беззаботно добра,  
А другая добрее вдвойне.

И одной окрыляется дух,  
Пробуждается радостный слог,  
И вбирает встревоженный слух  
Переключку бессонных дорог.

А другая покоем полна,  
Неподвижностью крон и корней,  
И звезда молодая видна  
В угасающем небе над ней.

Перехода наметилась грань  
От реальности к небытию.  
Ах, судьба, не порань,  
не порань  
Эту незавершенность мою.

И двукрылую песню зари  
Постарайся надолго сберечь.  
Ах, судьба, говори, говори,  
Как заманчива мне твоя речь!

Нам еще и снега, и ветра,  
Звездопады, и ливень, и зной.  
Год пройдет.  
Отзвенят вечера.  
Что случилось с тобою вчера?  
Что-то станется завтра со мной?

\* \* \*

Живу в согласье сердца и ума,  
Спокойна радость и светлы печали,  
Как тропка в винограднике, пряма  
И коротка дорога за плечами.

В предутренней, в предгорней  
стороне  
Меня земля коснуться захотела:  
И гибок луч, скользящий по спине,  
И легок ветер, холодящий тело.

Живу в согласье ветра и любви,  
Тебя крылом дыхания касаясь,  
Ни высоты, ни дна не опасаясь,  
Люби меня,—  
И вновь зову —  
Люби!

На той тропе, что полонила нас,  
На той земле, что нас отождествила,  
Под той звездой, что падала не раз  
И снова поднебесье находила,—

И я однажды легкость обрету  
И пред тобой застыну на мгновенье:  
— Остановись! Я слышу доброту.  
Живительно ее прикосновенье.

ТКАЧИХА КОМАРОВА

В старом доме у вокзала  
Ты безвыездно жила,  
Дни короткие вязала,  
Годы длинные ткала.

За окном — одна забота:  
Гром сцеплений, стук колес.  
До утра корил кого-то  
Маневровый паровоз.

Уставая на работе,  
Дом храня, кормя семью,  
Мало ты в конечном счете  
Поспала за жизнь свою.

Потому что та, иная,  
Жизнь дорожного узла,  
Сон короткий отгоняя,  
За собой тебя влекла.

Ты смотрела виновато  
На троих своих ребят,  
С каждым поездом куда-то  
Уезжая наугад.

Муж лежал к окну спиною  
И не слышал никогда,

Как тебя порой ночью  
умыкали поезда.

Где слонялась ты без дела  
Возле моря, у реки,  
Где, раскрыв глаза, глядела  
На дворцы, на ледники?!

Ах, обманщица, бродяга,—  
Даже прожитым годам  
Неподвластна эта тяга  
К незнакомым городам!

От покоя, от достатка  
Увела опять судьба...  
Неужель седая прядка  
Не остуживает лба?

Но уже рассвет багрово  
Бьет в окно наискосок,  
И ткачиха Комарова  
Засыпает на часок.

В городке своем районном  
На скрещении путей,  
В доме четырехоконом,  
Возле мужа и детей.

НОЧНОЕ КУПАНИЕ

А ночь была  
Безветренно-тепла.  
Мы босиком брели по мягкой пыли,  
И наши утомленные тела  
Во влажном, непроглядном мраке  
плыли.

А море было гладким, как стекло,  
И, темнотой сокрытое, молчало.  
Спокойное и влажное тепло  
Молчащая пучина источала.  
И мы вошли в мерцанье тусклых

вод,

Оставив на песке следы сухие,  
И был неосязаем переход  
В таинственный предел иной стихии.  
Как воздух, обволакивали нас  
Ленивые, разреженные воды,  
И мы внезапно ощутили связь  
С непознанными силами природы.

Мы сами стали морем,  
В миг един  
На огненные атомы разъяты —  
Текли ко дну, всплывали из глубин  
К поверхности, светясь зеленовато.  
Но потянуло гарью от земли,  
Промчался мотороллер по дороге,  
И наши души снова обрели  
Привычные и бранные чертоги.  
Не торопясь мы вышли из воды  
И в море тьмы крошечной

окунулись,

И к дюнам наши мокрые следы  
Неровною цепочкой потянулись.  
Потом мы оглянулись на залив,—  
Как в те непроницаемые годы,  
Иную жизнь в глубинах сотворив,  
Нам, уходящим, вслед  
Глядели воды.

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

О чем? Как все искусства. О любви.  
О сладости духовного страдания.  
О нестерпимом счастье быть людьми  
И ведать бездны нашего сознания.  
Еще о независимости. Сплошь  
Не та ли нам завистна и прекрасна,  
С которой не в друзьях святая ложь  
Во времена, когда неложь опасна.  
Но выше независимостей всех  
Мы ставим ту, что никогда не

в моде,—

Она лишает права на успех  
Взамен измены собственной природе.  
Об этом. Если и о чем другом,—  
Отнюдь не о враждебности ко благу,  
Не о презренье к дому с пирогом.  
По мне, чтоб наглость выдать за отвагу,  
Чтоб дешевизну видеть в дорогом,  
Не стоит жить! Мой друг, не стань

врагом,

Не уподобь стихи универмагу,  
Где нужно мерить на себя. Не мерь.  
Разлюбишь. Будет хуже, чем теперь.  
Гораздо хуже станешь обращаться  
Со всеми, чья судьба тебе близка.  
Так на себя не мерь, чтоб не прощаться!  
Следи же, для тебя моя рука  
Достанет две строки из тайника:  
«Жить вдалеке, звонить издалека  
И далеко не каждый день встречаться».

Апостол Павел, труженик святой,  
В противовес Петру, не созерцатель,  
Живя на даче, зимней и пустой,  
Меня позвал на праздник: «Это, кстати,  
Прекрасный способ, мудрый и простой,  
Расстаться с тошнотворной суетой  
Минут на восемьсот. И так ли часто  
Тебе дают возможность для контраста  
Забыть о быте и прийти к обеду  
С лесной прогулки? Одержжи победу  
Над вялой волей». — «Павел, бог

с тобой,

Спасибо, я устала, не доеду». —  
«Я завтра в час заеду за тобой».

В дни праздника душа моя легка  
И склонна обольщать и обольщаться.  
Толпа ярка и сочностью райка  
Румянит взор, и мысли сладко мчатся.  
Колеса шепелявят. И пока

Минуем городские облака,  
И мост, и пруд,— о, я могу ручаться,  
Что исхитрюсь, что я наверняка  
Достану две строки из тайника:  
«Жить вдалеке, звонить издалека  
И далеко не каждый день встречаться».

Апостол Павел по Филям ведет  
Автомобиль учтиво и нерезко,  
Апостольская благодать в нем цветет,  
И этим замечательна поездка.  
На днях, в одном доме вкушая мед  
Из блюдца, где виднелась арабеска,  
Я уловила сплетни переплет  
И темный слух о том, что не без блеска  
Разгуливался он, ломая лед  
Привычек светских, куролесил прежде  
И бражничал, и ночи напролет  
Интриги строил. А теперь слывет  
Умеренным в страстях, в деньгах,

в одежде.

Мне было это взрывом, как невежде  
Свод парадоксов из Ларошфуко.  
И следовало думать глубоко,  
А ехать было так недалеко.  
Давайте же расслабимся в надежде,  
Что в мыслях все уладится легко.

Но все в поэте оставляет след,  
И лучше всех об этом знает Павел,—  
Известно, что недаром долгих лет  
Свидетелем господь его поставил  
И книжному искусству вразумил.  
Задолго до того, как мир прославил  
Известного поэта, он кормил  
Его стихами, смутными как древность,  
Мой ранний дух. И этим вызвал

ревность,

Устроил боль и этим стал немил.  
«Небрежен, да, но дьявольски умен,  
Почти провидец в образах немногих», —  
Сказал с улыбкой Павел. Страшный

стон —

Мой дух созрел, тем больше склонен он  
Впадать в ревнивость. Подкосились ноги.  
Я отрубил: «Эти монологи,  
Мистически рифмованные слоги  
Должны, конечно, восхищать салон,  
Но если посмотреть со всех сторон,  
В них нет судьбы и личности, убоги  
Их страсти. Мы — не кости для ворон».

Апостол Павел съел мои слова,  
Он не согласен и не возражает.  
Я в злости. В гости хочется едва,  
Когда невнятный признак раздражает.  
Но на плечах осталась голова,  
Автомобиль к воротам подъезжает,  
Скворешенка на дереве жива —  
Она всегда моя, а не чужая,  
И в этом я действительно права!

На даче ждут такие пироги —  
Не то что есть, смотреть — невероятно.  
Перед глазами зверские круги,  
Вращаясь, дышат глубоко и внятно,  
Они вздуваются, на них лоснятся пятна,  
В них страсть и ярость вольтовой дуги.  
Я проклиная праздность многократно.  
Как нестерпимо хочется обратно,  
К себе! Несут компот из кураги.

Один мой друг, как шуточный совет,  
Сказал: «Входя в себя, гасите свет».  
Я сразу недооценила эту фразу.  
И вот теперь сполна держу ответ,  
Являя частной истины предмет,—  
Она отважно отомстила глазу,  
Дала урок, что надо свет гасить,  
Входя в себя, чтоб мерзость не  
вкусить,

Переживая отвращенья фазу.

Но, вглядываясь в то, что за стеклом,  
Я в сумерках деревья различаю,  
Они в просторный двор вросли углом.  
Ответствуя, меж тем я приобщаю  
Себя к беседе. Праздник за столом.  
Стыдись — к тебе с добром, а ты  
со злом.  
Стыжусь и от стыда дурнею к чаю.

В лесу тепло, хотя в лесу зима,  
Природа ароматна, как в апреле.

Мне холодно. Заботами ума  
Я угнетаюсь — чтоб они сгорели!  
Но бездна их, но их такая тьма  
Глодает каждый день моей недели,  
Что золотое пламя на пределе,—  
Какое, к черту, волшебство письма,  
Когда мои ресницы поседали  
От наглой бытности, существенной  
весьма.

Я сплю в троллейбусах, в метро, но  
не в постели,  
Младенца нянчу, стряпаю корма,  
Стираю тряпки. Зеленеет ели  
Над золотой скорлупкой колыбели  
Торчу. Да я таскаю ноги еле!  
Какое, к черту, волшебство письма!

Но мысли эти — про себя, а вслух  
Я говорю: «Прекрасный праздник,  
Павел!

Я счастлива, что кто-то не был глух  
И в этот день тебя ко мне направил.  
Прошла усталость, и окреп мой дух.  
Спасибо, что огонь мой не потух  
И черный лед отчаянья расплавил.  
И видит бог, что ты из нас из двух  
Один достоин царственного знака».

Окончен праздник. Вдоль цветного мрака  
Я возвращаюсь. Слишком глубока  
Древнейшая, нежнейшая тоска,  
Что празднику пришла пора кончаться.  
Я возвращаюсь. Слишком велика  
Моей судьбы счастливая рука,  
Чтоб ей пристрастий собственных  
смущаться.  
Когда на окнах сдвинув облака,  
Достану две строки из тайника,  
Ты станешь вечно мною восхищаться:  
«Жить вдалеке, звонить издалека  
И далеко не каждый век встречаться».

\* \* \*

Спугнул я зайца на меже  
На предвечернем тихом поле.  
И что-то дрогнуло в душе,  
Как от давно забытой боли...

И вспомнился далекий год.  
Послевоенный мокрый грейдер.  
Седая ива у ворот,  
Над пустырем холодный ветер.

И вспомнилось: иду босой,  
Иду в поля по чернозему.  
А дождь — сверкающий, косой—  
На крышах вымочил солому.

И весь в окопах был покос.  
За ним бурьян стоял стеною...  
А сколько зайцев развелось  
В полях, истерзанных войною!..

О, эти комья на стерне  
И эта черная дорога!  
И вдруг ожившая во мне  
Та позабытая тревога!...

...А заяц прыгал через лен  
И скрылся в низеньких ракетах,  
Как будто он —  
Из тех времен,  
Из тех полей полузабытых.

\* \* \*

Еще не все пришли с войны.  
Не все прогоны были сжаты.  
Среди июльской тишины  
Стояли сумрачные хаты.

И пожелтели огурцы  
На приовражном суходоле.  
И были сложены в крестцы  
Снопы на бедном нашем поле.

Потом на глиняном току  
Цепами женщины стучали.  
И бесконечное «ку-ку»  
Кукушки дальние кричали...

И ясно слышится теперь,  
Как возле тока у колодца  
Скрипел и плакал журавель  
О тех, кто вовсе не вернется...

Открыты новые миры.  
Покорены глухие дали.  
Но журавель —  
До сей поры —  
Мелькнет вдали,  
Как знак печали.  
И на любой тропе судьбы  
Все вижу — явственно до боли,—  
Как ровно сложены снопы  
В послевоенном бедном поле.

\* \* \*

Холодный день на Иссык-Куле  
И волны с просинью свинца!  
Когда-нибудь забыть смогу ли  
Полынный запах чабреца?

Как у высоких гор киргизских  
Меня неожиданно потрясло  
В сухих плетнях,  
В оградах низких  
С названьем «Липенка» село!..

И впрямь живут в семье единой  
Потомки тех, кого сюда  
В начале века с Украины  
Вела суровая беда.

И все знакомо в поле черном —  
Посевы, вербы, камыши...

Как будто я в родном Подгорном,  
В степной воронежской глуши.

Вот только горы,  
Что застыли  
За планкой крайней городьбы..  
А впрочем, горы тоже были  
В нелегкий час моей судьбы.

На перепутьях горных тропок  
И я судьбу свою искал  
Среди колымских круглых сопок,  
Среди иркутских желтых скал...

И все сошлось в прибрежном гуле  
На странной точке бытия.  
Как будто здесь,  
На Иссык-Куле,  
И вправду жизнь прошла моя.

Борис Примеров

\* \* \*

Повыше подняться мне бы,  
Туда, где, не ведая сна,  
Зеленым напористым небом  
Меня окружает весна!  
Увидеть нашествие мая,  
Бесчисленных ливней набег  
И вспомнить себя — и растаять  
На солнце, как мартовский снег.

Ручьи зашумят голосисто,  
И ветры сойдутся в садах  
На первых доверчивых листьях  
Сыграть о непрожитых днях.  
Пахучие вешние силы  
Проснутся, когда в синеву  
Дождя расторопные вилы  
Взметнут молодую траву!

И буду я в запахах мая,  
Все росы до капли собрав,  
Из тела душой убывая,  
Цепляться за головы трав!



\* \* \*

Я все чаще провожаю,  
на перронах остаюсь  
и одна переживаю  
двум отпущенную грусть.  
Ускользящие рельсы,  
плоскость взлетной полосы...  
Направления и рейсы,  
безымянные реестры,  
беспощадные часы.  
Стюардессы, проводницы —  
воплощение разлук.  
Перевернуты страницы  
волей посторонних рук.

Рупоры аэропорта,  
паровозные гудки...  
Новая моя работа —  
снова провожать кого-то  
взмахом дрогнувшей руки.  
Полусмех, полуобъятия,  
след последнего огня...  
Начинаю понимать я  
тех, кто провожал меня.  
Даже если уезжаю  
на полгода, на три дня,  
все равно я провожаю  
провожающих меня!

\* \* \*

И снова еду наугад,  
маршрут по сердцу проверяю,  
свое волнение предъявляю  
на въезд в открытый Ленинград.  
И снова Царское Село  
всем телом вековым с откоса  
летит навстречу и само  
бросается мне под колеса.  
В испуге распахнув глаза,  
как будто перед человеком,  
перед давно минувшим веком  
я жму всю на тормоза.

И вижу сквозь овал окна:  
остановился мотороллер...  
Дорога, словно мартиролог,  
всё повторяет имена.  
Как бронзово они звучат  
в глаголе «будут!», а не «были...».  
И рядом все автомобили  
непроизвольно тормозят.  
Споткнулась о святой порог  
цивилизации резина...  
Здесь умер Пушкин, умер Блок.  
Здесь родилась моя Россия.

## Венедим Симоненко

### ВОДИТЕЛЮ ТРОЛЛЕЙБУСА

Дорогой мой товарищ  
Водитель троллейбуса,  
Брат по стране, брат по планете,  
Когда твердой рукой  
Верно ведешь ты  
Свой корабль  
В океане людском,—  
Тебе я завидую:  
Ты в самой гуще,  
В самом кипении жизни.

Ты отвечаешь за всех.  
Как легко упустить мгновение,  
Уронить песчинку внимания  
И не вовремя затормозить!..  
Я понимаю твой труд,  
И счастлив я этим,  
И рад я пожать твою твердую  
руку,  
Мой товарищ, мой брат,  
Водитель троллейбуса!

\* \* \*

Служи отцу и дальше, верность сына.  
Зови в дорогу, вечная труба.  
Высокое призвание — мужчина.  
Суровая ответственность — судьба.

Что б смолоду душа ни прокричала  
и как бы ни плутал  
в конце концов,  
став старше, возвращается к началу —  
к испытанному опыту отцов.

Есть истины,  
и можно лишь забыть их  
при свете,  
в тесноте дневных забот,  
но к ним неумолимый ход событий,  
как тропка,  
на дорогу приведет.

## СТАРАЯ ПЕСНЯ

Как пели...  
И теперь дивлюсь я.  
Как пели женщины всерьез,  
как истово,  
с какою грустью.  
Лишь лица светлые — без слез.

Мужские смолкли разговоры  
у недопитого вина...  
«Все отдал бы за ласки-взоры,  
чтоб ты владела мной одна»...

А рядом,  
каждый пьян особо,  
и стать у каждого своя,  
родные, данные до гроба,  
сидели с ними их мужья.

За дверью —  
спать не надо благо —

Нам песня только кажется бродячей.  
На памяти самой земли она,  
храня ее извечные задачи,  
как будто на гранит нанесена.

Лишь связь времен дарует смертным  
силу,  
лишь с этим каждый прожил, как  
хотел.

Любое дело продолженьем было  
минувших мыслей, чаяний и дел.

Для радости,  
для слез  
свои причины  
готовит жизнь и сыну моему.  
Но главное сведется к одному:  
служи отцу и дальше, верность сына.

среди игрушек и сластей  
детей довольная ватага  
играла весело в гостей.

Все по-хорошему, счастливо.  
Раздоры мелкие — не в счет.  
Но пели женщины с надрывом,  
как будто на сердце печет.

С душою, попросту, без позы,  
с суровой бледностью лица...  
«Оставь, Мария, эти слезы,—  
и проводил меня с крыльца»...

Как будто и хотели только,  
чтоб предал вероломный друг,  
любви отчаянной и горькой,  
всплеснувших с мольбою рук.

\* \* \*

Стремительно тепло вначале,  
и дни апрельские ясны.  
Смолкают зимние печали  
в веселом гомоне весны.

Сто бесенят ее игривых,  
иль как их там ни назови,  
развеселясь,

готовят взрывы  
в густой и медленной крови.

И все невзгоды ослепило,  
и им теперь не до меня.  
Взрывавайся, кровь,  
свети, светило,  
взлетевшее на гребень дня.

## Анатолий Чиков

### ЛЕСОВИК

Лишь ночная отползла завеса,  
Он из норки вылез, словно крот:  
— Иль забыли, кто хозяин леса? —  
И, крихтя, отправился в обход.

Грозный шел, нахохленный  
по-птичьи

Мимо робких елок и берез.  
Тут ему и встретился лесничий,  
А за ним бежал страшный пес.

Испугался грозный старичище,  
Замер он, изобразил обман.

И, приняв его за корневище,  
Сунул человек его в карман.

Тошно дедушке стоять на полке.  
Не велик почет, ох, не велик!  
Слушать каждый день кривые толки:  
— Чудный корень — просто  
лесовик!

Все терпел он, скрытен и покорен,  
Даже пыль не стряхивал с усов.  
Знал, хитрец, что он не просто  
корень,  
А владыка муромских лесов!

## Антонина Баева

### ГОЛУБЮ

Ах, вот ты где!  
Летишь опять,  
Весь золотисто-сизокрылый.  
А небо взглядом не объять...  
О, как бы я тебя любила!  
Ты так прекрасен,  
Ты — летаешь!  
И голубятня хороша...  
Но вдруг и ты совсем не знаешь,  
Что значит вольная душа,  
Когда хозяин не швыряет

Тебя под облако:  
— Держись! —  
Когда твой кров тебе  
Не раем,  
А клеткой кажется  
Всю жизнь...  
...О, как бы я сама летела  
Тебе навстречь  
Во все крыла!  
О, как бы я тебя жалела,  
Когда бы горлинкой была...

ШРМ<sup>1</sup>

Пропахший мазутом, войду  
и втиснусь за первую парту,  
узнаю про мир и войну,  
про Цезаря и Клеопатру.

Люблю вечереющий класс  
и все, что услышу, запомню.  
И сон отгоняю от глаз  
царапающейся ладонью.

А снится, что стружка, резва,  
как двойка, свивается ало —  
с утра ведь по следу резца  
иду я в глубины металла.

Кормилец страны и семьи,  
тружусь над упрямою сталью,  
и сталь во вращенье Земли  
надежною входит деталью.

А конусный свет фонаря  
пытается вырвать у ночи  
круг жизни, который заря  
из молодости уносит.

---

<sup>1</sup> Школа рабочей молодежи.

\* \* \*

Я полетел бы за тобой  
и сожалею, что не птица,—  
что мне со скоростью такой  
в пространстве не переместиться.

Мне лишь дано ступить на сталь  
и, не прикладывая уха,  
услышать, как другая даль  
поет томительно и глухо.

Разлука! Облачный колосс,  
чьим вечным промыслом изношен  
сталистый путь, из-под колес  
явимый, как клинок из ножен!

В руках пространства, может быть,  
мы порознь выцветем глазами.  
Но и ему не разрубить  
того, что было между нами.

\* \* \*

Где даль снижает реактивные  
пути, где синяя прохлада,—  
жилища кооперативные  
встают белее рафинада.  
Там, сладкой жизни не выдавшее,  
на рубежах войны стоявшее,

неистовое человечество  
вознею с внуками пусть лечится.  
Пусть отрастают крылья внуковы,  
а эта синяя прохлада  
от Домодедова до Внукова  
грохочет, словно канонада.

\* \* \*

Всей шири поклониться надо  
и удивиться — как светла! —  
чтоб Ладога свою прохладу  
из уст в уста передала.

Испей — и озером глубоким  
ты станешь, чтоб тебя всего  
пронзали окуни, как токи,  
цедила сеть, мело весло.

И вот ты ломишь прачкам пальцы,  
ты льнешь к их икрам, ты берешь  
и медлишь выпустить купальщиц,  
как ночь толпу нагих берез.

Двойник ли, ты ли в водах брезжишь  
и, плоть гранита полюбив,  
за каждый выступ побережья  
заводишь ласковый залив?

И вдруг вздымаешь волны шторма,  
чтоб, ни песчинки не тая,  
земля узнала, как подробна  
к ней нежность сослепу твоя.

## Евгений Антошкин

### КАМНИ

Мудрейший,  
Не спеши кричать:  
— Все в бездну канет!..—  
Ты научи меня молчать,  
Молчать, как камень.

Его положишь на ладонь:  
В нем ветры,  
ветви.  
В нем прячется внутри огонь  
Тысячелетья.

О камни, спящие в пыли,  
Вы все постигли.  
И тайны все веков земли  
Сожгли,  
как в тигле.

И Млечным тянется Путем  
Над ними время.  
В сравненье с ними — ты дите,  
Сухое семя.

Себя ты чародеем мнишь,  
В мечтах витаешь.  
И камень сумрачно дrobiшь —  
В любви пытаешь.

Пока он заколдован,  
спит...  
Но под руками,  
Как божество, заговорит,  
Проснувшись, камень.



Так плесни ж в нас  
  волной огневой,  
долгожданное это мгновенье,—  
словно пенною брагой хмельной,  
окати нас  
  водой вдохновенья!  
Пусть бушует волна —  
  не беда.

Горевать рыбаку  
  не причина...  
Славься ж,  
  вечная наша страда —  
стихотворная  
  наша  
  путина!

## Валентин Сидоров

\* \* \*

Спасибо, снег, что ты идешь,  
Спасибо, снег, что ты не таешь,  
Что, закрывая небо сплошь,  
Ты очарованно витаешь.

Спасибо, снег, что не спешишь,  
На нас не смотришь с недоверьем  
И что опять объяла тишь  
Оцепеневшие деревья.

Спасибо, снег, что все вокруг  
Опять полно одним тобою  
И что пронизывает дух  
Твое дыханье голубое.

Ты вновь царишь на скатах крыш,  
Ты заровнял бугры и кручи.  
Спасибо, снег, что ты молчишь  
И что меня молчанью учишь.

\* \* \*

Опять во власти горя своего.  
Опять на всю вселенную в обиде.  
Опять мой взгляд не видит ничего.  
И в самом деле: что он может видеть?

Печалуюсь о собственной судьбе,  
Оцепеневшим и застывшим взглядом  
Как различишь в мелькающей толпе,  
Что кто-то плачет и страдает рядом?

И не очнуться от своих тревог,  
И не понять в недвижную минуту,  
Что я бы мог, легко и просто мог  
Помочь без промедления кому-то.

Хотя бы мыслью (только и всего!),  
Не омраченной никакою тенью.  
Хотя бы тем, что спрячу от него  
Свою досаду и свое смятенье.

Я ГОВОРЮ

Хочу я жить под красною звездою,  
Отважною и вечно молодою,  
Серпастой, молоткастой, золотою,—  
Она взошла над сушей и водою.

Высок ее огонь и благороден,  
Пронзителен  
и, правда, всепогоден,  
И в море нужен, и в пустыне годен,  
Воистину священен и народен.

Я говорю туркмену: — Здравствуй, брат  
мой,  
Вперед, вперед, и нет тропы обратной,

ЗАБЫТЫЙ СТРАХ

Она стоит, из камня и гранита,  
Как будто поднимаясь на носках,  
Гробница,  
бренной славою повита,  
Затеряна в барханистых песках.

А было время: прямо у порога  
Из-под верблюжьих вздыбленных горбов  
Расшвыривала бурная дорога  
От жажды обезумевших рабов.

Ощеренно подавленные лица,  
Плескающие гневами глаза.  
Что их вело,  
желанье поклониться  
Тому, кто мир таранил, как гроза?

Кто в черный час, зверино сдвинув брови,  
Во имя власти, похоти и грез  
Страну отцов убил и обескровил  
И в честь свою он статуи вознес.

В знаменах славы, трудовой и ратной,  
Завиден путь Отчизны благодатной!..

— Кунак! — я говорю каракалпаку.—  
Я за тебя готов рвануться в драку,  
А коль беда приспееет — и в атаку  
Танк поведу по боевому знаку.

Гори, звезда, сияй, звезда, над нами,  
На Сыр-Дарье,  
на Тереке,  
на Каме!  
...Барханы трутся о лучи боками  
И на дыбы встают за облаками.

Что их вело, кликушный голос горя,  
Огонь страданий и тоска ночей,  
Народных слез кочующее море,  
Упавший стон за спины палачей?

Что их вело, страшая известность,  
Проклятье, жуть иль поколений зло?  
...Желтеют дюны, и мертвеет местность,  
И ни куста, ни птицы!  
Что вело?

Ужели простолюдин-забияка  
Конфузливо осмыслил наконец,  
Как поусох до мумии вояка,  
Его судьбы слепой головорез?

Да, человек природою обучен  
Презреть того,  
чьа нечиста рука,  
И отомстить забвеньем неминучим  
Хотя бы даже и через века.



## ПОД КАРАГАЧЕМ

Обветренный, угрюмый и шершавый,  
Как будто бы покрытый пылью ржавой,  
Стоишь ты, несгибаем и могуч,  
Приют орлов, прибежище для туч.

Ты бедняков хранил и толстосумов,  
Когда они из пекла Каракумов  
Выкатывались в тень обезумело,—  
Домбра звенела,  
жизни влага пела!

В корнях кривых, в солончаке дубленом,  
Огнем Чингиса трижды прокаленном,  
Притоптанном, прибитом каблуками,  
Сверкал ручей у ног твоих веками.

Ты помнишь, старец, дзенькнули копыта  
И прянул конь?

И пал боец открыто:  
Грудь нараспашку, кровь через висок,  
Багряня кудри, капала в песок...

Откуда он, урус золотокожий,  
На яростного беркута похожий,  
Летел вперед и рушил богачей,  
Свистела сабля в стане басмачей?!

Ты помнишь, старец, над его могилой  
Взошла звезда и светом напоила  
Бессчетные аулы и барханы  
И от жары ослепшие курганы?..

## Анатолий Поперечный

### КОНИ В НОЧНОМ

Чу!  
Ржет жеребенок,  
Он просит напиться.  
Ему ни печаль, ни тоска  
Нипочем...  
Мне синяя степь приингульская  
Снится —  
И кони в ночном,  
Только кони в ночном.

И словно я вижу  
Их белые гривы.  
И в темных зрачках  
Догорает звезда.  
Таким раскудрявым я был  
И счастливым,  
Как больше не буду уже никогда.

А кони  
Как будто

Нас,  
Глупых,  
Жалели,  
Глядели во тьму  
Их большие глаза,  
И падала вдруг на мальчишечьи  
шеи  
Тяжелая,  
Не человечья,  
Слеза...

Высокие травы  
Нас больше не спрячут,  
Растаял туман  
Среди белого дня.  
Луна не хохочет,  
И кони не плачут,  
А скачут и скачут  
Уже без меня...

# Станислав Куняев

\* \* \*

Мой друг! Под проливным дождем,  
под синим азиатским зноем  
мы начинаем наш подъем,  
необходимый нам обоим.

От временных привалов дым  
летит и в поднебесье тает  
и над твоим виском седым,  
как венчик голубой, витает...

Послушай! В мире высоты  
немного проку исподлобья  
глядеть, как будто ищешь ты  
хороший камень для надгробья.

\* \* \*

Нет, не жажду ни денег,  
ни славы —  
эти страсти уже позади,  
лишь бы только цветущие травы  
пробуждали волнение в груди.

Ничего не желаю иного,  
и добро понимаю и зло,

\* \* \*

Проходит молодости пыл,  
но, путь житейский половиня,  
я прошлое свое забыл  
сегодняшнего дня во имя.

Тот счастлив, кто умеет жить  
не памятью, а настоящим  
и не грядущим днем, таящим  
все, что нам должно совершить.

Еще движение души  
в ладу с горячим током крови,

Мы — как единственная связь,  
как стык прошедшего с грядущим,  
и только в этом наша власть  
над временем, ревмя ревушим.

И если мы не затвердим  
его приметы честным словом —  
оно исчезнет, словно дым,  
растает в космосе суровом...

Нам надо жить и понимать,  
что в мир вступают наши дети  
и нищим надо подавать,  
покамест есть они на свете.

лишь бы мною рожденное слово  
чье-то сердце утешить смогло,

чтобы стало оно облегченьем  
неизвестной, но близкой душе,  
чтобы кто-то, объятый лишением,  
устоял на своем рубеже.

еще, как бы колосья ржи,  
на солнце выгорают брови.

Пусть выгорят они дотла,  
пусть как траву их солнце выжжет,  
но воли жизненной игра  
еще моей свободой движет.

Тот счастлив во вселенской мгле,  
кто без отчаянья и гнева  
глядит в полуночное небо,  
но твердо ходит по земле...

# Владимир Приходько

## ИЮЛЬ

Июльский день был жаркий и веселый.  
И пахло сеном. И жужжали пчелы.

Они под ярким солнцем золотились,  
Садилась на цветы и суетились

Меж листьев липы, медно-ароматной,  
И этой, молодой, и той, громадной.

И, словно пули, улетали в улей  
По воздуху, по лугу, по июлю.

Мы попросили пчел: — Вы не спешите,  
Вы про июль нам что-нибудь скажите!

И что же пчелы на лету шепнули:  
— В году должно быть несколько июлей!

## ЖАВОРОНОК

Зеленый лес темнел вдали,  
Меня к себе маня без меры.  
И пел свое «тирли-тирли»  
Над полем жаворонок серый.

Хлеба росли, цветы цвели.  
Я рвал чабрец и медуницу  
И пел свое «тирли-тирли»,  
Не передразнивая птицу.

## Вадим Семернин

\* \* \*

Я столько раз ловил синиц,  
А журавлей —

не приходилось.

В моем хозяйстве этих птиц  
Как будто вовсе не водилось...

Вокруг на взрослом языке  
Твердили о насущном хлебе:  
— Синица лучше, мол, в руке,  
Чем тот журавль, который в небе.

А что синица?.. Щелк да щелк  
У самых ног зимой и летом,

Как привязавшийся щенок,  
И тот же хвостик — пистолетом.

А за окном —  
курлы-курлы!...

И только выглянешь наружу:  
Плывут крылатые углы,  
Теснят собой на север стужу.

...Поет синица и в руке.  
Как мы, заботится о хлебе.  
Ты слышишь песню вдалеке?  
Журавль курлычет только в небе!

\* \* \*

Эта Горенка,  
Как задоринка,—  
Это искорка на горе.

В ней все дворики,  
Как в топориках,—  
В белых лучиках на заре.

Звонко колетса,  
Звонко строится,  
Поднимается в высоту —  
То ли горлица,  
То ли горница,  
То ли яблоко на свету.

### ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ СИБИРЯЧКИ

День рожденья,  
День рожденья  
Сибирячки Ниночки!  
Ах, какие пляшут тени —  
Тонкие хвоиночки.

Завязало пламя узел  
На сухом морошнике.  
Над костром смеется Кузя  
В мягком придорожнике.

— Это что за едри-ведри?  
В куст гитара брошена!  
Видно, плохо мною дебри  
За весну взъерошены!

Я хочу сегодня дыма  
И костра высокого!..

Вся до зернышка,  
До воробышка  
Конопата она,  
Остра.  
Что ни вдовушка —  
Крутобровушка.  
Что ни девушка —  
Ей сестра.

И невестится  
Возле месяца...  
Для чего красоту беречь?  
Как поленница,  
Ночью светятся  
Облака возле самых плеч.

Что ж ты, Нина, нелюдима  
Возле ясна сокола?

Слышишь?  
Яблоком частушки  
Катятся в тарелочке.  
Из таежной деревушки  
Прибежали девочки.

Загляделись, как ребята  
Пляшут, спотыкаются,  
Как с танцоров бородатых  
Мошкара сыпается.

Пляшут до седьмого пота  
С лаборанткой Ниночкой.  
Сапоги уж без подметок!  
Завтра все пойдут работать  
Без сапог,  
В ботиночках!



# Анатолий Преловский

\* \* \*

Когда я думаю о том,  
что было до меня,  
мне видится не дол, не дом,  
не крепкая родня,  
но — тонкий, ломкий стебелек  
в сиянье лет и гроз,  
который жил, мужал, как мог,  
и до меня дорос.

И не понять: кто он, кто я  
и кто мы на земле,  
и родословная моя  
теряется во мгле,  
где в чистой памяти времен  
для неизвестных дней  
и прежний опыт сохранен,  
и новый рост корней.

## БОЛЬШИЕ ПТИЦЫ

*Евг. Сидорову*

Большие птицы молчаливы  
на воле. Но когда в плену,  
едят и движутся лениво —  
и смотрят, смотрят в вышину.

Своей судьбы не постигая,  
вдруг в напряжении пустом

рванутся к небу, исторгая  
то ль полукрик, то ль полустон.

Их оскорбленная природа  
страдает, яростью кипя,  
не в силах высказать себя  
безмолвным языком полета.

# Владимир Дагуров

## СОН ЛЮБИМОЙ

Любимая, как за день ты устала!  
Ты в зеркало глядишься перед сном  
и про себя вздыхаешь:  
что же стало  
с твоим  
красивым некогда  
лицом?

И только лишь сомкнула ты ресницы,  
как через миг, блаженная, спала.  
Ты улыбалась —  
сон успел присниться —  
и с виду прежней девочкой была.  
Спи, милая,  
счастливой будь и юной.

Проснешься утром —  
в омут с головой!  
Как жаль,  
что ты не видишь ночью лунной,  
какой стою влюбленный,  
молодой.  
Сказать об этом —  
ты ведь рассмеешься.  
Но превращенья —  
все-таки не ложь:  
глаза откроешь —  
женщиной проснешься,  
глаза закроешь —  
девочкой уснешь!

ФОТО В МОЕМ ДОМУ

Выпуск Батайской школы.  
Тридцать девятый год.  
Батя мой, парень веселый,  
шутки ли — красный пилот!

Хлопцы — приятно глянуть,  
сколько их тут, родных...

СЫНУ О МОСКВЕ

Себя москвичом не считаю,  
поскольку родился не здесь,  
но, сын, я тебе завещаю —  
 послушай, что скажет отец.

Смотри на суровые камни —  
тебе эти камни беречь,  
зови москвичей земляками,  
люби эту плавную речь,

и купол Петровского замка,  
что космосом ныне объят,  
и всю — до дорожного знака,  
до грубых шоссежных заплат,

до ветки в Лефортовском парке,  
что, как на гравюре, резка,  
рассветы встречай как подарки,  
пока высота высока!

Шагай без плаща мимо зданий,  
за тучами в небе следя.

Лишь предвоенный глянец —  
все, что осталось от них.

Да над Москвой знамена,  
те же, что в их года,  
да праздник в мае зеленом,  
Девятого —  
навсегда.

Москва — она вся ожиданье  
хорошей погоды, дождя.

Пройди вдоль ограды  
кремлевской, —  
пусть станут твоими сполна  
мой Чкалов  
и мой Рокоссовский —  
всеобщей любви имена.

Пусть Ленин,  
Гагарин  
и Разин  
к тебе прикоснутся, любя.  
Москву постигай!

Постарайся,  
Москва чтоб любила тебя!

На карте есть точка опоры  
для тех, кто поднялся трудом.  
Руками люби этот город,  
и мыслью,  
и всем существом.

\* \* \*

Когда умирает парень,  
ничем не причастный к вечности,  
простой и хороший парень, —  
нам жаль, что недолог век,

когда умирает Туполев,  
обидно за все человечество,  
что столько с собой уменья  
уносит

Один человек.

ЛЕБЕДИ

Заболел я. Мать в тоске томится  
И крошит в заварку зверобой.  
Я лежу, а огненные птицы  
Кружатся подолгу надо мной.  
Что за птицы? Я глаза открою —  
Никого. Лишь вижу потолок.  
Задремлю — и снова надо мною  
Взмах крыла, спокоен и широк.  
Мать мне говорит: — Давай укрою.  
Мало спал. Да эдак разве спят...—  
Улыбаюсь ей: — А надо мною,  
Посмотри-ко, лебеди летят.  
— Что ты,— говорит,— откуда взяться?  
Вот какой ты странный человек.  
По углам куржавина, что зайцы,  
А в окне, взгляни-ко, валит снег.—  
Пожимает старая плечами.  
У нее, смотрю, тревожный взгляд.  
— Снег так снег,— согласно отвечаю,—  
Только все же — лебеди летят.

Юрий Сбитнев

СПАССКИЙ СОБОР

За рощами, за выпольем,  
За Яузой-рекой  
Седые росы выпали  
На разнотрав густой.

Косой не тронут вострою,  
Считай, с каких уж пор  
Над выпольем, над росами  
Зеленый косогор.

А там глядит с опаскою  
Глазницами бойниц  
Стена собора Спасского  
За тишиной границ.

Московской столько отчины,  
Надежи Руси всей!  
И иноки нарочные  
Нудят, нудят коней.

И не ленивым заспаньем  
Жизнь на Руси идет!  
А так вот — ветры за спину,  
И вся душа в полет...

И в голубень небесную,  
Считай, с каких уж пор  
Все рвется, рвется песнею  
И сказкою —  
собор!



# Игорь Шкляревский

## ПЕСНЯ О БОЛОТАХ

Ты закажи мне песню о хлебах,  
ответчу: — Нет в природе равновесья... —  
Сухой песок скрежещет на зубах,  
и о болотах назревает песня!

Мелиоратор славно поработал,  
глухие топи были не в чести.  
Пошли меня ко всем чертям в болото!  
Но Расскажи мне: где его найти?

Среди каких песков и мелколеся?  
Подымет ночью совесть, а не страх,  
и я уеду в глубину Полесья  
и повторяю, что о болотах песня —

в грядущем это песня о хлебах.

Нас много у тебя, а ты одна...  
Скорбим — бывает, — радуемся ложно.  
Вдыхая гарь и сырость из окна,  
лишь о тебе задумаюсь тревожно.

Нет, я гадать по звездам не готов,  
куда надежней зыбь весенних всходов,  
размах полей, созвездия заводов,  
высокие стожары городов...

Я отношусь к тебе благоговейно,  
в былое низко кланяюсь труду,  
но скорбь моя уже в долине Рейна  
аж в восемьсот шестнадцатом году!

Там началось — спрямить решили русло,  
чтоб судоходный бизнес процветал.  
Им вспоминать теперь об этом грустно,  
все инженер учел и подсчитал.

Трудились люди более полвека,  
и все же светлый разум человека  
не победил... И праздничный канал  
не поразил величием иностранца —

вдруг уровень грунтовых вод упал!  
Песок свистел от Базеля до Майнца...

Колодцы высохли... Дохнула жаром высь,  
неурожаи проклял местный житель.  
Лишь одного не смог учесть строитель —  
что из болота вытекает жизнь!

В конце концов нагрязнул час расплаты,  
набрали мощь стальные короли,

и славный Рейн добились химикаты,  
и славный Базель потонул в пыли.

Пропал ручей в лесочке поределом,  
рыбак последний продал невода,  
и рыбнадзор в обнимку с браконьером  
пошли в кабаки, врагов свела беда!

От щелочей задохлась Лорелея...  
Прозрачен Днепр! В бору — грибной  
туман...  
При чем здесь Базель и долина Рейна?  
Ответчу: есть подземный океан!

Пора понять великий смысл природы,  
тебе и мне давно понять пора,  
что воды Вислы, Рейна и Днепра  
в конце концов одни и те же воды!

Я возвращаюсь в край своих отцов...  
Люблю закон, разящий безобразья!  
Люблю сырые запахи ненастья  
и влажный шум взволнованных лесов.

Люблю весной дремать в сыром овраге,  
встречать, дрожа от сырости, рассвет  
и шкурой ощущать избыток влаги, —  
ведь на Земле надежней крыши нет!

Люблю один бродить в сырой низине,  
люблю сидеть часами у костра  
и слушать, слушать, слушать до утра,  
как егерь едет на ручной дрезине,

как бабы в роще ведрами бренчат,  
уже предзимье в воздухе повисло,  
во рту от клюквы холодно и кисло!  
И журавли кричат, кричат, кричат...

Всю ночь хрипит на озере вожак,  
крылом настылый вереск обнимает,  
и голос птицы — резкий, как наждак, —  
пространство сиротливое терзает!

Стой — на лещине запеклась заря!  
Замри — какая бодрость и прохлада!  
Пойми — душа цветам болотным рада.  
Гордись — вокруг родимые края...

Чем их сильнее любишь, тем тревожней!  
Не относись к природе свысока.  
Мы на земле как в чашечке цветка,  
и крикнуть хочется: — Поосторожней!

НАБРОСКИ

...Оцепенели облака.  
Дубрава крыльями всплеснула.  
И тут же вздрогнула  
река  
от нарастающего гула.

Все в удивление пришло.  
Здесь тишину никто не трогал.  
И вдруг —  
  полдня всего прошло —  
уже проложена дорога.

Уже везут кирпич,  
  песок  
и глину вязкую, как тесто...  
Здесь все найдет—  
  наступит срок —  
свое заслуженное место.

Ничто не строится само...  
Смолою пахнущие доски  
лежат  
  у будущих домов,  
как стихотворные наброски.

Герман Флоров

ГВОЗДИ

В тот год,  
Что землю проморозил,  
Что леденил поля, как грудь,  
Он разгибал на рельсе гвозди,  
Чтоб быть полезным чем-нибудь.  
Прямил всерьез  
Под стук колес,  
Работал, видимо, не в шутку,  
И прибывал его мороз  
К щитам недремлющей «чугунки».  
Щиты вращали в снег и лед,  
А с ними — вьюгам вопреки —  
Чуть слышно шли за горизонт  
Созвездья звонкие Оки.  
И шел военный эшелон,  
И вырывался из метели,  
Как гвоздь последний,  
  распрявлен,  
Как штык немедлящий, нацелен...  
Тот год далек. Тот пот остыл.  
Щиты забыты на откосе.  
Но и сейчас он помнит тыл —  
Как эти гвозди на морозе.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Сперва рекою Тебердой,  
Ручьями, где форель  
Красивой занята игрой,  
Мы шли через капель.

Потом змеился серпантин  
Все выше к сердцу гор...  
И дрогнул спутник наш один,  
И вниз ушел, как вор.

Я прокричал ему вслед:  
— А озеру Клухор

Привет-то передать иль нет?  
— Нет, не-ет! — мне эхо гор.

Второй в одышке сдался: — Ой! —  
И третий — побежден...  
А я поход продолжил свой —  
И был вознагражден:

Клухора вышняя вода,  
Клухора чистый взор —  
Во мне отныне навсегда,  
Как совесть  
гордых  
гор.

\* \* \*

Не грусти, что сотни лет назад  
Без тебя любили и грустили:  
Так же, как и сад похож на сад,  
Так на нас похожими все были.

Внучка — в деда, ну а дочь — в отца,—  
Мира не меняется обличье.  
Чище лишь становятся сердца,  
Меньше на земле косноязычья...

Не грусти, потомок, обо мне,  
Жизнь мою  
мечтой своей продолжив:  
Яблоко на яблоко вполне  
В саде человеческом похоже.

Лишь румяней плод и наливней  
Будет твой, вобрав всю память сада...  
Так вот пораздумав обо мне,  
Ни тебе, ни мне грустить не надо.

Джемс Паттерсон

ФОНТАН ТРЕВИ

До свиданья, фонтан Треви!  
Мне с доверчивостью младенца  
в шелестящие струи твои  
грустно в миг расставанья  
смотреться.

Сколько времени утекло  
незаметно, как дуновение,  
чье-то творчество обрело  
на бессмертье и на забвенье?

Но стремятся из разных мест,  
чтобы к вечности прикоснуться...  
И монетки чьих-то надежд  
там, на дне, мерцают, как лунца...  
Полусумрак римский разлит,  
но, шныряя без передышки,  
привязав на леску магнит,  
их выуживают мальчишки.

\* \* \*

Соловей, соловей, соловей  
вновь рифмуется с блеском ветвей.  
Юной ночи босая прохлада  
холодит, молодит, как вино,  
и едва распахну я окно —  
белокурая ветка из сада!

И покуда из дальней избы  
с аистинным жильем у трубы  
запоздалый дымок разовьется,  
все, что хочешь, проси у судьбы —  
в час, когда зацветают дубы,  
в час, когда соловей задохнется!

\* \* \*

Еще дубы стоят зелено-мудры.  
Ну где им знать, что на сердце таил  
тот, кто взметнул их спутанные кудри,  
к подножью травы влажные стелил?

Им невдомек — большим, зеленорогим,—  
что дальних веток тонкий окоем  
уже горит оранжевым, глубоким,  
ненатуральным, оперным огнем.

Что отзвенели лучшие недели,  
ноябрь — в пути и в птичьем горле — ком,  
что в ржавый бубен беглые метели  
уже стучат, как дятлы, молотком.

\* \* \*

Все мне чудится: встретимся,  
вспыхнет  
этот город весенним огнем,  
то, что болью мы звали, утихнет,  
мы иначе ее назовем.

Мы иначе... Я нынче богата!  
Ну не чудо ль? — отведаешь ты  
этой бархатной, холодноватой,  
изумрудно-зеленой воды.

Только что ж эта ржавая влага  
мне клокочет? Ищи, мол, свищи!..

Но и то: у большого оврага  
черно-буро седеют хвоици.

Но и то: в осветленном заречьи  
так заметен уже листопад.  
Как легко! Ты обнял мои плечи,—  
оглянулась: то птицы летят.

Как светло! Прохудились заборы —  
и вольней: только неба кайма...  
И деревьев пугливые взоры.  
Да вот эта... С котомкой. Зима.

ЧИСТО ПОЛЕ

Забубенные ветры  
по-над осенью стонут,  
словно древние вепри,  
в желтом мареве тонут.

От степного можая  
в получасе ходьбы,  
искони проживают  
люди русской судьбы.

Новорожденных руки  
в тонких темных морщинах,  
все от стирки — от муки  
их прабабок старинных.

И сейчас у колодца,  
свежей влаги полно,  
белым пламенем вьется  
на ветру полотно.

Все земляца добрее,  
а пшеница тучней.  
Только вдруг издалека,  
как последний Кощей,  
налетит ненароком,  
лютанет суховой.

И опять дышат всходы  
после жаркой гульбы —  
ощущеньем свободы,  
продолженьем судьбы.

ХУДОЖНИЦА ИЗ ПАЛЕХА

Жар-птица в вельветовой куртке,  
под снегом твои терема,  
на маленькой пегой каурке  
в твой Палех въезжает зима.

Все прочие птицы умолкли,  
и звезды ушли на покой,  
лишь ты в крупноблочной светелке  
волшебствуешь певчей рукой.

И позднее золото линий  
свободно течет на эмаль,  
и сказка с осанкой павлиньей  
уходит в сурмленную даль.

Весь день в радиаторе плоском  
вода утомленно журчит,  
и сын, темноглазый и взрослый,  
с утра на гитаре бренчит.

Тиха его жизнь молодая,  
и золота нету в руках,  
не знает он, вовсе не знает  
про то, что творится в снегах.

Где мечутся белые кони  
по черной панели небес,  
где в зимнем, диковинном звоне  
растаял березовый лес.

РАБОЧИЙ НАРЯД

Ни в чем не терпящий уловки  
и, зная, потому не забыт —  
в нагрудном кармане спецовки  
он, сложенный вчетверо, спит.

С ним душная гарь обнималась!  
Наряд. Направленье. Исток.  
На сгибах потершийся малость,  
но все еще прочный листок.

Как струнами древние гусли,  
он — прям, лаконичен, суров —  
покрыт торопливо и густо  
каракулями мастеров.

Его не виню в дешевизне:  
на бланке, фатальность храня,  
записана цель моей жизни  
в течение ближайшего дня.

Записана в общем толково.  
С собой вовлекая в родство,

от Казина до Смелякова  
протянуты строки его.

Не зря — отягченный  
прозреньем —  
и в реве станков, и в тиши  
хрустит он удостовереньем  
моей воспаленной души.

И верю я, хмур и неловок,  
что ценит мою круговерть  
потомок корявых листовок,  
набатно скликавших на смерть;

что мне на мгновенье хотя бы  
откроет дорогу назад  
всевластную подпись прораба  
сквозь время несущий мандат.

Откроет. И в пыльном затоне  
откроется взгляду вдали  
бумажкой — чуть больше ладони,  
чуть меньше бескрайней земли.

БЕШБАРМАК

А дьявола ли в том почетном месте,  
коль ставят перед гостем-новичком  
обычную баранину на тесте,  
приправленную перцем и лучком?

Но, прян и нежен, но, манящ и тонок,  
шел бешбармак сюда издавека:  
колосья бронзовели, и ягненок  
в сырой траве нагуливал бока.

Брусочек ножу, впитавшему рассветы,  
с присвистом растолковывал права.  
На мельнице, как грустные планеты,  
в крошечной мгле вращались  
жернова...

А ты ветров испытывал удушье.  
а ты от пыли наседавшей слеп:  
к истокам азиатского радушья  
ведет язык дороги через степь.

Курган манил прохладой к подножью,  
орел терзал джейрана, деловит:  
дорога вдаль и вдаль по бездорожью  
вымучивает волчий аппетит.

И, родственной туманностью размыта,  
луна, срываясь с вековых орбит,  
то рушилась под конские копыта,  
то вновь взмывала ввысь  
из-под копыт...

Но путника, доставившего вести,  
и яство, пережившее века,  
закономерность сводит честь по чести  
в гостеприимной юрте степняка.

Огромных блюд почти что не касаясь,  
уже -- смотри-ка! — вносят без чинов  
услладу и батыров, и красавиц,  
отраду и бродяг, и чабанов.



\* \* \*

Ни двора у меня,  
  ни кола.  
Отчего ж так мучительно-сладко  
прирастаю к земле,  
как посадка  
за оградой степного села.

Прирастаю душою к земле —  
огневой, неуютной и милой,  
к топольку над отцовской могилой,  
к угольку в неостывшей золе.

Понимаю извилистость рек,  
принимаю гранитную цельность,  
уважаю

прямолинейность  
рыжих сосенок, рвущихся вверх.

День,  
вихляясь, по улице мчит,  
как мальчишка,  
  толкающий обруч.  
Но восходит созвездие в полночь  
и в окне до рассвета торчит.

Но любимая спит на руке,  
беззащитная, словно былинка,  
и вздыхает во сне.  
И слезинка,  
высыхая, блестит на щеке...

#### ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ

Приезжай ко мне, дружище,  
на дары земли.  
Здесь, в заливе, окуницы —  
прямо горбыли.

За поскотиной, где лето  
серебрят дубы,  
как десантники, в беретах —  
в малиновых —  
грибы.

На лугу,  
за дикой вишней,  
в зареве утра  
для твоей постели пышной  
зреют клевера.

В тесной кадке бродит жито,  
по ночам бурчит...  
Кто-то скажет:

— Пережиток! —  
Грозно обличит.

Мол, пора (и шито-крыто!)  
пастораль забыть.  
Только этот пережиток  
будет вечно жить!

Пусть бранятся,  
пусть ругают —  
голову не гни.  
Дома стены помогают —  
верные они.

И никто,  
ни в коем разе,  
в передрягах лет  
не убьет нас  
и не сглазит  
на родной земле!..



## Игорь Жданов

\* \* \*

Я плыл по Волге и Оке  
В тумане  
и в дыму,—  
Мне было легче — вдалеке,  
Чем дома — одному.  
Литыми льдинками звеня,  
Темна от свежака,  
Втекала холодом в меня  
Осенняя река.  
Я налегке скитался там,  
Как нищий в отпуску,  
По двухэтажным городам,  
По мокрому песку.  
Ночуя у прибрежных скал,  
Кочуя по пескам,  
Я не нашел, чего искал...  
Забыл, чего искал.

Помилуй бог!  
Ну и дела!  
Кем был — и чем я стал!  
Твой воплощенный идеал  
Покинул  
пьедестал.  
Былой задира и нахал —  
Шальная голова —  
Зачем-то взял  
и срифмовал  
Обычные  
слова:  
Прощай!  
Пощады не проси —  
Ни в чем не убедишь...  
Какая осень на Руси!  
Какая в мире тишь!

## Владимир Сергеев

### МАКИ

На полях, вблизи дорог,  
У лесной купели  
Умирали, кто как мог,  
В земляной постели...

Не всегда вблизи санбат —  
Всякое бывало.  
Нынче разве вспомнишь, брат,  
Где кого не стало.

Тут науку не зови.  
Говорят поляки,  
Что теперь на той крови  
Вырастают маки.

Может, в этом правды нет,  
Выдумка людская...  
Отчего же маков цвет  
Без конца и края?

Маки, маки там и тут,  
И хрупки, и кротки...  
Отчего они ползут  
Цепью на высотки?

Приглядишься. И вдруг пойми,  
Увидав такое:  
Это ж карта, черт возьми,  
Штурмового боя!



МАЯКОВСКИЙ В 1913 ГОДУ \*

Я тебя в твоей не знала славе,  
Помню только бурный твой рассвет,  
Но, быть может, я сегодня вправе  
Вспомнить день тех отдаленных лет.  
Как в стихах твоих крепчали звуки,  
Новые роились голоса...  
Не ленились молодые руки,  
Грозные ты возводил леса.  
Все, чего касался ты, казалось  
Не таким, как было до тех пор,  
То, что разрушал ты, разрушалось,  
В каждом слове бился приговор.  
Одинок и часто недоволен,  
С нетерпением торопя судьбу,  
Знал, что скоро выйдешь весел, волен  
На свою великую борьбу.  
И уже растущий гул прилива  
Слышался, когда ты нам читал:  
Дождь косил свои глаза гневливо,  
С городом ты в буйный спор вступал.  
И еще не слышанное имя  
Молнией влетело в душный зал,  
Чтобы ныне, всей страной хранимо,  
Зазвучать как боевой сигнал.

1940

## Н. Реформатская

### С АХМАТОВОЙ В МУЗЕЕ МАЯКОВСКОГО

из воспоминаний

В конце мая 1948 года Анна Андреевна Ахматова приехала в Москву и, как обычно в те годы, остановилась у Ардовых, на Большой Ордынке, 17. Туда я и заехала как-то за Анной Андреевной, чтобы свезти ее в Музей Маяковского, где я работала. Заранее условились, что поедем в выходной день музея, когда там не будет ни экскурсий, ни посетителей, однако, садясь в машину, Анна Андреевна опять повторила: «Только чтобы никому не мешать, чтоб никакого шума...» Я заверила, что так и будет.

Директор музея, А. С. Езерская, встретила ее с обычной для себя приветливостью: «Рада увидеть вас в доме Маяковского». Анна Андреевна величественно поздоровалась с ней, и мы сразу поднялись на второй этаж в квартиру поэта. Маленькие комнаты — столовая и кабинет Маяковского — были залиты солнцем. Щурясь от ослепительного света, Ахматова чуть слышно сказала: «Пришло к поэту...» А потом добавила: «Как хорошо, что это у вас все настоящее, живое,— и не похоже на обычные музеи».

Она спросила, часто ли приходят в музей поэты. Я стала рассказывать про Асеева — он бывает постоянно и охотно выступает на наших литературных вечерах, — про посещение музея Василием Каменским и выступление этого веселого и талантливого спутника молодости Маяковского на вечере его памяти. Называя имена других поэтов — современников Маяковского, я вспомнила о Пастернаке и замялась... Не так давно я его приглашала приехать в музей, он отказался наотрез. «Не сердитесь и не убеждайте. Я бывал на Гендриковом у живого Маяковского, был там 14 апреля. Но смотреть музей Маяковского (он подчеркнул голосом это слово) я не хочу».

Разговор перешел на тему о смерти Маяковского и трагически сложившихся в последние месяцы событиях его личной и общественно-литературной жизни, о его конфликте с рапповцами, травле «Бани», «непризнанности» поэта. Помню, как Ахматова проронила по этому поводу: «Да, ему это было невыносимо» — и добавила: «Мужчины этого перенести не могут, даже такой, как Маяковский, а может быть, особенно такой, как Маяковский».

Ситуации личной трагедии Маяковского, по-моему, не так волновали Ахматову, она мне только посоветовала поговорить с В. В. Полонской и, узнав, что записки ее о Маяковском уже есть в музее, ни о чем больше не спрашивала.

— Кстати о самоубийстве, — сказала она, — одна моя знакомая, близко знавшая Маяковского до революции, рассказывала, что он всегда любил играть с револьвером. Сколько раз она видела револьвер в его руках, — сидит и вертит, пока ему не скажут: «Уберите, спрячьте, это не игрушка, зачем он вам?» Ответ бывал: «Может пригодиться».

Помню день, когда получено было известие о смерти Маяковского. Я вышла на улицу. Иду по Жуковской. И первое, что я увидела, — рабочие ломают «головы кобылей вылеп» над воротами того самого дома, куда он ходил, где он жил. Помните, у него в поэме «Человек»:

Фонари вот так же врезаны были  
в середину улицы.  
Дома похожи.  
Вот так же,  
из ниши  
головы кобылей  
вылеп.  
— Прохожий!  
Это улица Жуковского?

На меня это произвело тогда потрясающее впечатление.

Я попросила Анну Андреевну рассказать о ее встречах с Маяковским.

— Встреч было очень мало. Первая — в «Бродячей собаке». Он был тогда еще совсем юн, выступал вместе с другими футуристами, но запомнился он один. Так было и в другой раз, когда я там его слышала: ново, серьезно и значительно.

Со мной он бывал всегда при встречах внимателен и учтив. Меня удивляло, что он, футурист, знает много моих стихов. Я встречала его у художницы А. Экстер, — она писала тогда мой портрет. Маяковский был знаком с Экстер и, узнав, когда я буду позировать, пришел тоже. Встреч было наперечет, но всегда у Маяковского в те ранние годы была заинтересованность в этих встречах и, оставшееся неосуществленным, желание их углубить. Помню, как-то шла я по Морской. Шла и думала: вот сейчас встречу Маяковского. И вдруг вижу... действительно идет Маяковский. Он поздоровался и говорит: «А я как раз думал о вас и знал, что вас встречу». Пошли вместе, о чем-то долго говорили. Он читал мне свои стихи, кажется, «А вы могли бы?».

Кстати, о «Бродячей собаке»... Знаете, когда я была там последний раз? В начале войны, летом 1941 года... Я была у Томашевских. Борис

Викторович пошел меня проводить домой. Только мы перешли Грибоедовский канал и направились по улице Ракова, опять началась бомбежка. Не переходя площади перед Русским Музеем, мы обогнули угловой дом и вошли, как указывала стрелка, во двор, где было бомбоубежище. Когда спустились в него по ступенькам и оглянулись, вспомнили... да это же бывшая «Бродячая собака»!..

После революции я как-то встретила Маяковского в Москве, на улице; кажется, это было в начале тысяча девятьсот двадцать третьего года. Поздоровавшись, он мне сказал, что недавно вернулся из заграничной поездки, а теперь уйму работает...

Последняя встреча была в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, на Кузнецком. Мы шли по разным сторонам. Маяковский, увидя меня, только поздоровался, приподняв шляпу.

Перед дальнейшим осмотром музея Анна Андреевна попросила «пощады», и мы спустились через читальный зал в сад. Еще в цвету была большая старая груша, а вокруг всего забора уже распустилась махровая сирень.

Потом пошли в библиотеку, кто-то попросил Анну Андреевну оставить автограф на одной из ее книг. Она невозмутимо ответила:

— Нет. Я неграмотная и ничего больше не пишу.

В библиографическом кабинете Ахматова очень обрадовала сотрудников возгласом удивления: «Не ожидала, что такая обширная «маяковиана»!»

В отделе фондов задержались довольно долго. Анна Андреевна с большим интересом и вниманием рассматривала записные книжки, рукописи Маяковского, своеобразие процесса его работы над стихом. Ее поразило, «сколько все же осталось у Маяковского сбереженного». О себе сказала:

— Я тоже никогда не относилась к своему архиву так любовно, как Блок. Куда-то все расходилось, кто-то брал, кому-то давала. Но кое-что есть. И никогда я не вела дневников.

На мой вопрос о Блоке, о встречах ее с ним она ответила:

— Почему-то все думают, что я близко знала Блока. Я с ним почти совсем не была знакома и видела и говорила с ним всего несколько раз; в «Бродячую собаку», где, впрочем, я сама бывала довольно редко, Блок не ходил никогда. Раз только я была у него дома, на Офицерской.

— Это — «Я пришла к поэту в гости»?

— Да.

— Борис Викторович Томашевский мне объяснил, что это стихотворение написано «дольником», как и некоторые другие мои стихи, а я и не знала, что это такое. Оказывается, дольником писала не только я, но и Блок.

Анна Андреевна уезжала с большим букетом сирени, который поднесла ей директор музея. Она была явно тронута вниманием. Расставаясь, я спросила Анну Андреевну, очень ли она устала. «Устала? В меру. Вы должны больше устать». И она протянула мне на прощание несколько веток сирени — «моему шоферу и гиду».

Прошло немало лет... Ахматова вновь получила приглашение приехать в Библиотеку-музей Маяковского, на этот раз — на литературный вечер, посвященный ее собственному творчеству. Он состоялся 30 мая 1964 года. Ахматова была нездорова и присутствовать на вечере не могла. Зал слушал магнитофонные записи — авторское чтение ее стихов. С докладом о поэзии Ахматовой выступали профессор В. М. Жирмунский и критик Л. Озеров. Анне Андреевне был отправлен с приветствием от собравшихся букет сирени из сада музея.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ИВИКЕ

Так вот куда стремиться  
За тридевять земель,  
Когда в руке синица,  
А в небе журавель!

Иду себе свободно  
В родной Пелопоннес,  
Как Ивик беззаботный  
Через весенний лес.

Как хорошо дорогу  
Прослушать посошком,  
Шагая понемногу  
С дудкою и мешком.

Как радостно с пригорка  
Висячий слушать гам  
И легкодумно-зорко  
Глядеть по сторонам.

А там, в зеленой шири,—  
Дубравы да луга,  
Коровы опустили  
В траву свои рога.

Снопы лучей белесых  
Клубят лесную тьму.  
Воткну я в землю посох  
И дудочку возьму.

Я горло ей продую  
И выпущу из рук  
Мелодию такую,  
Как эти лес и луг.

А лес все гуще, гуще,  
Все уже колея.  
Вперед — в просвет цветущий  
Иного бытия!

И так я заиграю,  
Как истмийский флейтист.  
И отзовется с краю  
Опушки птичий свист.

Но что там? В хвойном мраке —  
Все ближе, ближе — ах! —  
Не птицы, два бродяги  
С дубинками в руках.

Они посторонятся  
И станут за сосной.  
Своим ли прибуднятся?  
— Идемте! Кто со мной?

Они переглянутся  
О чем-то о своем  
И только улыбнутся,  
Дубинки взяв: — Идем!

Один, другой и третий,  
Все трое — напрямик.  
— Друзья, Зевес свидетель,  
Нам дудка проводник.

А грай в вороньих гнездах,  
А столько воронья!  
— Вы чувствуете воздух  
Иного бытия?

А солнечные пятна!  
А красные цветы!  
И голос: — Мы-то ладно,  
Но чувствуешь ли ты?

И словно шило, что ли,  
Пронзило левый бок.  
И выпали от боли  
И дудка и мешок.

И что еще? Потемки.  
Я охнул — и упал.  
И кто-то в перепонки  
Впотьмах застрекотал.

И заскрипел, и дрелью,  
Буравящей сучок,  
Засвиристел под дверью —  
Так тоненько — сверчок...

Оставим объясненья.  
Кто ведает о том,  
Какие сновиденья  
Перед последним сном?

Я мало жил — и много.  
Там умер — здесь воскрес.  
Но где она, дорога,  
В родной Пелопоннес?

А жизнь все безымянней,  
Все сокровенней дни.  
И мы, будильщик ранний,  
И мы с тобой одни.

Лишь рядом из поселка  
Сосновый скрип глухой  
Да поздняя поземка  
По бпали сухой...

РЕБЕНОК В ДОМЕ

Ребенок в доме. На своей земле.  
Из-за какого пустяка он плачет?  
Что за рисунок им в тетрадке начат —  
Лиловый плод на розовом стебле?

Ребенок в доме. В доме — карантин.  
Горчичники, примочки, витамины...  
Какие силы черные повинны,  
Что ночью он глотает аспирин?

Ребенок в доме. Он здоров давно!  
Да здравствует все, что светло и право:  
Луч на стене, хмельное солнце в травах  
И мяч шальной, влетающий в окно!

Греми, греми, апрельский синий гром!  
Весенний мир — прекрасен и огромен.  
А для меня, когда ребенок в доме,—  
Тогда огромен и прекрасен дом.

Борис Пуцыло

\* \* \*

Все никак не могу отдалиться:  
До чего ж неотвязчив пейзаж!  
С неба падает черная птица,  
Над песками чуть высится кряж.

Гол кустарник.  
Дорога безлюдна.  
Тишина — ни душе, ни уму.  
Слава богу, что сердце подспудно  
Не дает привыкать ко всему.

...Как забыть мне  
И шум  
Одинокой,  
В желтом поле стоящей сосны,  
Синеву  
В озерце за осокой,  
Под закраинам серые льны?

И тропу,  
Что, сбегая с откоса,  
В дол, к дремотной уреме, вела,  
Где прозрачную сумрачность плеса  
Осеняла извечно ветла?

Умиление?  
Нет,  
Удивленье,—  
Разве можно не помнить всерьез  
И в ромашковом долгом цветенье,  
И в широком тумане берез,

И в листве, на поляну опавшей,  
И в блеснувшей излучке —  
Черты  
Той  
Издравле тебя ожидавшей,  
Обращенной к тебе красоты?!

## Натан Злотников

\* \* \*

На Саласпилские болота  
Две уточки летят,  
Две серые, зовут кого-то —  
Уж не своих утят?

Но это место позабыто.  
Тридцатый год  
Все утки ищут для транзита  
Иных болот.

Вы заблудились, вы сверните  
С дороги дорогой!  
В холодном голубом зените  
Вам ляжет путь другой.

Он труден. Что ж? Но в круговерти  
И зим и лет

Все трудно, даже легкой смерти  
Уж в мире нет.

Освенцим и Хатынь. Треблінка.  
Под вами Бабий Яр...  
Там слышит каждая былинка  
Сердечек двух удар.

Что ветры вам и туч лавины,  
Дождь проливной?  
Летите! Вы две половины  
Души одной.

Ее разъять уж не могу я.  
Над стрелкой камыша  
Летает, плача и тоскуя,  
И крыльями шурша!

\* \* \*

От «Арсенала»  
Пойду пешком,  
Чтоб даль сверкала  
За бережком.

Чтоб клены парка  
Над головой  
Сомкнули арку  
Листвой живой.

Фонтан тот самый.  
Но как он мал!  
Здесь рядом с мамой  
Нас кто снимал?

На фото блеклом  
Деревьев нет,  
Как будто пеплом  
Присыпан свет.

И в невозможном  
Том далеке  
Гудок тревожный  
Плыл по реке.

И этот сжатый  
До стона пар  
Несло за хаты,  
На Бабий Яр.

Но как могли мы  
Предусмотреть  
Все беды, зимы,  
Разлуки, смерть?..

За поворотом —  
Мои места.

Я медлю что-то.  
И неспроста.

Ведь я нарочно  
Кружил, бродил,  
Чтоб стать тут прочно  
Хватило сил.

Но вот он все же,  
Мой первый дом.  
А я прохожий —  
Все дело в том.

Да, я не здешний,  
Хоть не чужак.  
Я житель прежний.  
Я просто так.

\* \* \*

Едва возьмут меня в полон  
Воспоминаний сны,  
Четыре с четырех сторон  
Замкнут меня стены.

И невозможно никуда  
Уйти из этих стен,

За ними вечная вода  
Течет без перемен.

На Севере срудье бьет,  
Грохочет океан,  
Над Имандрой сверкает лед,  
В горах висит туман.

Армейская звенит труба,  
И ночи напролет  
Меня военная судьба  
Не уставая ждет.

А за восточную стеной —  
Уральские леса,  
Там вровень с камскою волной  
Ребятчи голоса.  
Война. Голодные пайки.  
И тайны первых книг.  
Плоты и песни вдоль реки.  
Любви начальный миг.

На юге контуры копра,  
И вишенка тиха,

И гулкие вблизи Днепра  
Литейные цеха.  
Родительский на юге дом.  
В окошке тихий свет.  
И, как ни странно, в доме том  
Меня все нет и нет.

На западе, вплоть до границ,  
Все тридцать лет подряд  
Так низко стаи черных птиц,  
Бессонные, кружат.  
Их крылья не теряют сил,  
Хоть тяжелей свинца.  
Под ними груз родных могил,  
Которым нет конца.

## Алексей Заурих

\* \* \*

Железнодорожное русло  
в дремоте просторов лесных.

Армады цистерн нефтяных  
идут отчужденно и грустно.

Пожары припомнятся, беды.  
А рядом — пичуг голоса.

Цистерны — ну вроде торпеды,  
идут, как сквозь воск, сквозь леса.

И рай этот милый лесной —  
покажется — рай до мгновенья:

до легкого их столкновенья,  
до искорки малой одной.

## Иван Савельев

### КНЯЗЬ

*Вячеславу Шугаеву*

У байкальских лесных широт  
Со своею лесной заботой  
Двадцать домиков — Добролет,  
Есть добро,  
Никакого лета.

Я устал из окна смотреть,  
Мы с тобой не в курьерском едем...  
— Не хочу я, старик, лететь,  
Ты своди меня на медведя!

Поднимается у окна  
Наш хозяин, во всем везучий:  
— Обложили бы шатуна,  
Да вот Князь еще не обучен...

Князь кивнул ему головой,  
Князь покажет, как оя отважен!

Что ты лижешься, милый мой?  
Это дело, дружок, не княжье...

Я не знал, хоть видал собак,  
Что собаки, как люди, плачут,  
Надоела ему — вот так! —  
Эта жизнь его несобачья.

Поводок сыромятный куц,  
Как наезды сюда в машине.  
Не заменит ему Иркутск  
Бьющей синью таежной шири.

И читал я в его глазах  
(А собаки не врут глазами):  
«Не хочу я ходить в князьях, —  
Дай собакой пожить, хозяин!»



СЕМЬ ОСЕННИХ ДНЕЙ

*День первый,  
в который начался отлет лебедей*

*Вас. Аксенову*

В дни листопада,  
в канун холодов,  
можно отшельничать, жить нелюдимо,  
да оторвет вдруг от черновиков  
лёт лебединый,

лёт лебединый.

И выбегаешь, пестун городской,  
джинсы заляпав рыжею глиной,—  
боже мой,

что это сделал с тобой  
лёт лебединый,

лёт лебединый?

К небу — лицом,

что ты им поверял  
страстно, молитвенно и торопливо?—  
в волосы пряча лицо, не шептал  
той,

что при всех называешь любимой,  
другу, бумаге...

Ни с кем на земле  
не был зажимистым иль половинным...  
Но что-то есть,

что только тебе  
молвить возможно,  
лёт лебединый.

Лёт лебединый,— посторонись,  
все реактивное, рядом — нелепо!  
Лёт лебединый —

буквами птиц  
пишется биография неба.

Благословляя полет, испроси  
благословения на поединок...  
Если виновен — вину отпусти,  
лёт лебединый,

лёт лебединый.

В памяти долго будет белеть  
стая серебряных пилигримов.  
Разумом это не уразуметь:  
необъяснимо —

лёт лебединый.

Вновь затворишься, забросишь дела  
и под мерцанье свечи стеариновой

вдруг ощутишь —  
обретают слова  
лёт лебединый,  
лёт лебединый...

*День второй.  
Письмо, оставшееся неотправленным*

Ни прощенья,  
ни благословенья  
у тебя я не стану просить —  
испрошу у тебя разрешенья  
чуткий сон твой стоять-сторожить.

Ах, какая чудная затея —  
над твоей золотой головой  
стать корыстнее казначея  
и скупее, чем Рыцарь Скупой!

И потом, вырастая судьбою,  
неприметнее стать и прямей  
над такой же, как ты, золотою,  
над священной землю моей.

Что без этого значу и стою?  
Тем уже не обижен судьбой,  
что стоял над твоей головой,  
над твоей головой золотой...

*День третий,  
обыкновенный*

Обыкновенный — даже числа  
в памяти не оставит —  
день народился и начался  
скрипом калиток и ставен.

Звук этот то же, что для белья  
синька. А за оградой  
шел долговязый скупщик старья  
в образе листопада.

Начатый дятлом  
плотник продлил  
стук — и под синие своды  
дымом невидимым повалил  
звук ежедневной работы.

Мельницею, веслом, колесом,  
кузницею, лопатой —  
каждый был занят своим ремеслом,  
равно как лес — листопадом.

Каждый своим — нараскат, нараспев,  
и недоступное глазу —  
то же единство, что у дерев:  
каждый своим  
и все — разом!

Жизнь продолжалась, ища у людей  
силы для продолженья,

не находя за обилием дел  
время для благодаренья.

Жизнь удается, коль день удался.  
Всех помянув, кто во прахе,  
можно спокойно творить чудеса  
в музыке  
и на бумаге...

*День четвертый — день в яблоневом саду*

В саду, встретив яблоню,  
потерявшую всю листву,  
в ветках которой светилось  
чудом уцелевшее яблоко,  
наверно, было должно подумать  
о нашей планете:  
«Ты наша маленькая, хрупкая,  
беззащитно мерцающая в черных  
переплетеньях Вселенной,  
только не сорвись, только не упади,  
что же такое сделать, чтобы ты уцелела,—  
прямо хоть не дыши...»

И так далее...

Но я подумал о матери.  
О матери накануне зимы.

Давайте не будем.  
Давайте без люминесцентно-душещипательной  
патетики. Дышите!  
Вершите добро! На нашей  
(следует всевозможный перечень метафор, эпи-  
тетов, сравнений)  
Земле  
все будет как надо, только бы  
дольше стояли Яблони Матерей наших  
с яблоками сердец на ветках.  
(Как мало, Яблоня, тебе  
я приносил воды...)

*День пятый,  
напоминавший осень в Тоскании*

Медный чекан листопада  
по виноградным холмам —  
золотом вышла зарплата  
сборщикам и сторожам.

Городом бродишь и бредишь  
золотом. Бедный пророк,  
или ты в Медичи метишь,  
у нищеты взяв урок?

Агнец холмов флорентийских,  
тем-то и жизнь хороша,

что при твоём олимпийстве  
в августе — без гроша!

Но в честь тебя, как лампы,  
стали деревья в лесу...

«Только б в любви листопада  
не было! Не снесу!..»

*День шестой,  
проведенный на могиле поэта*

Мимо храма, вдоль забора —  
к соснам в самолетном гуле,  
что в почетном карауле

корни — в почву, кроны — вверх,  
там, где медно-самоварный  
листопад, запас словарный  
порастратив, онемел...

Умирать — несовременно.  
Продолжая Диогена,  
мы на прошлом ставим точку —  
полный поворот рулю,  
и уходим, словно в бочку,  
в землю круглую свою.

Нам уже откуковали  
колокольни, наковальни,  
мы сыграли наши роли  
и глядим из-за кулис  
на сегодняшних актрис.

Вечность фауны и флоры...  
Мы — подземные суфлеры  
в этой пьесе, где играют невпопад,  
люди, письма, флейты, пули,  
сосны в самолетном гуле...  
...Занавесом театральным опадает  
листопад...

*День седьмой,  
полный поворот ключа*

Ключ скрипичный — тайный знак  
божества, блаженства, блажи...  
Никаких замочных скважин!  
Никаких?

Как бы не так!

Ларчик — прост. Душа — сложна.  
Не бренчи отмычкой.  
Отпирается душа,  
если ключ — скрипичный.

Человечество такое,  
что зависимо порой  
от «Девятой» Шостаковича  
и частушки озорной.

А в природе —  
лист, коричнев,  
падая, спираль совет,  
словно это ключ скрипичный  
сделал новый поворот.

Безголосо все в лесах,  
только в памяти серебрян  
соловья скрипичный знак  
в нотных зарослях сирени.

Понимая все, что с нами,  
милосердия полна,  
утешительницей-мамой  
людям музыка дана.

И на что бы ты годилась,  
жизнь без скрипки у плеча?  
Кто куприновский Гамбринус  
без скрипичного ключа?

Ключ скрипичный. Поворот.  
Недуг и недуг уходит.  
Женщина моя приходит.  
Мука. Музыка. Полет.

## Лев Кривошеенко

### В ЧАС РАССВЕТА

В час рассвета,  
утром рано-рано,  
приходите, люди, иногда  
с высоты Мамаева кургана  
заглянуть в грядущие года.  
Над землю, меч приподнимая,  
мать солдата  
встала в полный рост.  
И ее  
планета голубая  
не спеша пронесит  
между звезд!





ПОСЕЛОК

Заброшенный, заснеженный поселок,  
людьми полуоставленный к зиме,  
пустынный, полутемный, невеселый,  
стоял и мерз в вечерней полутьме.

И чудилось, бродила вдоль заборов,  
по узким тропам меж забитых дач  
душа поселка, полная укора  
за то, что он беззвучен и незряч.

И в воздухе вечернем, сине-алом,  
голубо-алом, сине-голубом,  
переливалось что-то и дрожало,  
и плыл далекий самолетный гром.

Галина Чистякова

\* \* \*

О мастерская русского стиха,—  
Я в этом цехе робкая малярша.  
Но понимаю, становясь все старше,  
Что эта роль не так уж и плоха.

Не всем предначертанье помогло  
Найти свои серебряные трубы.  
Возводит кто-то и простые срубы,  
Жилось бы в них уютно и тепло.

— Наличники резьбою уברי! —  
Твердят учителя, добры и строги.  
И на моей расплывчатой дороге  
Свои мне зажигают фонари.

А я — то пробегаю часть пути,  
А то — плетусь, плохая ученица.  
И путь страшит, как чистая  
страница...  
Но хорошо бы все-таки дойти.

ТИШИНА

Однажды к нам вернулась тишина,  
Она была в пути четыре года,  
С котомкой за спиной пришла она,  
Но все ж вернулась под родные своды.  
Тебя мы ждали, погляди окрест —  
Мы ничего для встречи не забыли,  
Тебя не удивит и этот крест,  
Поставленный на новенькой могиле.

Там просто похоронена война,  
Надеемся, погребена навеки.  
И тихо улыбнулась тишина:  
Ну, здравствуйте, живые человеки!  
А остальных уж, видно, не поднять,  
Они в земле истерзанной уснули.  
Но я их буду часто навещать,  
Стоять над ними в чутком карауле.



# Василий Казанцев

\* \* \*

Дождь кончился. И снова жарко.  
И зыблущуюся волной  
Над рожью, заблестевшей ярко,  
Земли проходит дух парной.

Белеет из-под темной корки  
Несмоченная пыль. И стриж

К земле как бы с воздушной горки  
Скользит. Что ты, душа, молчишь?

Или — почти что неживая  
В беспамятстве глухом своем —  
Ты спишь, как в детстве, мир впивая,  
Чтобы откликнуться потом?

\* \* \*

Нет, нет, не мыслил никогда родным,  
Не называл желанною отрадой  
Отлогий холм над полем травяным,  
Безмолвьем обнесенный, как оградой.

Не припадал душой, не находил  
В нем дом свой вечный. Как чужой,  
держался

Вдали. И если мимо проходил,  
На остров тихий не смотреть старался.

Не умилялся, не благоговел.  
Не слал привет берез его сиянью.  
Невидяще в ту сторону глядел.  
Неслышаще внимал его молчанью.

\* \* \*

Найду приметную пушинку,  
К пушинке ниткой привяжу  
грузило. Брошу на тропинку.  
Из-за укрытья погляжу.

Пушинку схватит стриж, взовьется.  
И нитка крылья обметнет.  
Он мелко, как в силке, забьется.  
Запутается, упадет.

Перо, похожее на сажу,  
Ладонью бережно поглажу —  
Он в крылья голову вберет,  
Прибитым взглядом поведет.

Расправлю перышки — сожмется,  
Притихнет. Пальцы разожму —

К руке приникнет, встрепенется.  
Растает в солнечном дыму...

Опять, укрывшись, поджидаю.  
Ищу приманку, петлю вью.  
Зачем я им летать мешаю?  
Зачем хитрю? Зачем ловлю?

Чтоб сжать в руке и возгордиться?  
На миг владыкою побыть?  
Живым бессильем насладиться  
И после — счастье подарить?

Почуяв острый, тонкий коготь,  
Крыла изогнутую гладь,  
Высь лучезарную потрогать?  
Рукой небесное достать?

\* \* \*

Свет погашен. Глухо, тихо в лиственном краю.  
Начинает комариха песню петь свою.

Тонким звуком сердце ранит, как иглой ведет.  
Длинно тянет, тянет, тянет, не передохнет.

Тьма чернеет. Долгий, ровный, как издавека,  
Слабый голос. Стон любовный? Смертная тоска?



\* \* \*

Пустая даль мертва.  
Дымится луч косой.  
Как зверь, бежит трава.  
Есть миг перед грозой...

Испуг. Предвестье бед.  
Сырой, подземный хлад.

Вечерний, низкий свет.  
Застывший, долгий взгляд.

Из близкой темноты  
Ревущие стада.  
Блестящие листья.  
Зловещая вода.

\* \* \*

Сказало сердце: «Чти желанье.  
Ступай открыто по земле.  
И не обдумывай заране  
Ответ. Поверь себе. И мне».

Мне было радостью — поверить.  
Поверил сердцу. Но дерзнул —

Для большей радости — проверить.  
И в сердце пристально взглянул.

Туда, в глубины, в суть, в основы,  
Где свет исходный посреди.  
И, помертвев, застряло слово,  
Невысказанное, в груди.

## Валентин Ермаков

### В РОДНЫХ ПЕНАТАХ

Спать в саду решил еще с утра.  
Мать-то говорила:  
— Спал бы тут.  
Дома тихо, да и не жара...  
Там тебе покоя не дадут. —  
Верно, верно,  
Где уж тут покой!  
Вновь над раскладушкой  
Меж ветвей  
Звезды светят счастьем и тоской,  
Как и в годы юности моей.  
Ах, не те, не те приходят сны!  
Разве мне их видеть?  
Разве мне?..  
Звуки затянувшейся весны  
Всё не поддаются тишине.  
Мотоцикл внезапно осадив,  
Кто-то ветвь черемухи сломил  
И опять,

Влюбленно тороплив,  
Поскакал по кочкам что есть сил.  
В парке танцы кончились:  
Как шторм,  
Прошумела мимо ребятня.  
Но воспоминания на том  
Вовсе не оставили меня.  
За забором новая скамья,  
Там шуршанье, вздохи, тихий смех.  
А в саду — четыре соловья,  
Было два,— потомки, видно, тех.  
Всполошили  
Чувств притихший рой,  
Будто я и впрямь еще люблю...  
Нет уж, хватит!  
— Матушка, открой.  
Шумно что-то... Дома я досплю.

\* \* \*

Начинается день, начинается мирно и мудро,  
просыпается город поэтов, строителей и заводчан.  
Рядовое по сути, святое и светлое утро,  
я шагаю навстречу твоим деловитым лучам.

Я иду.  
Мой маршрут будет самым желанным и людным.  
Я иду и себе самому говорю:

— Посмотри!

Повезло ж мне работать и жить в этом городе чудном,  
где все люди красивы —  
всех краше! —  
хотите пари?

Я спешу на вокзал, где составами воздух распорот,  
где вагоны нас ждут, отражаясь в асфальте сыром.  
Начинается день, —  
начинается счастьем мой город,  
и в лицо мне летят лепестки, устилая перрон.

\* \* \*

Взметая вихрем листьев позолоту  
и волоча свою косую тень,  
меня на стройку, на мою работу,  
везет трамвай в полуночную темь.

Трамвай бежит своей стезею торной,  
и девушка, сидящая со мной,  
у поворота Авиамоторной  
сейчас сойдет — она спешит домой.

Мы с ней в одном трамвае часто ездим,  
и всякий раз под своды тополей,  
подсвеченных неоновым созвездьем,  
приходит мать попутчицы моей.

Она ей шаль приносит и неловкий  
старинный зонт — от ветра и дождя —  
и провожает к дому с остановки  
свое золотокудрое дитя.

И потому, что дочь — почти невеста,  
старуха мать всегда сурово так  
минует гитаристов из подъезда  
и прочих-разных встречных и гуляк.

В глухом проулке, освещенном слабо,  
для них, пожалуй, странны в этот миг  
моя на лоб надвинутая шляпа  
и поднятый — от ветра! — воротник.

У тупика, заросшего сиренью,  
чтоб доказать, что мы ведь — не враги  
и потому напрасны подозренья, —  
я замедляю гулкие шаги.

Иду за ними следом еле-еле,  
и отлегло тогда лишь на душе,  
когда они своей достигли цели  
и — вспыхнул свет на пятом этаже.

\* \* \*

Все толкуют,  
Все толкуют,  
Что ночная куковня  
Всех других перекукует,—  
Черту лысому родня.

Тешусь байкой повивальной,  
Нафталиновый шибок дух...  
Ладим жизнь  
С законной,  
Давней,  
Что дороже  
Новых двух.

Не кукушечка —  
Кукушка,  
Серебристое перо.  
Похоронены в подушки  
Слезы,  
Недобрь  
И добро.

\* \* \*

Сосна собою гриб прикрыла —  
Чужое хрупкое дитя.  
Но вот ее  
Пилой — под крылья,  
Не ради дельного —  
Шутя!

...В огне  
Жгутом свивались сучья,  
Слезился комель на углях,  
Кипели котелки на крючьях,  
В них ужин спел  
На всех парах.

На ошарашенной полянке  
Кругом,  
Как дюжие пеньки,  
Вразброс  
Лежали самобранки —

Накуковано за ночи,  
Может,  
Сорок коробов!  
В то худое,  
Что пророчит,  
Я уверовать готов.  
Только мой пророк верховный  
Не из здешних мест совсем.  
И святой он,  
И греховный,  
И не виденный никем.

Самому мне лишь  
Случалось  
Тень его ловить порой...  
Ты ж кукуй,  
Как куковалось.  
Не перечу.  
Бог с тобой.

Домашних сборов  
Рюкзаки.

Гудело буйное кочевье  
Под рев разнузданных гитар.  
В испуге  
Пятились деревья,  
Садился на души угар.

Тонули искры  
В небе льдистом...  
Со всех наветренных дорог  
Под хвойный полог  
Шли туристы.  
Лес горевал,  
Что он  
Без ног...

## Александр Москвитин

### СВЕРЧОК

В кустах не унимается сверчок...  
Один перед разверзнутой вселенной —  
о чем он,  
ну, о чем он, дурачок,  
вещает миру так самозабвенно?

С приходом ночи все живое вдруг  
попрыгалось,  
согнулось,  
отключилось.  
Один сверчок кует за звуком звук,—  
как будто что случится.  
Иль случилось.

Природы вечной вечное дитя—  
ну что ж ему так нужно до зарезу?

А в мире —  
мчат экспрессы,  
колотя  
без устали железом по железу.

И, наполняя до предела тишь,  
уходят с ревом  
лайнеры по трассам.  
Так отчего же ты один не спишь,  
не дорожа ни вечностью,  
ни часом?  
...Не шелохнет кустов зеленый дом,  
вставая выше ночи,  
смерти,  
тлена...

И все-таки о чем он, ну о чем  
вещает миру  
так самозабвенно?

## Алексей Кафанов

### ЧЕГЕМСКИЙ ВОДОПАД

Чегемский водопад, Чегемский водопад.  
Уклад скалистых гор, прорезанных отвесно.  
И падает вода с обрывистых громад  
В клокочущий Чегем, ущельем сжатый тесно.

Он пенится, бурлит, свивается в жгуты,  
То вправо падает, то ударяет слева.  
Все убыстряя бег, грозя снести мосты,  
Он рвется на простор из каменного зева.

Чегемский водопад, Чегемский водопад.  
Альпийской высоты протяжная прохлада.  
Здесь недостойны крик и слово наугад,—  
Всю суету сует внизу оставить надо.

Соседствуя орлам, свободу возлюбя,  
Балкарцы искони здесь, в горном крае, жили  
И, как седой Чегем, гранитный склон дробя,  
К земле почти с небес дорогу проложили.

Суровый, древний путь пообок облаков.  
Грохочет водопад, годам не зная счета.  
Как будто с темных лиц усталых пастухов  
От века в сто ручьев текут потоки пота.

Тяжелая стезя, неумолимый труд.  
Струится водопад, туманный спозаранок.  
Как будто, за века накопленные тут,  
Текут потоки слез горюющих горянок.

Чегемский водопад, Чегемский водопад.  
Уклад скалистых гор, прорезанных отвесно.  
И падает вода — усиленный стократ  
Балкарии набат, гремящий повсеместно.

## Кирилл Ковальджи

\* \* \*

Жилплощадь. Дети. Все в порядке,  
И каждый на своей стезе:  
Мы — на посадочной площадке,  
Они — на взлетной полосе.

Взлетят — родительскую нежность  
Пошлем вослед им сообща...  
Естественную неизбежность  
Я принимаю не ропща.

С метаморфозами — согласен,  
Вкусить готов я все плоды:  
Вплоть до заката мир прекрасен,  
Когда согласен с жизнью ты.

Я соглашаюсь без печали,  
Что нету вечного венца.  
Смысл не в конце. И не в начале.  
А от начала до конца.

## ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пониманья и нежности просит  
наступившее это число...

Нас легонько течение относит,  
то, которое раньше  
несло.

До свидания, парус весенний,  
на второй половине пути,

где любить — это против течения,  
это против течения  
грести.

Знаю правила, но в исключенья  
верю я, вопреки и назло,  
ведь любовь — это против течения,  
и весло у нее —  
как крыло!

\* \* \*

Я верю в торжество идеи  
моей наследственной, одной:  
я все-таки землей владею,  
а не она владеет мной.  
Да, есть такое трехозерье  
и два села среди болот,  
но шире отчее приволье,  
чем старый дедовский оплот.  
Кобылино и Стариково  
не превратились в города,  
но родины первооснова  
не обошлась без их труда.  
Во тьму тайги, на свет столицы,  
на блеск монаршего венца  
с достоинством глядели лица,  
не потерявшие лица.

Сегодня пахарь, завтра воин,  
гвардеец и мастеровой —  
так русский человек устроен  
и потому всегда живой.  
Есть отродясь такая сила,  
в роду живучесть эта есть,  
чтоб не избу оставить сыну,  
а долгий путь, до края, весь.  
От заполярного похода  
до страшной западной войны.  
На месте не сдержат народа  
такой распахнутой страны.  
Такую ширь, такую дальность  
моя освоила родня.  
Оседлость и патриархальность?..  
Нет, не про нас, не про мечт.

\* \* \*

Слипаются вмиг от мороза ресницы,  
родного лица не могу различить.  
Я встретился с близкими, чтобы проститься,  
любимого крестного похоронить.  
Ни красные даты, ни светлое счастье  
родню не собрали за долгую жизнь.  
Но без промедления все в одночасье  
на тризну слетелись и вместе сошлись.  
Какою ценою и платой суровой  
достался семейству в истории след.  
Уральские бабы. Как много их вдовых.  
Как мало осталось мужей этих лет.  
Народ неречистый и все многословье  
один только раз позволяет себе:  
у края, у траурного изголовья,  
у хвойных венков в панихидной избе.

Три дня будут женщины в черных  
косынках,  
как в старое время, качаться и выть.  
Три дня будет холод с теплом в поединке  
у двери распахнутой вихрем кружить...  
Как много их, юных и послевоенных,  
племянников рослых, ядерных девах,  
впервые задумались над сокровенной,  
над кровною связью, живущей в веках.  
Над этой дорогой вдоль просеки узкой,  
где вслед за крестами угольники звезд.  
Где даже фамильное гордое чувство  
прощает поток славословья и слез.  
И комья земли в гроб ударятся красный,  
от каждого горсть, — значит, вместе родня.  
Прости, что мы встретились только в  
несчастье.  
Отчизна, прости за разлуку меня.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Аэроплан. Аэросани.  
Аэродром! Аэроград!  
Парит аэрочудесами  
В столице аэропарад!

На обсужденье — стратосфера!  
И под веселое «Ура!»  
Листовки с надписью: «Аэро»,  
Ликуя, ловит детвора.

Такая эра! Всё — аэро!  
Аэродух живет в груди  
И упоительная вера  
Во все, что где-то впереди...

\* \* \*

В зале смотрят киноленту.  
Обсуждение. Совет.  
«Соответствует моменту.  
На экран. На подпись. В свет!»

Запятые, замечанья —  
Все — до вздоха — учтено.  
Есть успехи, есть венчанья.  
Но в кино шумят: «Кино!»

Кто-то хмыкнет: «Сакраменто!»  
Кашель. Вздох. Пустеет ряд.  
«Соответствует моменту», —  
На пороге говорят.

Но порой увидишь фото —  
Только холод вдоль спины.  
Моментальная работа,  
Вспышка боли, всплеск войны.

Вот он — в полуобороте,  
Весь на взлете, в крике рот,  
Политрук лицом к пехоте,  
Весь как хриплый крик: «Вперед!»

Только миг, но миг, как роды,  
В нем кровит, сгустилась, есть  
Независимость народа,  
Слава, Родина и честь.

Или тот — рука над пóтом  
На крестьянской борозде...  
Вот улыбка. Перед взлетом.  
Человек летит к звезде.

Только миг. Еще не лента.  
Что же тянутся  
к платкам?

Соответствует моменту.  
Соответствует векам.

# Николай Новиков

## НЕСТОР-ЛЕТОПИСЕЦ

Сие достойнейшее место  
Весьма историкам известно:  
В летах преклонных и больной,  
Здесь жил писатель древний Нестор  
В убогой келье земляной.

И, видя стен дубовых кряжи  
И слыша крик полночной стражи,  
Писать садился у стола:  
Кто тут почал первее княжить  
И Русь откуда есть пошла.

Писал про гнев и милость неба,  
И про Бориса, и про Глеба,  
Как их убил коварный брат,  
И, пожевав ржаного хлеба,  
Писал про Киев — стольный град.

Как водится, воздал он славу  
Владимиру и Ярославу.  
Поскольку ж справедливым был,  
В своих неторопливых главах  
Народ славянский не забыл.

Веда строку старинной вязью,  
Не облил он повстанцев грязью,  
Чему бы рад был Святополк,  
Не пресмыкался перед князем,  
А помнил свой гражданский долг.

Был, верно, в юности лохматым,  
Стал лысым, но не стал богатым.  
Писал не покладая рук.  
А был ли, не был демократом —  
Судить об этом кандидатам,  
А также докторам наук.

# Александр Говоров

## А ЕСЛИ ТЫ БЕЗ ХЛЕБА ЕЛ...

А в шубе распушистой  
Шагай  
И лишь  
Пос-  
    вис-  
        ты-  
            вай!  
Она тебя спасает  
От холода,  
        как печь!  
Попробуй в ней

На снег прилечь —  
И снег  
Растает.  
А мех — и густ,  
А мех — и бел,  
Он даже  
Искры сеет...  
Но если ты  
Без хлеба ел —  
И шуба  
        не согреет!



## ТРУДНАЯ РАБОТА

Я лежу,  
Или сижу,  
Или просто так  
Гляжу.  
А как только надоест  
Так сидеть,  
Бездельничать,  
Я прошу  
Попить,  
Поесть,  
Начинаю вредничать.

То мне шапку  
Подай,  
То мне шубку  
Надевай...

Сбилась с ног  
Уже сестра,  
Все по дому топает,—  
У меня она  
С утра  
Бабушкой  
работает!

## Нина Гребельная

### ДОЛИНА МАРИИ

Цвет неба черно-красно-голубой.  
Над Дубосарами воздушный бой.

Долина в платье набивного ситца.  
В траву не кровь сочится, а водица.  
...Жизнь, падая, сгорает и дымится.  
А жизнь-то ведь у каждого одна.  
Ночных боев военная страница —  
По небу огненная колесница —  
Теперь долине ночью только снится,  
А в яви не слышна и не видна.

Над Дубосарами воздушный бой.  
Цвет неба черно-красно-голубой.

Назвали эту девочку Мария.  
Простор и крылья ей дала Россия.  
Дала уму и сердцу дорогие,  
Влекущие, недевчьи мечты.  
Открылась ей воздушная стихия.  
Прорезалось вдруг чувство высоты

Жизнь на нее взглянула небесами —  
Глазами голубыми в черной раме.

Не парень. Да и молода годами.  
Одумайся, постой, повремени!  
Но небеса Марию звали сами  
Войны раскатистыми голосами,

Врывались в ночи, оглушали дни.  
Марию приняла отважных стая.  
Работа у крылатых непростая.  
...Звезда по небу чиркнет, пролетая,  
И упадет в зеленую траву.  
А летчица летает и не знает,  
Когда долину солнечного края  
Долиною Марии назовут.

Цвет неба черно-красно-голубой.  
Над Дубосарами воздушный бой.

На крылья давит воздуха лавина,  
Уходит жизнь в легенду и в былинку.  
Навстречу — смерть со скоростью  
долины.

Нет силы эту близость превозмочь.  
Мать Родина, ты потеряла сына?  
Нет, милые, я потеряла дочь.



ДЕНЬ

День, исполненный ясности,  
Трепетания крыл.  
День как праздник  
Без праздности —  
Испытание сил.  
Не пестрит он окраской, —  
Голубой до краев  
Манит в чащу за сказкой,  
Кличет песней с лугов.  
Вольной силой не хвастаясь,  
Красотой не гордясь,  
Он заботливо-ласковый  
Там, где тень  
И где ясь.  
И закон непреложный  
Раскрывается в нем:  
В мире можно  
И должно  
Наслаждаться трудом.

ВЕСЕЛЬЕ

Веселье — это застолье?  
Не обязательно, нет!  
Просто гляжу на свет,  
С тупой расправившись болью.  
Телесной? И то не всегда.  
С той потаенной, сердечной,  
Против которой, конечно,  
Всякая боль — ерунда.

Веселье — чудесный миг,  
Когда, потянувшись к небу,  
Легко и свободно беседу  
С небом ведешь напрямик.  
Когда покажется вдруг,  
Что силы запас не растрочен  
И светлая дева Удача  
С тобою стоит сам-друг.

ТАЛАНТ

Ты воля и неволя.  
Ярмо и добрый дар.  
Непаханое поле.  
Нетушенный пожар.  
  
Всю жизнь веди ретиво  
Крутую борозду,  
Чтоб встать над нею нивой  
У солнца на виду.

Труд вечен и упорен,  
И все ж бывает так,

Что сам себя под корень  
Из поля, как сорняк.

Но вновь, не унывая,  
Склоняйся и паши, —  
Торопит зерен стая  
По закромам души.

А ты горишь пожаром,  
И надобно уметь  
С твоим бесценным даром,  
Сгорая, не сгореть.

ТАЛАЯ ВОДА

Отвык, забыл, теряю слово, —  
каура, пега ли, гнеда,  
а может, попросту солова  
несется талая вода.

Хлестнет, крутятся под сапогами,  
плеснет по всем ступенькам чувств.  
Землею пахнет и снегами...  
А какова она на вкус?

Об этом ведают лишь вербы  
да эта птаха на суку.

Кто-кто, а уж они, наверно,  
словцо подкинули б в строку...

А я ломлю сучок набухлый,  
и отдает его излом  
не брагой и не медовухой...  
Но тут совсем не надо слов,—

характер слов неблагодарен,  
грубят они исподтишка.  
И то сказать, какой же парень  
не знает этого душка.

ПЕТР I — МАТВЕЕВУ<sup>1</sup>

Ты орден посули ему, продажному.  
Андреем Первозванным одарю!  
Да намекни, что оный мы не кажному,  
А токмо ближним жалуем к царю.

Ты в лапу обещаю ему, паскудному,  
Сто тысяч для начала отпущу.  
Клейнот с моей парсуною огрудною  
Свези ему... Ужели не польщу?

На титул росский возымел желательство?  
До княжества российского охочь?  
Реки ему, что мы без отлагательства  
Сие почтенье оказать не прочь...

Стрельцы мою венчанную да шалую  
Оттяпают, придишь, и — поделом!  
Я князем его Суздальским пожалую,  
Потешу Мономаховым столом.

А буде сим не соблазнится именем,  
Владимирским величьем нареку!..  
Ты про Златы ворота помяни ему,  
Про Кляземку, прясную реку...

<sup>1</sup> Стремясь прекратить войну со Швецией, Петр I поручил своему дипломату Андрею Артамоновичу Матвееву вести секретные переговоры с правительством Англии, имевшим влияние на шведского короля Карла XII.

Де Мальборо, Джон Черчилль — князь  
Владимирский,  
Ужель не страм, не поношенье нам?  
А буде оной не польстится вывеской,  
Так я ему сибирский титул дам...

Красна земля, заветная, особая,  
Причуден паче Индий дальний край.  
Хвалить почнешь, так ты ему на соболя,  
На горностая ту же напирай.

Субсидий чаёт, ренты — сиречь выдачей?  
Проматывай, прелестник бабий! Трать!..  
Скажи ему, что по полусту тысячей  
Ефимков битых на год будем дать.

В епистоле своей рукою собственной  
Сие ему означу, чтоб он сдох!  
Лишь токмо б он у Анны поспособствовал,  
О мире с королем нам воспомог...

Не страшен швед. Под Нарвой бит,  
под Калишем!  
Вельми напрактикованы уже.  
Мой Меншиков индо присел, оскалившись,  
И Шереметев мой настороже.

Востер король, а в Польше горе мыкает,  
А перелезь-ка он Березину,  
Изведаёт, как я его калмыками,  
Башкирцами спотыляя резану.

Не задарма фортуна с нами дружится —  
По сорок пушек ставлю на редут!  
Да мне его, коль сбечь не удосужится,  
Голубчика, без шпаги приведут,

Без парика добудут, с голым темечком  
Возьмут, коль не сгадает ускакать!

\* \* \*

Мозаики сверкучие квадратцы,  
подернутые рябью времена...  
Лишь ноженьки сумели к нам добраться,  
ни руки не дошли, ни рамена.

Суставцев переливчивые вспышки,  
сандалий византийских блескотня...  
Лишь правой сухопарая лодыжка  
да левой сухожилая ступня.

По острому, зыбучему стекольцу,  
по времени, сквозь мрак его и тлен,

Не швед страшон, а время жалко,  
времечка, —  
Мне строить надо, а не всевать...

Из трех любое величанье древнее  
Пущай Мальбрук сей выбирает сам...  
Лишь токмо б порадел о замирении,  
Словечком поспешествовал нам.

идут, да так, что, скручиваясь в кольца,  
стеклянный воздух рвется у колен...

Идут они, а чьи они — незнамо,  
какой такой грядет архистратиг?  
И сгинул чудодей, и все же с нами,  
рассыпался, а все-таки достиг.

Не бог, не царь, не схимник, не апостол  
и не послушник божий, что пречист,  
и не угодник-подхалим, а просто —  
один художник, грек, мозаичист...

Глеб Еремеев

## АВГУСТ

Растрепа август, рыжий и босой,  
Вдвоем со мной бродил по Подмосковью,  
Пока меня не обдало любовью,  
Тяжелой, знобкой утренней росой.

Но только август и не понял даже,  
Что первая любовь всегда взрослей  
Самих мальчишек и зачем на страже  
Всю ночь стоять у желтых тополей.

Не понял он, какое это счастье —  
Бессмысленно дежурить у ворот:  
Ему легко в осеннее ненастье  
Нести дары от солнечных щедрот

И он, роняя яблоки со стуком,  
Ушел в туман по влажному жнивью,  
А я любовь остался ждать свою,  
Готовый не к свиданьям, а к разлукам.

# Валентин Кузнецов

## ПЕРЕВАЛ

Нет ни железа, ни огня,  
Нет ни воды во мне, ни соли.  
Чем тяжелей моя броня,  
Тем ошутимей чувство боли.

Я не из тех лихих рубак,  
Которым все осточертело.  
Хоть не увесист мой кулак,  
Не уступлю, дойдет до дела!

Я не из легких. Я из тех,  
Кого беда не сторонилась.  
Но мне сопутствовал успех,  
Когда вокруг братва теснилась.

И, всем гаданьям вопреки,  
Судьба с меня снимала стружку.  
Я сам порою лез в силки  
И попадал друзьям на мушку.

И то, что я мишенью был,  
Я забывал, как сон вчерашний.

И все же друг точнее бил,  
Чем враг, нахрапистый  
и страшный.

Бывало так: и я, как зверь,  
Шел на друзей напропалую,  
Теперь в кругу своих потерь  
Я раны старые бинтую.

А где-то гложнут соловьи  
И солнце прыгает по вербам.

Где вы, товарищи мои?  
Я среди вас считался первым.

Да. Без меня друзья смогли  
Осилить страх и бездорожье.  
До перевала все дошли,  
А я остался у подножья.

Но я в архив себя не сдал,  
Мои дела не так уж плохи.

Я к вам приду на перевал,  
Хотя бы на последнем вздохе!

# Борис Рахманин

## ОБЩЕЖИТЬЕ

Над пустым двором, над садом мокрым,  
где к лицу лишь воробьям ютиться,  
проплыла и села на помойку  
странная, невиданная птица.  
Сокол, что ли? Даже как-то лестно...  
В мокрый сад поспешно выбегаю...  
Ну конечно! Этот клюв железный  
вряд ли подошел бы попугаю.  
Сокол?! Да! Не раздражайтесь смехом,  
ничего здесь нет смешного, бросьте!  
Разве не пришел к нам соболь в гости,  
жизнь свою спасать, рискуя мехом?  
В долах огороженных изверься,  
из лесов, светлеющих, как плечи,

к нам бегут, вертя хвостами, звери,  
птицы опускаются на плечи.  
Редко хлеб чужой бывает сладок,  
по своей мы это знаем коже,  
но спящим красотою взгляды —  
на помойках рыться им не гоже!  
Нет, не испарится, будто в тигле,  
с нашей добротой живой криница!  
Не стесняясь пусть орлы и тигры  
от людских щедрот идут кормиться.  
И — бог даст — слоны не измельчают,  
голос льва, как прежде, будет зычен...  
Неудобств почти не замечая,  
заживем мы дружным общежитием.

## Анатолий Брагин

### ОКА

Красива Ока на изгибе,  
И всюду она хороша.  
Привольно гуляется рыбе  
Под сенью ее камыша.

Идет, про себя напевая,  
И песенка эта легка:  
«Калуга — Ока луговая,  
Кашира — Ока широка...»

Меняет она постоянно  
Ажурных мостов пояса.

Рассыпчата, вроде песчана  
Ее золотая коса.

Весною ее, непоседу,  
Не в силах сдержать берега:  
Она убегает проведать  
Свои заливные луга.

Луга напоив, как живая,  
Уйдет — и опять песняка:  
«Калуга — Ока луговая,  
Кашира — Ока широка...»

## Вячеслав Богданов

### СВЕТУНЕЦ

Ходят ветры вечерние кротко.  
Гнутся травы от росных колец...  
Новый месяц обрámился четко,  
Наполняйся огнем, светунец!  
Каждый раз, поднимаясь в долине,  
Из простора лугов и полей,

Зачерпни свет серебряно-синий  
И обратно на землю пролей.  
Будут корчиться тени убого,  
Ослепленные острым огнем...  
И никто не собьется с дороги  
В неподкупном свеченье твоём...

## Николай Година

### В МАГНИТОГОРСКЕ

А мне запомнилась сирень,  
Так неожиданно и юно,  
Среди железа и сирен  
Магнитогорского июня.

Качались рыжие дымы,  
Как дирижабли, вдоль Урала.  
И тихо радовались мы  
Всему, что пело и орало.

Жара невидимо плыла.  
И солнце снизу оплывало.  
И блажь такое нам плела,  
Чего и сроду не бывало.

Она затмила все, как мгла.  
Она сиренью называлась!  
На ней у бойкого угла  
Безбожно тетка наживалась.

Ее ломал, по-детски рад,  
Какой-то пьяненький дурила.  
Ее дарили всем подряд,  
И всем себя она дарила.

Букет в руке, цветов в губах...  
А город, представая зренью,  
Железом мужественно пах  
И очень женственно — сиренью.

3





НА БЕРЕЗОВОЙ ЗЕМЛЕ

Каждой родине — честь!  
Каждой родиной можно гордиться.  
Но и родина вправе  
восславить, отвергнув — забыть.  
И чтоб стать россиянином —  
мало в России родиться,  
Мало быть из Воронежа,  
чтобы воронежским быть.  
Я живу своей родиной  
в день и погожий, и хмурый.  
Но, любя ее синь  
и березовый запах ветров,  
Не любой бородач в ней —  
сусанинской гордой природы,  
И не в каждом подростке —  
мужающий Петя Ростов.  
И в тревожные дни,  
когда степи от гари прогоркли  
И разнузданной свастике  
небо затмить удалось,  
Разве кто-то забыл,  
как топтались под ней барахолки?  
Разве кто-то не слышал  
угрюмого слова «донос»?  
Но когда полицай  
на лес партизанский косились,  
Их трясла и озлобленность.  
Да. И жестокость, и страх, —  
Потому, что они  
откупались ценою России.  
Потому, что случайно  
ходили в ее сыновьях.  
А Россия не только  
осенних полей позолота,  
И не только речушка  
в плывущем тумане лугов.  
А Россия еще —  
это мать не вернувшихся с фронта,  
Это внуки глядевших  
в глаза Ильичу ходоков.  
Мы в соборах стоим  
молчаливо у выцветших фресок,  
Письмена разбираем,  
над пылью столетий корпя,  
Только Родина —  
это и хлеба блокадный довесок,  
И горячие слезы,  
и бой,  
и огонь на себя.

Чтобы стать россиянином —  
 мало в кафтаны рядиться.  
 Верный сын и во фраке —  
 ей сын, как судьба ни горька.  
 Но чтоб это пришло,  
 все же нужно в России родиться.  
 Первый шаг чтобы — в ней,  
 да и первый глоток молока.

## Валентина Мальми

### ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВОЗРАСТ

*Памяти Ю. А. Гагарина*

1

У Мавзолея голубеют ели.  
 И над страной развернут алый стяг;  
 проходит летчик в голубой шинели  
 с погонями майора на плечах.  
 Наверное, от самой колыбели,  
 под ясным небом родины лесной,  
 его глаза счастливо голубели  
 бездонною от века синевой!  
 Проходит летчик, всем колумбам равен,  
 а где-то тренировочный полет,  
 полковник авиации Гага р и н  
 последний раз садится в самолет.  
 Нетороплив улыбчивый полковник,  
 а небо все грустнее и грустней...  
 Майор себя полковником — не помнит!  
 Не знает он о гибели своей.  
 У Мавзолея голубеют ели,  
 и тихо, сквозь качающийся снег,  
 проходит летчик в голубой шинели  
 с майорскими погонями навек.

2

В час, когда валился, искорежен,  
 самолет, чуть-чуть не дотянув,  
 стыли, обезумевши, березы,  
 белые колени подогнув!  
 Телетайпы бредили, бесились,  
 и, убрав за тучи синеву,  
 припадало небо, обессилев,  
 к золотому сыну своему...

Вот и все! Он прожил по-советски.  
 В нем боец с поэтом обнялись.  
 Вот и все... И где-то под Смоленском  
 памятник встает, как обелиск.  
 Ни в кожанке больше, ни в шинели  
 не вернуться соколу домой, —  
 грозовые весны отшумели  
 над его бедовой головой!  
 Русь моя — от Волги до Урала!  
 Как же так, что воскресить нельзя?!  
 И уже выходят в генералы  
 капитаны бывшие — друзья...  
 Мужеством земля не оскудеет,  
 кровью золоченная из ран,  
 и уже седеет, ах, седеет,  
 неулыба, мудрый Андриян!..  
 А ему — не рано и не поздно!  
 Алый-алый не тускнеет след.  
 Продолжайся, л е р м о н т о в с к и й  
 в о з р а с т,  
 двадцать семь непогасимых лет!  
 Двадцать семь гагаринских, каленых!  
 В двадцать семь он космосом крещен!  
 Космонавты строятся в колонны.  
 и Гагарин братством освещен!

3

Наш век останется за нами,  
 как самый первый звездолет.  
 Пусть, как развернутое знамя,  
 стена Кремлевская цветет!

В ней прах Гагарина укрыли —  
 как будто знаменем накрыли.

А журавли в апреле снова  
прокличут сокола с собой,  
но он печально и сурово  
смолчит под Красною стеной,—  
как будто знаменем накрыли  
его израненные крылья...

Но всякий раз, когда ликуют  
и плачут в небе журавли,  
хочу я смерть его лихую  
отнять у неба и земли!

Хочу, чтоб небосвод раздался  
и звезды хлынули рекой,  
чтоб он стоял и улыбался,  
раскинув руки широко!

В хрустящей летчицкой кожанке,  
в земле измазав сапоги,  
дышал мечтательно и жадно  
и никогда бы не погиб!

4

Он Шар Земной улыбкой согревал,  
он праздновал, мечтал и горевал.  
Недосыпал. За четверых работал.  
Любил спуститься к речке до зари...  
Он хлопцами командовал, как ротой,  
и рота отрывалась от земли!  
Он жил, наполнен прелестью России,  
густыми перезвонами берез,  
метелицей, что стелется красиво,  
просторами, что стелются до звезд!  
Одoleвал лихие перевалы.  
Дарил цветы счастливою порой.  
Он хоронил друзей. Сжимал штурвалы.  
Бродил с ружьем. Возился с детворой.  
Так пусть таким из мрамора и бронзы  
воскреснет светлолицый человек!  
Бушуют на Смоленщине березы,  
у скорбной ниши осыпая снег...

Лев Таран

### ОЖИДАНИЕ

Машины приходили поздно ночью,  
Чтоб до поселка подвезти рабочих.  
Ребята, разомлевшие со смены,  
Садились у конторы на ступени  
И засыпали — тихие — мгновенно,  
Склонивши головы девчонкам на колени.  
А те их сон неловко сторожили,  
Чубы тугие нежно ворошили.  
И хоть самих качало — не будили,  
Жалели их,  
А может быть, любили.

\* \* \*

Ну что, скажите, гонит россиян?  
Забиты поезда и самолеты.  
К чему все переезды, перелеты?  
Зачем я собираю чемодан?

Сижу, лицо уткнувши в кулаки...  
Что происходит?  
Что же происходит?

Вот плачет мать. Сын из дому уходит.  
Он поцелуй стирает со щеки.  
О чем шофер вполголоса поет?  
Облизывает губы...  
От жары ли?  
И грузовик — с хвостом прогорклой  
пыли —  
Похож на реактивный самолет...



## НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Уйдет в былое  
Много ярких встреч,  
Но встречу ту запомню  
До могилы,  
Мать-Родина!  
Не опускай свой меч.  
Земля еще  
От битвы не остыла.

Евгений Ерхов

22 ИЮНЯ

Кричал петух  
среди бела дня,  
как из десятого столетья —  
посередине лихолетья,  
на гребне  
нашего плетня.

Отец обнял нас, пацанов,  
и мать  
ладонью рот зажала:  
от древних берегов Каяла  
уже катился  
гром щитов...

\* \* \*

*М. Максимова*

И год,  
и два,  
и тридцать лет  
иду  
за памятью вослед...

ни отчего не унываю:  
еще  
сытнее лебеды  
я в жизни  
ничего не знаю.

Шагну на ощупь. Босиком!  
тропу ступнею  
угадаю —  
вновь  
пятилетним босяком  
под гору  
обручи катаю!

И хорошо мне,  
и легко,—  
как будто  
солнце бродит  
в теле!  
И так еще мне  
далеко  
до самой маленькой  
потери...

И никакой вокруг  
беды —

В РАЙОНЕ УЧЕНИЙ

За лесом  
ахнуло орудие,  
а здесь — такая тишина!  
На ветке  
птаха красногрудая  
невозмутимости полна.

И сам себе кажусь я  
странным  
в непо потревоженном бору —  
не с туесочком берестяным,  
с противогазом  
на боку...

## Александр Булавин

### УТРО НА ЗАВОДЕ

Начало дня, смолкают разговоры,  
Уже зажжен в цеху неяркий свет.  
Нажаты кнопки, и поют моторы.  
Увереннее звука в мире нет.

И вижу, над токарным наклонился  
Парнишка, щупловат и невысок.

Не сразу получилось, но трудился  
И все же подчинил себе станок.

А под резцом деталь, вращаясь, тает.  
Есть у нее предел — своя черта.  
Иную жизнь она здесь обретает:  
В ней ясность мысли, сердца теплота.

## Диомид Костюрин

### СТОЛБЫ

Сквозь тревоги и даты,  
В тихий час и в невзгоды,  
Не ропща,  
Не сгибаясь  
От нелегкой судьбы,  
Словно ставшие частью  
Российской природы,  
Вдоль дорог бесконечно  
Шагают столбы,

До конца не сменяясь,  
Разомкнутым строем.  
На рассвете они  
Вдалеке голубы.  
Что таилось когда-то  
Под нежной корою  
Сколько лет,  
Сколько зим  
Не скрывают столбы.

Лишь гудят иногда,  
Но почти что бесшумно,  
Их тела.  
Что от ветров протяжных  
Рябы.  
Лишь прямые стволы,  
Что звенят, словно струны,  
Выбирают  
В зеленом лесу  
На столбы.

Чтоб они, вставши в ряд,  
В будни вечные встыли,  
Без корней,  
Без ветвей,  
Все как будто забыв.  
Разве можно представить  
Просторы России,  
Чтоб вдоль долгих дорог  
Не стояли столбы?

\* \* \*

Костер трещит, огонь мерцает,  
Закат над речкою потух,  
И юнкер Лермонтов читает  
«Молитву юнкерскую» вслух.

И юнкера в ответ хохочут,  
И кто-то «браво» говорит.  
Отбой трубит начало ночи,  
И лагерь дремлет, лагерь спит.

А Лермонтову все не спится,  
И слушает он не спеша,  
Как время ширится и длится,  
Как к небу тянется душа.

Вот он постель свою оставил,  
И улыбнулся тишине,  
И под Мартыновым поправил  
Подушку, сбитую во сне.

Хорошо, когда поэт приходит в поэзию поздно.

Хорошо для читателя. Он избавлен от ученичества, от экспериментов, от черновиков, притворяющихся беловиками. Леса убраны, случайные черты стерты. Если не самим художником, то самим временем.

Хорошо это и для поэта. Он — зрелый человек, живший, думавший, чувствовавший. Мысли у него не списанные, а свои. Переживания — не заемные, а пережитые.

Многие первые книги критики справедливо определяют словом «заявка». Владимир Жилин пришел не с заявкой, а с книгой.

Ему без малого сорок лет. Он окончил педагогический институт, учительствовал в городе и на селе, много лет работал инженером по организации радио- и телепередач.

Но Жилин был подолгу — грузчиком, инструктором пожарного дела, инструктором санпросвета. И сейчас, работая художником в художественной мастерской, не отказывается, как говорят, таскать мешки и ящики.

У людей, умеющих работать и головой и руками, в стихах бывают свои, только им присущие, краски. О тружениках они пишут по-своему, не сверху вниз, не снизу вверх, не сбоку, а изнутри, с полным пониманием предмета.

У Жилина есть опыт жизни и заработанное чувство причастности к народному труду, но у него есть и поэтический талант. Слова его стихов, по сути дела обыкновенные, обиходные слова, располагаются так, что доброта поэта, его улыбка, его здравый смысл, его восхищение людьми вызывают немедленный отклик в душе читателя. Применяя есенинский оборот, скажу, что сила поэта, может, и небольшая, но ухватистая.

Множество стихов писалось и пишется для Аполлона, для вечности, для поэтической лаборатории.

Жилин пишет для людей, точно зная, к кому он обращается.

*Борис Слуцкий*

## УТРАЧЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

То, верно, были вязы или яворы,  
а может, проезжали мы дубравами,  
но я запомнил: дупла настороженны,  
и скопища листвы порастревожены,  
и будто все кругом знакомо издавна,  
такое повторённое, старинное, —  
и грузовик, и храпы лошадиные,  
и крик (телега скрипнула, как  
вскрикнула),  
и меркнувший закат над Украиною.  
И потемнела тень догадки страшной:  
я жил когда-то, был уже однажды!  
Такой же мальчик на тюках в отчаянии  
твердил, как заклинанье, песню нянину  
(«Ихалы казаки, пидманули Галю»),  
а «ястребки» над нивами сгорали.  
...И думал он сперва: эвакуация —  
то лютый край, застужен злыми ветрами...  
И понимал, что счастье отменяется,  
и даже знал, что больше он, наверное,

не встретится с такими вот деревьями  
и не увидит, кроме нарисованных...  
И все сбылось. И в жизни я лесов таких  
уж больше не встречал. Пейзажи трогали,  
медовыми казались и багровыми.  
Учитель в Газыре, я шел посадкой  
вдвоем с коллегой, милым другом Славкой,  
и разрыдался он от песни газырской,  
а мне хоть что! На юге ли, на севере —  
езде не с теми знался я деревьями,  
а те — как бы с лица земли исчезли.  
Лишь иногда ловлю себя: в музей ли  
зайду, или склонюсь над переплетом —  
темнеют с репродукций и с полотен  
старинных итальянских мастеров  
деревья  
мною потерянных миров.  
Ах, неужели, Леонардо, неужели  
и вы в грузовике, как беженец, сидели?



## САЛЮТ ПОБЕДЫ

И он схватил и круто бросил  
мальчонку робкого, меня,  
ракетой в синий сад салюта,  
в цветные заросли огня.

Могло лишь Дерево Победы  
подобной кроной обладать!  
А в небо били лейтенанты,  
палил полковник и солдат.

По крышам сыпал тяжкий, спорый  
свинцовый дождь — последний  
дождь.  
Прохожий был седой, в тельняшке,  
но на Матросова похож.

И обнимал меня, и плакал  
седой Матросов без ноги,  
и в каплях по суровым скулам  
летели синие огни.

Генрих Рудяков

## КИРГИЗИЯ

Киргизия, копыта горных речек  
Грохочут по обрывам напрямик.  
От жгучих слов гортанного наречья  
За тридцать лет в Москве я не отвык.  
Киргизия, меня ты приютила,  
Когда из разоренного гнезда  
Безжалостной войны тупая сила  
Меня, мальчишку, бросила сюда,  
В края лесов и гор и незнакомых  
Обычаев, пристрастий и судеб.  
И все же — здесь, оторванный от дома,  
Я возмужал душою и окреп.  
Здесь я прошел в училище пехотном  
Железный курс науки строевой,  
Здесь лейтенант, комвзвода Заболотный  
Готовил нас для жизни фронтовой,  
Он драил так, что было не до смеха,  
И, словно гвоздь, вколачивал урок.  
Отсюда я на Волховский уехал,  
Когда моей учебы вышел срок...  
Киргизия, разбег и грохот речек,  
Дымки лавин на склонах снеговых,  
И нежный звон серебряных уздечек,  
И мужество наездников твоих.

\* \* \*

Если детство короче, чем надо,  
значит, молодость будет длинна.  
Хоть в цветах обгоревшего сада  
все еще проступает война.

Будоражат весенние соки  
застарелый осколок в стволе.  
Но у дерева — корни глубоки.  
Но у дерева — ветви в листве.

Пусть размах созревания сдержан,  
все на совесть идет —  
не на страх.  
Только в яблонях привкус железа.  
Только привкус войны на губах.

\* \* \*

Кому-нибудь крыльцо лепное,  
тупик — порог.  
А мне — заросшее, лесное  
кольцо дорог.

Кому-нибудь ковриги сладость  
с огня на стол.  
А мне — нечаянная радость:  
полей простор.

Кому-нибудь неприрученной  
печали звук.  
А мне — больную лебедь черную  
кормить из рук.

Кому-нибудь пора настала  
других любить.  
А мне — ни много и ни мало:  
любимой быть.

## Николай Зиновьев

### СЕВАН

У каждого горя людского  
светлое озеро есть.  
Льдинку несущ с Чудского,  
пусть растворится здесь.

Сын синевы Севан.  
Эхо летит под откос...  
Сын синевы Севан —  
лобное место звезд.

Плыть на спине с утра.  
Белым крестом застыть...

Всей глубиной добра  
озеро учит любить.

Алой зари туман  
перед водой замрет...  
Сын синевы Севан  
крови не признает.

Но помолчи. Взгляни,—  
может ли это быть? —  
там, у камней, в тени,  
озеро  
просит  
пить...



## Вячеслав Куприянов

\* \* \*

Слушайте дятла у своего виска:

Хорошо быть всегда,  
как женщина, молодым  
и жизнь не делить  
на детство, зрелость и старость,  
но делить ее  
с детством, зрелостью, старостью.

Не стреляйте в сокола в небе:  
он несет ваши мысли.

Не пугайте соловья  
в своем сердце.

Так играйте с детьми,  
говорите серьезно со стариками.

Не гоните жар-птицу  
со своего плеча.

Выпустите мотылька  
из своей горсти:  
у него своя правда.

Слушайте  
дятла  
у своего виска.

## Николай Карпов

\* \* \*

Мир не разучен наизусть,  
Еще не выверен и зыбок.  
Лежит невидимая грусть  
За частоколами улыбок.

Как голубое озерцо,  
Что в желтый берег плещет ясно,  
Мое веселое лицо  
Всем говорит, что жизнь  
прекрасна...

\* \* \*

Не надо даже быть поэтом,  
Чтоб разглядеть в машинный век,  
Каким глубоким синим светом  
Сияет сумеречный снег.

Увидеть гнутые колонны  
Деревьев, рвущихся в полет,  
И как прохожий отдаленный  
В морозном воздухе плывет.

На фоне дымчатом и черном,  
В угаре дыма и огней,  
Клочок природы обреченной  
Еще дороже и родней.

Под закопченным небосводом  
Одеты в камень берега.  
Мы наступаем на природу,  
Как на заклятого врага.

Перекроив моря и сушу,  
Мы не вписали в счет потерь,  
Как врачевали нашу душу  
Пейзаж, растение и зверь.

И тем печальнее сознание,  
Что нашим внукам суждено  
Увидеть снежное сияние  
На вернисажах и в кино...

## Григорий Кружков

Стихотворения Григория Кружкова типичны для нашей молодой поэзии. Вот те черты, в общности которых читатель сможет обнаружить своеобразие стиля молодого поэта:

Склонность к парадоксу:

Природа бескорытна и легка  
И оттого детей своих моложе.

К экстаичности переживания:

...мечусь с неизвестною целью  
Над прозрачной, над белой метелью...

К метафоричности:

Солнце ударило по ксифону теней.

К изобразительности, преувеличенной за счет достоверности переживания так называемого «лирического героя» стихотворения.

Как известно, живое существо в своем развитии переживает стадии развития своего вида. Редкие русские поэты в своем детстве переживают ломоносовский классицизм, но романтизма им не миновать. Не миновал его, как мы видим, и Григорий Кружков. Пусть это так, пусть в своем стремлении к преувеличенной изобразительности он делает даже ошибки против языка («зажмуриял» вместо «зажмуривал»), его муза при всем том свежа и привлекательна, дерзость ее на поверку не оказывается наглостью и смелость — нахальством. Преувеличения Кружкова оправданы (если не для его читателя, то для него самого) влюбленностью в жизнь, в действительность, в реалию, и мне кажется, что в его случае склонность к парадоксу еще даст жизнь нужной читателям мысли, экстаичность переживания перерастет в уверенную твердость духа, умеренная метафоричность, полководье изобразительности войдут в естественные берега, замыслы поэта прояснятся и Григорий Кружков перейдет из неисчислимых рядов «молдых» поэтов в ряды поэтов подлинных.

В молодом романтизме есть своя прелесть. Юрий Олеша когда-то воскликнул: «Как хорошо быть молодым и ездить на велосипеде!» Я тоже в том возрасте, когда езда на велосипеде представляется нам романтической. Велосипедистов очень много. Очень много молодых поэтов. Григорий Кружков принадлежит к тем из них, в кого верится, хоть он и сам будто любит своей способностью вертеть педали. Верьте мне, это будет хороший поэт. В его стихах есть залог той свободы выражения чувств, без которой подлинная поэзия немислима.

*Арсений Тарковский*

## КЕРОСИН

Три литра хлюпают внутри.  
Какой-то дед ворчит мне в спину:  
— Ты, малый, полегчей бери —  
Ведь так расплещешь половину...—  
Ну вот и все. Теперь — домой.  
Насилу выбравшись из давки,  
По снежной улице прямой  
Иду из керосинной лавки.  
Похвалит мать: — Вот умный сын!—  
... Лед под ногой... Не поскользнуться!  
Бидон без пробки, керосин  
Разлит поверху, как по блюду.  
...Знать, в очереди я простыл,  
Озноб какой-то бьет гриппозный...

И голубой, как керосин,  
Пылает небосвод морозный.  
Рука немеет... Вот сейчас  
Сменить бы, чтобы полегчало!  
Но сто шагов (даю приказ)  
Я должен отсчитать сначала.  
Наверно, той еще порой  
Я понял хитрую науку  
Терпенья, детской игрой  
Обманывая боль и скуку.  
Как будто это немцы бьют,  
Молчу, не подавая вида.  
— Где штаб, скажи! А то — капут! —  
А я молчу и штаб не выдам.

## ДЕТСКИЕ РИСУНКИ

Природа  
                  бескорытна и легка  
И оттого  
                  детей своих моложе,  
Кудлаты и летучи облака —  
Ни на какого зверя  
  не похожи.  
  
Зигзаги молний,  
                  расчеркавших мрак,  
Каракули травы в сыром овраге —

Тем и милы,  
  что вышли кое-как,  
Что в них усердья  
  меньше, чем отваги.  
  
И все созвездья,  
  что в ночи видны,—  
Как телескопы вы на них ни пяльте! —  
Случайны,  
  и наивны, и смешны,  
Как детские рисунки на асфальте.

## ГРОЗА

Был серый день, как круг точильный,  
Когда внезапно, смяв на миг  
Дыханье, вихрь взметнулся пыльный  
И раскрутился маховик!

И своды повернулись. Тучи  
Закрыли свет одним рывком.  
И воздух, в молниях колючих,  
Искрит, как сталь под наждаком.

Удар — и защититься нечем!  
Не видно, омут или брод,  
Когда тебя возьмет за плечи  
И закружит и уведет  
В прсулки, в тесные аллеи,  
Где в щеки тычутся кусты

И розы влажные белеют  
И светятся из темноты...

А вон в саду хозяин в кепке,  
В плаще на майку — глупый  
  вид! —  
Волнуясь, дергает прищепки,  
Спасти рубашки норовит.

Полой прозрачную, стрекозой  
Взмахнет он, в сумраке блеснув,—  
И разлинут струй полозья  
Его хрустальный ватерпруф...

И все, что горе накопило  
На это самое число,—  
Дождем шумящим затопило,  
Шальной грозой унесло!..

Сергей Алиханов

\* \* \*

На лицах ваших стыдно мне читать  
Злорадства непотребную печать.  
Как часто, столь довольные собой,  
Смеетесь вы над жалкою судьбой.  
И с превосходством прозвучавший смех  
Меня печалит. Горько мне за тех,  
Из окон, из одежд, из бед своих  
Смеющихся над бедами других.

ХОРОШИЕ СЛОВА

Их красота безмерна и бездонна.  
И ты, любимая, сто раз права,  
Порой храним мы, словно скопидомы,  
Хорошие, великие слова.  
Стесняемся «люблю» сказать любимой,  
Стесняемся друзьям сказать «прости»  
И помогаем жизни суетливой  
Клубок обид и ревности плести.  
Молчат слова, не сказанные нами  
О женах, о родных, о матерях,  
Молчат слова и черными ночами  
Поодиночке плачут в словарях.

Олег Богданов

П. БАЖОВУ

Добрым сердцем, мудрыми руками  
Человек выковывает сказки.  
А потом они живут веками,  
Полные тревоги, боли, ласки.

Как лесной ручей, журчат в осоке,  
Соколом парят над буйной ширью,  
Чтобы корни мудрости не сохли,  
Чтобы чудо не иссякло в мире.

Вячеслав Левыкин

\* \* \*

Примятая, пятнистая трава  
И шорохи у лунного куста.  
Перенимаю легкие слова  
У каждого зеленого листа.

Но эта легкость с виду так легка,  
На самом деле это — простота.  
А простота, когда тверда рука,  
Становится естественной листа.

Осенний лист сорвется и летит.  
Весной пробьется новенький листок.  
А простоту душа всегда хранит  
И остужает пламенный висок.

А лист? Он — сложен, труден он.  
Прожилки как слиянья мелких рек,  
И в хлорофилле — верю! — есть нейтрон.  
Лист — сложен, труден, как и человек.

## Юрий Никонычев

### ПАМЯТИ РУБЦОВА

Сигарета за сигаретой...  
Ночь, как речку, не переплыть.  
Ты напишешь о том, об этом,  
Только б главного не забыть.

Десять раз занесешь в тетрадку,  
Сотни раз расскажешь друзьям,  
Как живется тебе несладко,  
Как не пишется по ночам.

Но, как прежде, беря все с бою,  
Эту речку осилишь в срок;  
Будешь плыть, подняв над собою  
Только главного узелок.

И, как прежде, веря в удачу,—  
Что ж, что берег в тумане скрыт,—  
Не опустишь руки, не заплачешь,  
Только будешь курить, курить

Сигарету за сигаретой...  
Ночь, как речку, не переплыть.  
Ты напишешь о том, об этом,  
Только берега может не быть...

Он появится с темной травой,  
С черной глиной. У чьих-то ног,  
Мокрый, выброшенный волною,  
Будет белый лежать узелок.

## Юрий Кузнецов

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шел отец, шел отец, невредим,  
Через минное поле,  
Превратился в клубящийся дым —  
Ни могилы, ни боли.

Мама, мама, война не вернет...  
Не гляди на дорогу.  
Столб клубящейся пыли идет  
Через поле к порогу.

Словно машет из пыли рука,  
Светят очи живые.  
Шевелятся открытки на дне сундука —  
Фронтвые.

Всякий раз, когда мать его ждет,—  
Через поле и пашню  
Столб крутящейся пыли бредет,  
Одинокий и страшный.

### ХОЗЯИН РАССОХШЕГОСЯ ДОМА

Среди пыли, в рассохшемся доме,  
Одинокий хозяин живет.  
Раздраженно скрипят половицы,  
А одна половица поет.

Гром ударит ли с грозного неба,  
Или легкая мышь прошмыгнет —

Раздраженно скрипят половицы,  
А одна половица поет.

Но когда молодую подругу  
Нес в руках в сокровенную тьму,  
Он прошел по одной половице,  
И весь путь она пела ему.



КРАСНАЯ ОЛИВА

О красное дерево рая,  
Рябина моя золотая,  
Олива рязанской земли,  
Спой песню, как ветер Мамаю,  
Кровавые слезы ломая,  
Растаял в кровавой пыли!

Под облаком степи вчерашней,  
Под облаком скорби всегдашней,  
Под сизым орлиным крылом,  
Над пламенем бронзовой пашни,  
Над временем розовой башни  
Рябина качала челом.

На медленных медных медалях,  
Забываясь о мелких деталях,  
Писали ее на Руси  
Федоскино, Мстера и Палех  
В каких-то приближенных  
далях,  
В какой-то далекой близи.

Склонялась и пела рябина  
И два быстроглазых рубина  
Роняла незрячей рукой.  
И красное дерево рая,  
Над красной землей догорая,  
Качалось над красной строкой.

Лариса Миллер

\* \* \*

И день и ночь, и день и ночь  
Я вижу дальних крыльев трепет  
И слышу отдаленный лепет  
Всего, что улетает прочь.

И не могу остановить  
И взять, как бабочку, за крылья,

И бесполезны все усилья,  
И безнадежно рвется нить.

А если б даже и могла,  
Кому нужна такая доля —  
Сжимать два бьющихся в неволе,  
Два рвущихся из рук крыла?

\* \* \*

Жизнь побалует немного —  
Я хочу и дальше так:  
Чтоб светла была дорога,  
Чтоб незыблем был очаг,  
Где желанна и любима,  
Где душа легко парит,  
Где под окнами рябина  
Чудным пламенем горит.

# Владимир Леванский

Трудно вводить молодого поэта в книги и в сборники.  
Всегда кажется, что поэтов много. Но это неверно — их не хватает. И стихов не хватает.

Поэт — это не аккомпанемент в картине мира, а показ четкости и противоречий мира.

Поэт Владимир Александрович Леванский не украшает мир, а старается показать мир. Его книга еще в наборе, но он сам не в начале пути; он проехал первые станции, когда люди-поэты радуются, что они попали в вагон.

Он едет в нашем жестком, широком мире. Мир для него понятен, и он сам для нас не ласковый проводник.

Этот поэт ясно и четко видит образы мира, и эти образы — ступени трудного понимания изменяющегося мира.

По профессии В. Леванский математик, его занятие — техническая кибернетика. Судя по нему, эту сложную науку стоит вводить в семинары поэтов. Они тогда легче поймут, как тесны и как нужны ворота в истинное понимание.

*Виктор Шкловский*

\* \* \*

Дождик — веселый малый —  
сделал из луж цимбалы.  
Его прозрачные пальцы  
вытенькивают весенний  
ясно-зеленый звон.

Катится красное солнце,  
и вырастают повсюду  
смущенные фантазеры,  
ершистые сорванцы,  
красные, как помидоры,  
зеленые, как огурцы.

\* \* \*

Начинается полет.  
Подо мною приседая,  
алый конь копытом бьет,  
вьется грива золотая.

За рекою, по лугам,  
табуны отзывно ржали.  
По курчавым облакам  
наши тени пробежали.

Задышаться начал я.  
На коне белеет пена.  
Страшно вертится земля,  
удаляясь постепенно.

Спеленал движенья зной,  
нас не видно и не слышно.

Между небом и землей  
мы повисли неподвижно.

Что мне в жаркой красоте!  
Что мне конская свобода!  
На подобной высоте  
не хватает кислорода.

То ли дело табачок  
да бутылка самогонки,  
едет старый мужичок  
на мохнатой лошаденке.

Носом яблоко клюет,  
смутно видит, засыпая:  
алый конь копытом бьет,  
вьется грива золотая.

## ШАРОДЕЙСТВО

Шар-вапа, краска;  
шародейство — изображение  
красками, живопись.

*Владимир Даль,  
«Толковый словарь»*

Шародейство — живое слово.  
Раскатились краски-шары.  
Чародейство икон Рублева  
или радуги детворы.

Сотворение мира — тоже  
шародейство.

Да будет свет!  
Шародействуй,  
художник —  
боже! —  
Над шарами  
звезд и планет.

## Ольга Чугай

### СТИХИ О СТИХАХ

Это самая опасная игра:  
Все труднее оторваться от пера,  
И под пальцами колючий холодок:  
Слово — молния — бумага — руки —  
ток!  
Невозможно разуменью научить —  
Легче птицу от полета отлучить.

# Леонид Латынин

## СТИХИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕ

Поклон горе Поклонной от меня,  
Оврагам обвалившимся поклоны  
И вам, открытые перроны  
Давно оставленного дня.

Поклон покорный отчей крутизне  
И мудрости ненынешней закваски.  
Вам, запахи родные, краски,  
Всегда живущие во мне.

Поклон земле, что мной любима,—  
Сухой и твердой почве, не земле,—

Золе потерь, надежд золе,  
Что этой почвою хранима,

Версте, воде, веретену,—  
Раскручивай, кому обязан,—  
Замшелым непокорным вязам,  
Еще бессоннице и сну,

Всему, что било и несло,  
Всему, что плакало и пело,  
Всему, что научило тело  
Жизнь полюбить и ремесло.

## Лидия Степанова

\* \* \*

Когда уходят люди из домов,  
Дома ветшают в десять раз быстрее,  
От ливней, от пронзительных ветров  
Не по летам стремительно старея.  
И даже тот, смешной и старый гном,  
Кленовыми сугробами завален,  
И тот глядит единственным окном  
В прохожего и шепчет: не хозяин!  
Он лишь ему, прощаясь, дал обет:  
Мол, буду ждать, цела покуда

крыша.

Но человека нет уж столько лет!  
Видать, забыл, а может, не услышал.

\* \* \*

Наедине с собой кто не искал,  
Как выхода из замкнутого круга,  
В серебряной поверхности зеркал  
Себе и собеседника и друга.  
Не с зеркалом беседея, не с ним,—  
С самим собой все глубже,

все неспешней,

Покуда самый взгляд не стал двойным:  
Одновременно внутренним и внешним.  
Не внутренним, скорей со стороны.  
(Припомнились ученых уверенья:

От слепоты мы тем и спасены,  
Что глаз не знает внутреннего зренья.)  
Ну что ж, сам-друг, не опуская век,  
Продолжим поединок наш упорный.  
Ты, слава богу, светлый человек:  
В том смысле, что не страшный и не черный.  
Я тростью, на есенинский манер,  
Не запущу в тебя и для потехи.

И все же, отчего ослеп Гомер,  
Когда смотрел на медные доспехи?



ПЕСНЯ

*Г. И. Коновалову*

Что-то на душу навалилось.  
Что-то бродит вокруг, знобя...  
Балаковский Дом инвалидов —  
синькой крашенный особняк.

Ах, вокруг — зелено и весело.  
Мне, приедем, трын-трава!  
Только слышу из окон песню я —  
невеселые в ней слова.

Там за шторкою  
за бежевой,  
все отдав в том неравном бою,  
примостившись с иголкой,  
бережно  
кто-то штопает старость свою.

Там сидят, на минуту поникшие,  
нарушая режим и уют,—  
и поют они песню давнишнюю,  
уж такую теперь не поют...  
И лежат их награды нелегкие  
в белых тряпочках — целую жизнь!

ЛУГА

...Милый край, как холодно и сыро  
стало вдруг в твоей степной тиши.  
Не спугни вечерних мыслей сына —  
тех прозрений зреющей души.

В это лето я печально вторю  
ранней грусти поймы луговой,  
той, что скрыта незнакомым морем —  
чересчур тяжелою водой.

Уж не встать, не выпрямить тугую  
наливную, молодую стать...

И поет,  
задыхается летчик,  
культы горестные сложив.

А безногий — танкист бывалый,  
тянет ввысь,— голова седа...  
Так поют они,  
как убывает  
в речке  
осенью  
вода.

И как прежде,— тогда, в окопах,  
молодыми,— теперь старики,  
вот поют они песню  
и штопают  
свои старые пиджаки...

Им бы зелени этой — подольше бы.  
Им бы солнышка день хотя б...  
Но под окнами,  
но под окнами  
невеселый стоит сентябрь.

Глубоко на дне луга тоскуют.  
Может, плачут —  
слез не разобрать.

И проходит летечко, проходит  
непривычно как-то для лугов,  
и плывут над ними пароходы —  
что-то вроде белых облаков.

Но глядят на небо сквозь глубины,  
на чужие вовсе облака,—  
будто слышат, как мычит скотина  
на крутых вечерних берегах...

ОСЕННИЙ РОМАНС

Не печалься, что утро такое  
и последние гасят огни,—  
ну а если приснилось плохое,  
ты рукой на плохое махни...

Торопясь поскорее вернуться  
и к друзьям, и к делам поутру,  
это главное — просто проснуться  
и застыть у окна на ветру!

Все, что мы второпях начинали,  
мы теперь доведем до конца

и, рукою махнув, все печали  
отведем, словно дым от лица.

Мы недаром постигнуть сумели  
посреди городской кутерьмы:  
не окончена жизнь, в самом деле,  
если вновь просыпаемся мы.

И печалиться рано, покуда  
можно в утренний сумрак вбежать,  
ждать трамвая и веровать в чудо,  
ясно думать и просто дышать.

\* \* \*

Вовеки не оставит нас  
старинное гостеприимство  
в микрорайонах без прикрас,  
куда к товарищам стремимся.

В субботу, милый, жди гостей,  
а с ними в комнату ворвется  
гул современных новостей  
и привкус первого морозца.

Нам возвращаться хорошо  
домой от дорогого друга...  
Твое открытое лицо  
впотьмах облизывает вьюга!

Фонарь над лестницей горит,—  
и что-то в этом есть такое,  
что нам спокойствие дарит,  
не оставляя нас в покое...

Борис Авсарагов

ВЕСНА

Еще вчера преобладала  
Над чернотой белизна,  
А в ночь с подземного вокзала  
Наружу двинулась весна.

Дышала в скважинах природы  
Она, незримая в ночи:  
Почти неслышимые роды,  
Едва приметные ручьи.

Земные поры отворила,  
Стряхнула прах над родником.  
А утром вдруг заговорила —  
Державным, чистым языком.





КАНАТНЫЙ ХОД

В огромном цирке гаснет свет.  
Стихает гул рядов.  
И только по арене след  
Цветных прожекторов.

Песчаный круг, куда глаза  
У всех устремлены,  
Затягивает людный зал  
В воронку тишины.

Под вздутым куполом легко  
Колблется канат.  
И вот в сияющем трико  
Выходит акробат.

Он делает привычный жест,  
Кивает в темноту  
И брошенный коверным шест  
Хватает на лету.

Стоит он, медленно дыша  
И набираясь сил.  
Сейчас пойдет, в руках держа  
Тяжелый балансир.

Покачиваясь пробежит,  
Играя с высотой,  
И проволока не задрожит  
Под твердую ногой.

Иди свободно по струне,  
Превозмогая страх,  
Вдруг вспыхивая на стене  
В прожекторных кругах.

Над непомерной высотой  
Подольше протяни —  
Случайно с ниточки тугой  
Смотри не соскользни.

Александр Зорин

СНЕГ В АПРЕЛЕ

Ну и метель из бела рукава!  
На изумруд, на киноварь апреля.  
Стояла вся последняя неделя  
в отвесном солнце. Брызнула трава.

Озолотив подножия дубов,  
мать-мачеха рассыпала веснушки.  
Уже вовсю, курлыча про любовь,  
в канавах безобразные лягушки

справляли свадьбы.  
Ожил человек.  
Дом смастерил для беззаботной птицы.  
Прибил повыше.

Но ударил снег  
в лицо ему свинцовой рукавицей.

Куда ты, к черту, ломишься, зима!  
Куда с порога спихиваешь лето!  
Сошла с орбиты или же с ума,  
наверно, сумасбродная планета.

Опять дубы, как в пору давних вьюг,  
стоят, широколобы, неуклюжи...

На каждый шорох выбегаю. Вдруг  
ты не приедешь. Побоишься стужи.

## Лидия Жданова

Перед читателями «Дня поэзии» — стихотворения нашей гостьи, поэта, живущего в Риге, — Лидии Ждановой.

Решающая черта ее в том, что Лидия Жданова живет внутри нашей истории, внутри русского корнесловия. Очень интересно стихотворение «Петровский парк»: речь идет о молодом еще Петре Великом, о его будущей жене Екатерине Первой — пока марки-тантке русского войска, петровских преображенцев и семеновцев.

Впрочем, все это ясно высказано в стихотворении.

В стихах Ждановой нашла свой живой отголосок и жизнь трудящихся Латвии, рыбаков и столяров.

Итак, мы принимаем новую гостью и встречаем ее с уважением и нежностью.

*Павел Антокольский*

### ПЕТРОВСКИЙ ПАРК

Петровским парком тишина бредет,  
И льнет к пруду она, и льнет к деревьям,  
Во время оно здесь была деревня,  
И женщина жила в ней без забот.

Бредет Петровским парком тишина,  
И тишина никак не понимает,  
И тишина чуть-чуть поражена,  
Зачем усатый пареня пробивает  
Своим веселым, звонким топором  
Еще одно окно. И все на Запад.  
Цветет жасмин. Дурманит парня запах.  
А тишина все думает о том,  
Зачем под старым вязом у пруда  
Простолюдинка-женщина хохочет  
И стать царицей русскою не хочет,  
Простившись с отчим домом навсегда.  
Ах, шельма. Белокурая лифляндка,  
В обозе коротающая дни!

А царь взбешен, услышав хохот пьяной,  
Не в меру подгулявшей солдатни.

Пух тополиный в городе Петра  
Садится на собор Петра и Павла.  
Давно уже лифляндка умерла,  
Но до сих пор ей очень-очень странно  
Лежать среди коронованных особ.  
Ей, выскочке, походной маркитантке,  
Царице русской. Но не хочет гроб  
И трон считаться с табелем о рангах.

Петровским парком тишина бредет,  
И льнет к пруду она, и льнет к деревьям,  
И существом загадочным и древним  
Навстречу лебедь белая плывет.  
И с ней таинственно сопряжена  
Ночь. Боже мой, какие в Риге ночи!  
Бредет Петровским парком тишина,  
И женщина под вязами хохочет.

### СТАРЫЙ БАТУМ

Здесь вкус еды дразняще резок.  
Поют. Играют на пандури.  
Красавицы с античных фресок  
Едят шашлык и хачапури.

Едят. Облизывают пальцы.  
Боятся не мужей, а плетки.  
Седые толстые аджарцы  
Садятся с криканьем в пролетки.

Увы, как старость всех калечит!  
Под ними кони гарцевали

И цокали грузинской речью:  
Цховели, цхали, генацвале.

В крови бунтарство и сиротство,—  
Бродяги, воины, офени.  
А нынче старости уродство,  
Кальян, турецкие кофейни.

И в темноте крошечной ночи,  
Вложив в зурну последний жар,  
С тоской поют они про очи,  
Про ночи всех своих Тамар.

## СТАРАЯ РЫБАЧКА

Хозяйка топит печку и поет,  
Поет тоскливо, не поет, а плачет.  
Пустует дом, и перевелся скот,  
Здоровья нет, а значит, нет удачи.  
Уехал сын, и вышла замуж дочь  
За городского (он хороший парень),  
Но плачет ставень за стеной всю ночь,  
И некому его теперь поправить.

Поет хозяйка, что уже давно  
Рубанок и верстак тоскуют в клетки,  
Что ветер высадил на чердаке окно,  
Что бросили ее и муж и дети,  
Что жизнь проходит и вот-вот пройдет,  
Что нет улова — не идет салака.  
Хозяйка топит печку и поет,  
Поет она, а ей бы впору плакать.

## Александр Орлов

### СОЛНЦЕ И СОСНА

Солнце по небу катилось,  
Загляделось на весну  
И лучами зацепилось  
За высокую сосну.

Солнце вырваться пыталось,  
Но не вышло ничего:

На сосне висеть осталось  
Тело рыжее его.

Для сосны настало лето.  
И до самой до земли  
Ручейки тепла и света  
По стволу ее текли.

\* \* \*

Сорви цветы, поставь их в вазу,  
Любуйся ими и владей!  
Цветы не умирают сразу  
В унылых комнатах людей.

Но знай — ты видишь только тени  
В стеклянной вазе на столе,  
А красота живых растений  
Навек подарена земле.

## Сергей Красиков

\* \* \*

Веселый смех звенит и льется,  
Как через рожицу ручей...  
От счастья женщина смеется,  
И небеса звенят над ней.

Откуда эта безмятежность  
Нежданно к женщине пришла?

Какая светлая надежда  
Ее на крыльях вознесла?

Под чьим лучистым, чистым взглядом  
В ней звонкий смех заговорил?  
Кто подарил ей эту радость  
И счастьем душу озарил?

## Михаил Шевченко

\* \* \*

Зачем же посылать проклятья в спину  
Сынам, ушедшим далеко вперед?  
Не лучше ль попытаться возраст скинуть  
И двинуться за ними в свой черёд?

А если вас в пути оставят силы,  
Пусть же старость мужество родит.  
Благословите у свсей могилы  
Сынов, идущих гордо впереди.

\* \* \*

Не клянись именами великих,  
Тени прошлого зря не тревожь.  
Вместо всей суеты и крика —  
Ты мне правду вынь да положи.  
Я ее попробую на зуб  
И, возвышен твоей судьбой,  
Без оглядки, навеки и сразу  
Даже в ад пойду за тобой.

## Надежда Мальцева

\* \* \*

Почти настигнута волною  
Голубизны, глаза открою —  
Стою высоко на горе.  
Такие ветки, небо, звезды  
В пустынном этом январе.  
Вальсируя, мерцает воздух.  
И свет, как поцелуй, скользит  
По телу женскому березы,

И снова в голосе не слезы —  
Тревога странная сквозит.  
О, выйди, выйди, березняк,  
Навстречу мне и просто так,  
Без долга, без причин для дара,  
Последний листик подари —  
Тот, голубой, чрез январь  
Сюда слетевший с веток старых,  
Уже коснувшихся зари.

## Сергей Суша

### АВТОКОЛОННА

Вспотели  
Молодые спины...  
За сизым инеем —  
Ни зги!  
Как муравьи,  
Ползут машины  
В бездонный котлован тайги.

У ручейка  
С названьем Крона  
Мы встретим первую весну.  
Десятый день  
Автоколонна  
Срывает с веток тишину.

## Виктор Гофман

\* \* \*

Шаги, огни и тротуар  
в ноябрьской грязи,  
мельканье фар, Тверской бульвар...  
Не вырвать из груди!

Театр, ограда, институт,  
и скверик посреди,  
и тот товарищеский суд...  
Не вырвать из груди!

\* \* \*

Слева — то же море, на беду,  
справа — деревянное жильё,  
тоненькая девушка в саду,  
напевая, вешает белье.

Год прошел, а кажется — вчера;  
чудится в печальном забытии:  
встречи мимолетные, жара,  
шлепанцы купальные твои...

И свет высоких фонарей,  
и площадь впереди,  
и светлый памятник на ней  
не вырвать из груди!

И дух бульварного кольца,  
и шепот в забытии,  
и строчки, строчки... без конца!  
Не вырвать из груди!

В небе — то же солнце, на беду,  
в море — те же лодки вдалеке...  
Что я потерял? Чего я жду  
на сухом скучающем песке?

Волны набегают на песок,  
убегают, набегают вновь,  
тоненький девичий голосок  
напевает песню про любовь.

## Алексей Кондратьев

\* \* \*

Годы, неумные метели,  
Непроглядные для наших глаз.  
Неужели это в самом деле  
Было в первый и в последний раз?

Неужели все дома и лица,  
Встречи и прозрения пути

Не имеют права повториться,  
Не имеют права не уйти?

Но тогда  
В последний миг на свете  
Пусть одни останутся права:  
Слышать, как легко смеются дети,  
Чувствовать, что колетса трава.

### ПРОСЬБА

Сочиню я другую судьбу  
И пошлю всемогущему богу,—  
Пусть архангел поднимет трубу,  
Возвещая большую тревогу.

Загремит над моей головой:  
— Поскорей обратите внимание!  
Человек недоволен судьбой!  
Надо срочно менять мирозданье!

\* \* \*

Лесосеки да болота.  
Бормотанье косачей.  
Эй, косач краснобородый,  
пой тетерке горячей!

Но в глуши сидят в засаде,  
беспощадны, как судьба,  
и кривые когти всадят  
молодые ястреба.

А змея в траве дремучей —  
с черным выводком змеят,  
и шипят змеята в куче,  
и накапливают яд.

\* \* \*

Здесь туманился дымчатой вязью  
златоустовский синий булат.  
Камнерезы гранили вазы  
для своих и заморских палат.

А из каменной дикой кудели,  
из уральского горного льна,  
рукавицы в огне  
не горели,  
не боялись рубахи  
огня!

Чтобы камушек ярче сверкал,  
старый горщик,  
знаток тороватый,  
самоцветы в хлеба запекал,  
баба в печку  
сажала ухватом...

Ну а кто же  
верхолазит,  
кто по веткам шасть да шасть?  
Белка черным хитрым глазом  
смотрит с кедра, не страшась.

Я бреду без ружьяца.  
Ты подай мне, белка, лапку!  
Может быть,  
твоя прабабка  
здесь же видела отца...

Шел он тоже без двустволки,  
беззащитных не губил.  
Может, зайца спас от волка  
и змееныша убил!

Край не зря в глубину изрезан.  
И ковались  
с петровской поры  
из добытого здесь железа  
чуть не все на Руси  
топоры!

Косарям на зеленых покосах  
и врагу наш металл был знаком.  
Русь косила  
уральскими косами,  
отбивалась  
уральским штыком!

Где огонь, и железо, и грохот —  
тяжесть века лежит на плечах.  
И зарницами звездной эпохи —  
голубое сиянье  
в печах!

## КРЕМЕНСКИЙ ТРАКТ

Обычный тракт. Ревущий «МАЗ».  
Березки, как во время оно.  
А Михаил Илларионыч  
Здесь ехал к войску  
В трудный час.

Здесь мужики и бабы русские  
Впряглись в телегу  
В дождь и грязь,  
Чтобы нашествие французское  
Побил скорей светлейший князь.

В лаптях, босые, в армяках,  
Корявые,  
Устав от бега,  
Переносили на руках  
Через овражины телегу.

И пахло над землей грозой.  
Бил ветер.  
Дождь пускался в пляс.  
И вдруг туманился слезой  
Светлейшего  
Печальный глаз.

## Нина Королева

\* \* \*

Живет во мне крестьянка,  
Живет любовь к земле,  
И тихость полустанка,  
И звон ручья во мгле.  
И пристальность речная,  
И озорство дождей,  
Я — как земля,  
Ручная  
Для солнца и людей...

## СУББОТА

Кружится кружевом  
Речка Быстриха,  
Бабы до бани  
Полощут белье,  
Хлещут вальками,  
Работают лихо...  
Кажется, бунт  
Учинило бабье.

Юбки подоткнуты,  
Пружинятся икры.  
Солнце в платках,

Точно в цветах,  
Речка, как лошадь,  
Гарцует  
Сердито:  
Тяжко субботу  
Держать на плотях.

Ох, вы, родимые,  
Бабы-умелицы —  
Ольги, Прасковьи,  
Настасьи, Аксиныи...  
Вроде вальками

В разлуку вы целитесь  
И выбиваете боль  
Что есть силы.  
Я не сказала б,  
Наверно,  
Ни слова,  
Пусть себе хлещут  
Бельишко вальками,  
Но гимнастерка,  
Совсем еще новая,  
Сохнет у речки  
На выпуклом камне...

## Игорь Федорин

### ПЕТРОВНА

Как быстро бегаёт Петровна!  
И на дворе,  
и на меже  
она, как девушка, проворна,  
а ей за семьдесят уже.

Сварить и курам, и индюшкам,  
потом — к телянку со всех ног.  
Как будто крыша над избушкой —  
извечный надо лбом платок.

Из-под горушки тащит ведра.  
И — с виду — ноша ей легка.  
И тычется теленок мордой  
в ее колени и бока.

К гостям от печки легким станом  
метнется — стол для мисок мал.  
— Старик-то пьет?  
— А то! Стаканом!  
— А зять?  
(Скора на суд): — Вповал!

Весь день одна —  
старик при стаде,—  
не просит ей ни в чем помочь.

К гостям на миг один присядет —  
сама рюмашечку не прочь.

В жару цыплят покличет звонко,  
насыплет в сенцах им кормок.  
Под мешковину их, в плетенку:  
там, в сенцах, самый холодок.

Так целый день она в заботе.  
Вот старику несет обед.  
— Ключ там, под камушком,  
найдете. —

И пронеслась.  
Глядим ей вслед.

Идем к избе походкой ровной  
по нижней стежке, так прямей.  
Глазам не верим: уж Петровна  
нас поджидает у дверей.

Платка знакомая расцветка  
и фартук серенький, рябой,—  
как хлопотливая наседка,  
чей клюв мелькает над травой.

## Игорь Иванов

### В БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСАХ

В декабре плывут морозы  
По долинам узких рек.  
Подмосковные березы  
Согревает только снег.

И на веточках-ресницах,  
Как слезинки, стынет лед.  
...В тишине березам снится  
Сорок первый гулкий год.

Неужели эти дали  
Полыхали наяву,

Люди грудью прикрывали  
Путь-дорогу на Москву?

И у дальних полустанков,  
И у ближних деревень  
Шли с гранатами на танки  
Вот в такой же ясный день.

Белой вьюгой замедает  
Время память у солдат.  
Но в лесах березы знают,  
Где убитые лежат.





4



ЖЕНА

Красива и смела,  
пошедшая за мной,  
ты матерью была  
и ты была женой.

Ты — все мое добро,  
достоинство и честь,  
я дал тебе ребро  
и все отдам, что есть.

Как мысли и судьбе,  
лопате и перу,  
я отдал все тебе  
и все с тебя беру.

Дождем меня омой,  
печаль моя и смех,  
корыстный подвиг мой  
и мой невинный грех.

Халатик свой накинь,  
томительно ходи,

откинь меня, отринь  
и снова припади.

И снова погода  
неслышно, будто рысь,  
нахлынь не отходя,  
не уходя вернись.

Дыханием одуй,  
возьми, как вышний бог,  
мой первый поцелуй  
и мой последний вздох.

Оплачь невторопях,  
мне речи не нужны,  
пусть скатится на прах  
слеза моей жены.

Забудь меня, забудь  
по счастью своему...  
А я с собою в путь  
одну ее возьму.

*25 декабря 1955 г.*

ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО

Трудно мне — да нет, не это слово,  
не сказал я этим ничего.  
Грустно мне и пусто без Светлова,  
без поддержки дружеской его.

Плохо мне без этого поэта,  
хоть его по году не видал,  
понимая все-таки, что где-то  
он острил, писал и выпивал.

Не шуми, мое четверостишье,  
вспоминая сдержанно о нем.  
Жили у него под общей крышей  
пафос и ирония вдвоем.

Пафосу несколько не мешало  
то, что, возникая между строк,  
светом потаенным освещало  
подвиги героев...

*1972*

*Публикация Т. В. Стрешневой*

## Сергей Орлов

\* \* \*

О нем уже не скажут плохо,  
Нельзя, обычай не велит.  
Ушла, ну, скажем, не эпоха,  
Им срок сегодня не велик,  
А скажем проще — странствий муза  
С кленовой дудкою в руке  
В казенном ватнике кургузом  
И в новомодном пиджаке.  
Ее запомнят и забудут  
И вновь откроют, как звезду.  
Она была собою всюду,  
Хлебая славу и беду.  
В ней жарко красный лозунг дышит  
О пролетариях всех стран,  
И нежный цвет забытых вишен  
С нее слетал к лесным кострам.

И строки, словно из мороза,  
Из тающего серебра,  
Звоня, ложатся, жгут, как слезы,  
Существование добра.  
Ах, Ярослав Васильич, милый,  
Товарищ Яра, Ярослав!  
На Новодевичьем могила  
Уже травую заросла.  
А в достославном Цедееле  
Дни календарные летят.  
И там, где с Вами мы сидели,  
Иные гении шумят.  
И так, бывает, станет тошно,  
Что лишь один спасает вдруг  
В грядущей дали невозможной  
Твоей кленовой дудки звук...

## Владимир Костров

\* \* \*

*Памяти Я. Смелякова*

Вот лежит он,  
притихший мой крестный,  
на последней постели своей...  
Отчего этот год високосный  
так и косит  
хороших людей?  
Новодевичье.  
Горькая местность.  
Три гвоздики в усталой руке.  
Провожаем его в неизвестность  
в деревянном простом пиджаке.  
Рядом в штатских пальто  
и в мундирах.  
Он пришел из железных цехов  
и уходит простым бригадиром,  
строгим мастером  
русских стихов.

## ЯРОСЛАВ

Ярослав жил на Большой Молчановке, улице, ныне в значительной степени поглощенной Новым Арбатом — проспектом Калинина. Старый одноэтажный материнский дом нашего товарища стоял там, где сейчас стеклянные небоскребы. Но и этот одноэтажный дом поэт назвал «мой высокий московский дом».

Ярослав работал в типографии, находившейся неподалеку, на склоне московского берега. («В окно врывается закат, а за окном — река», — сказано в «Смерти бригадира».) На месте типографии теперь здание СЭВ.

Первые стихи Смелякова поразили всех. Они были очень прочно привязаны к быту и обстоятельствам Большой Молчановки.

Вдруг оказалось, что все обыденное и само собой разумеющееся в высшей степени поэтично. Все, что он с бесстрашной наивностью вводил в поэзию, жило вокруг нас.

Комната смеха, высмеянная им, находилась на Никитском бульваре; беспартийный инвалид с гитарой постоянно околачивался около ворот его дома; «застенчивый вор» действительно однажды забрался в его форточку; бригада его стала хозрасчетной, и это новое слово дважды прозвучало в стихах; женщина, которую он любил, жила в Бауманском районе, он считал необходимым сообщить об этом всему миру.

Мы познакомились с Ярославом в феврале 1930 года, я уже однажды писал об этом. Но при жизни Ярослава и в связи с тем, что мы встретились на вечере Маяковского в Большой аудитории Политехнического музея, я писал тогда не о Ярославе, а о Маяковском. И те всего несколько строк о Смелякове мне придется повторить сейчас.

Да, мы познакомились у входа в Политехнический. У нас не было билетов, но мы не допускали и мысли, что уйдем домой не солоно хлебавши.

Нам повезло. Появился Маяковский с рукописями в руках, с палкой, в шершавом пальто с поднятым воротником.

Маяковский протащил через контроль целую охапку безбилетников, в том числе и нас.

Свободных мест, конечно, не было, и нас, уже как гостей Маяковского, усадили на край низкой сцены, лицом к публике.

Мы очутились как раз под трибуной.

Этот вечер Маяковского Ярослав воспроизвел с высокой поэтической точностью в стихотворении «Я помню вас»:

Не в тот ли день,  
не с этих ли подмосток  
вы и вошли  
в грядущие века,  
как близкий к близким,  
запросто и просто,  
надув ветрами парус пиджака.

(Между прочим заметим: строки Смелякова начинаются не с прописной буквы, как это было тогда и поныне есть у всех его сверстников. Он хотел отличаться от других и умел это делать разнообразно.)

Была на вечере этом перепалка с «оппонентами» из публики, но настал и тихий период, Маяковский завладел залом.

Ярославу обстановка показалась слишком чинной для вечера Маяковского. Мы оба были впервые «на Маяковском», а может быть, вообще впервые на литературном вечере. Нам казалось, что должна происходить битва, схватка, свалка, а тут Маяковский просто читал стихи... Ярослав начал громко ворчать. Это у него, семнадцатилетнего, выходило очень забавно. Он и меня укорял за тихое поведение, называл паинькой и маменькиным сынком. Мы спорили под самой трибуной, явно мешая Маяковскому.

Он перегнулся через дубовый борт трибуны и с мрачной ухмылкой произнес:

— Неважный у моего памятника сегодня барельеф!

Зал громко хохотал. Ярослав назидательно шепнул мне:

— Не робей, привыкай.

Домой мы пошли вместе — мы оба были в общем-то арбатские ребята, нам оказалось по пути. Но не сразу мы отправились в свои края: мы ушли с вечера, наверное,

последними, мы видели, как уходил одинокий Маяковский. Мы видели его тогда в последний раз...

Так началась наша дружба, прошагавшая потом более четырех десятилетий.

Мы часто встречались, и встречи эти были целиком и полностью заполнены стихами. Читали друг другу только что сочиненное, читали только что прочитанное (тогда и чужие стихи и свои запомнились мгновенно, иные и сейчас держатся в памяти — куда прочней, чем недавние...).

Было бы неточно утверждать, что не было у нас обычных юношеских увлечений и интересов, но все они оборачивались в стихи.

Ярослав повел меня в редакцию «Огонька», занимавшую особняк вблизи площади Пушкина. Работавшие в литотделе «Огонька» писатели Ефим Зозуля и Александр Гатов создали литературный актив из молодых рабочих московских заводов и фабрик. Вдохновителем этого дела был неутомимый Михаил Кольцов, но практически работали с молодежью Зозуля и Гатов. Зозуля был хлопотливым и заботливым организатором. Типичный интеллигент, он, поддаваясь духу времени, не слишком жаловал выходцев из интеллигенции. Членом литактива «Огонька» мог быть только рабочий — что называется — «станочник». Я всего лишь учился в педагогическом техникуме (после семилетки), рабочим еще не был. И Зозуля меня не принял. Смеляков за меня заступился, добился того, чтобы меня включили в литактив.

Там сходились замечательные ребята. По-разному сложились их судьбы, не все стали писателями, но все приобрели за эти почти полвека достойные биографии.

Многие «огоньковцы» погибли на войне — Зарубин, Абросимов, Николай Васильев...

В литактиве состоял замечательно начинавший поэт Василий Сидоров. Его стихотворение о сапожнике вот такой строфой завершалось:

А если придется шагать бездорожьем,  
Нагану глядеть в насмешливый ствол,  
Я буду весел и пьян, как сапожник,  
И буду знать свое мастерство.

Это четверостишие Ярослав помнил всю жизнь. Помнил он и стихи Александра Филиппчука:

Я рад, что Анка—вузовка,  
Что лучше не найдете,  
Что вся такая музыка —  
Моя любовь к работе,  
Я рад, что ночью ливень,  
Что он, как детский мяч,  
Приливлен и отливлен,  
Бушующ и шумящ.

Обратите внимание на строку безвестного поэта «...любовь к работе» и вспомните, впрочем, достаточно знаменитое название первой книги Ярослава «Работа и любовь». Тут схожесть и родственность несомненны.

Смеляков знал наизусть стихи Алигер, Коваленкова, Александра Шевцова, Сухарева, Резчикова и других своих сверстников.

Мы шли все вместе. Не такое уж плохое название было у нас — «обойма». Но тот, кого Зозуля называл «Смеляковчик», был, наверное, первым из нас.

Я уже отметил, что Смеляков тащил в стихи все, что творилось вокруг. Вот с истории с вором сперва были стихи, а потом уже подробности действительно имевшего место происшествия.

Ярослав был наборщиком высокой квалификации, ударником. Однажды он показал мне гранки, над каждой из которых стояло «Смеляков. Смеляков...» и тогдашнее сегодняшнее число.

Удивительное совпадение, доброе счастье: рукопись книги «Работа и любовь» была направлена издательством в ту типографию, где работал Ярослав, и по плану попала ему для набора. Дважды повторенная на гранке фамилия означала: наборщик — Смеляков, автор — Смеляков.

Ярослав прошел нелегкий путь. Он не любил вспоминать некоторые жестокие и страшные свои годы, а теперь, вспоминая поэта, мы не имеем права делать то, что было бы нашему товарищу и тяжело и неприятно. Я только должен ясно и определенно сказать, что у Ярослава никогда не было стихов двусмысленных, произведенных, которые могли бы быть использованы нашими недругами. В 1957 году, явно рассчитывая на скользкий успех, к Смелякову пристал один «специалист» по советской литературе, прибывший из-за границы и околачивавшийся около поэтов. (Потом, вернувшись на Запад, он оказался заурядным подтасовщиком и клеветником.) «Специалиста» принимали гостеприимно, так ведь у нас всегда. Но Ярослав

сразу, что называется, «послал» этого типа...

Мне сейчас легче вспоминать о первых годах и первых наших поэтических тропинках потому, что уже в глубине шестидесятых и семидесятых годов мы при каждой встрече невольно втягивались в воспоминания юности.

Ярослав был привержен к годам своей юности, молодой герой его зрелых стихов всегда как бы беседует с юным автором и с юностью автора.

Конечно, вспомнили мы однажды день знакомства, вечер Маяковского... И Ярослав сказал, что пришел в Политехнический со стихами в кармане, очень хотел отдать их Владимиру Владимировичу на прочтение, на суд, для того и шумел, чтобы обратиться на себя внимание. После насмешки Маяковского стихи передать ему не удалось, так Ярослав и не услышал мнения Владимира Владимировича о своих первых опытах.

Зато стихи Маяковского Смеляков знал отменно. И когда в апреле 1930 года мы шли в толпе-процессии от улицы Воровского до крематория за гробом поэта, Ярослав читал наизусть «Про это», «Флейту-позвоночник», «Облако в штанах» и, конечно, «Во весь голос».

Смеляков — поэт резко выраженной индивидуальности, его всегда узнаешь и отличишь. Но формирование «смеляковского» стиха происходило не в бесстиховом пространстве. Конечно же строки из стихов «Про товарища»:

...Мимо сумрачных животных  
и железных петухов —

в какой-то степени навеяны Николаем Заболоцким.

Прекрасно влияли друг на друга грубоватые хорей Ярослава и блистательно изящные хорей Павла Васильева; с полным правом и большим тактом Смеляков называл себя младшим братом Бориса Корнилова.

Ныне забытый поэт Леонид Лавров подтолкнул Ярослава на белые стихи.

У нас была заповедь: учиться у всех поэтов, но постараться не попасть под влияние кого-либо из них («как под трамвай») и оставаться собою.

С такой, как тогда было принято говорить, «установкой» Ярослав учился у Маяковского, у Багрицкого, у Асеева...

Однажды я заметил у Смелякова в стихотворении «Страх» «маяковскую» рифму: «даром — жандармы» — и сказал ему, что рифма эта была в «Советском паспорте». Ярослав ответил мне, что сам неожиданно, когда стихотворение было уже опубликовано, тоже обратил внимание на чужую рифму. А не потому ли она появилась, что Маяковский был наставником этого стихотворения?

Свой первый большой «афишный» литературный вечер мы с Ярославом проводили вдвоем в Комаудитории МГУ. Решили читать стихи вперемежку. Нам уж не помню кто — кажется, Семен Кирсанов — посоветовал написать на афише тезисы. Мы их составляли двое суток, — если бы нас не торопило «бюро выступлений», наверное, нашей подготовительной деятельности не было бы конца.

Тезисы были туманны, загадочны, они нам казались весьма увлекательными, мы были уверены, что публика, прочитав афишу, валом повалит на наш вечер.

Написали мы и такой тезис: «С кем мы боремся?»

С кем же мы боремся? Ярослав предложил в качестве поэта противоположного нам по своим «установкам» Дмитрия Кедрина. Он поэт грустный, а мы веселые. Верно? Значит, мы с ним боремся, а он, вероятно, с нами.

Однако накануне выступления мы сели перечитывать Кедрина, чтобы найти цитаты, годные для полемики. Читали и все более и более увлекались. «Куклу» сразу выучили наизусть. Я и сейчас помню это замечательное стихотворение. Оно нас ошеломило. Ярослав сказал: «Подумают, что мы нападаем на Кедрина потому, что он пишет лучше нас, сильнее». Смелякова привело в восторг стихотворение Кедрина «Поединок», и он несколько раз пробовал написать стихи в ритме «Поединка», утверждая, что это очень современный размер. Между тем афиша уже красовалась на улицах, и мы по нескольку раз в день выбегали из своих коммунальных квартир, чтобы на углу вновь прочесть: «Вечер поэзии. Ярослав Смеляков и Евгений Долматовский».

Бурной литературной дискуссии в Комаудитории МГУ не получилось. Публики было много, но зал, что называется, не ломился, в проходах и на ступеньках не сидели. Вопросы нам задавали в виде записок. В третьем ряду, в самом центре, как



раз напротив нас, сидел Женя Абросимов и катал записки-розыгрыши, подписываясь разными женскими именами. Он так веселился, сочиняя записки, где кому-либо из нас неизвестная Люся или Муся назначала свидание, что мы сразу угадывали автора. Да и знакомого нам почерка он не менял. А записки, приходившие действительно из зала, были деловые, какие-то академические. Нам не удавалось парировать острые вопросы, да их и не было.

Когда уже выступление подходило к концу, кто-то с места громко спросил нас: «С кем вы боретесь?» — и Ярослав не очень корректно, но решительно ответил: «А вам какое дело?»

На этом вечер и закончился.

Потом был у нас — впервые в жизни — литературный выезд. Нас присоединили к «взрослой» писательской бригаде и отправили в Донбасс.

В бригаде были писатели Юрий Олеша и Иван Жига. Олеша очень полюбил Смелякова. Он пророчил Ярославу блистательную старость. Это его, Олеси, выражение. В области чисто литературной пророчество, кажется, сбылось...

В 1934 году Ярослав выпустил книгу «Счастье». На титульном листе было написано большими буквами: «Политическая лирика». Думаю, что в первый и, может быть, единственный раз этот термин был вынесен в заглавие книги. В книге было всего девять стихотворений. Почти все эти стихи Ярослав перепечатывал потом в однотомниках и двухтомниках. Стихи о Димитрове, прилетающем в СССР; это было в 1934 году, через год после прорыва фашизма к власти, Ярослав иронически припечатал:

Некрасивый мужчина  
Геринг  
грустно смотрит  
на облака...

В этой книжке были стихи о Первомае. Это стихотворение 1934 года можно и сейчас перепечатать!

Политическая лирика говорила о приближающейся войне:

Ну что же — а мне  
восемнадцать лет.  
Я буду в военной  
спецовке  
идти и держать  
в молодой руке  
молоденькую винтовку.

Пожалуй, именно Смеляков сумел подхватить и по-своему опосредствовать открытия Маяковского. Слово «пятилетка» в стихах Ярослава звучало, как признание в любви...

В 1932 году Ярослав писал:

Герой мой,  
он очень счастлив.  
Ему девятнадцать лет.

Он думает и смеется,  
работает и гуляет,  
целует своих девчонок  
почти что у всех ворот.

Сейчас он стоит и свищет  
какую-то глупую песню.  
И звезды стоят,  
как будто  
прикреплены к нему.

(Что означает последняя строка? Это не рисунок, звезды прикреплены не на одежду героя, они к нему прикреплены, потому что тогда очень типично было это прикрепление: к бригаде, к столовой, к распределителю. Вот почему звезды прикреплены...)

Очень опасно для поэта идти вперед не со своим поколением. Поэт может оказаться в положении смешном, может сбиться с шага. В этом смысле Ярослав Смеляков и его поэзия — чудо: счастливый герой девятнадцати лет был найден этой поэзией в разные времена на протяжении сорока лет, он и менялся, и оставался самим собой, и оказался близким нескольким поколениям.

## Владимир Дагуров

### В ГОСТЯХ У СМЕЛЯКОВА

С тощей папкой своих стихов,  
счастью выпавшему не веря,  
в семь утра,  
        как велел Смеляков,  
я предстал, трепеща, пред дверью.

Средь нахлынувшей тишины  
колыхались тени синклита:  
командармы гражданской войны  
и хорошая девочка Лида.

И взыскательны и резки,  
маяками из-под фуражки  
прожигали меня зрачки  
глаз надменных и синих  
        Яшки.

Очиненным карандашом,  
взглядом чутким и беспощадным

Смеляков колдовал над стихом —  
над подростком еще нескладным.

И добавил, грудю бумаг  
со стола сгребая в охапку,  
чтоб зашел я в универмаг  
и купил поприличней шапку.

Мне казалось, горы сверну,  
все, что надо, могу осилить.  
Но устало сказал «ну-ну...»  
мне вослед Ярослав Васильич.

Сигарету он мнет рукой,  
голос глух и сурова внешность —  
но под хмуростью той мужской  
я отцовскую чуял нежность.

## Феликс Чуев

### СМЕЛЯКОВ

Не было особенного шума  
от его пронзительных стихов,  
он казался грубым и угрюмым,  
Ярослав Васильич Смеляков.

И ругал нещадно,  
а прощали,  
потому что нежным был внутри,  
Мудрым Ярославом величали,  
понимали — что ни говори.

...Как впервые,  
        в день осенний снова  
(но тогда: на радость? на беду?),

как впервые,  
        снова к Смелякову,  
но теперь в последний раз иду.

Смена отработана.  
Да ты ли,  
как металл, от окислов устал?  
И стоят поодаль молодые,  
те, кому Державиным он стал,

те, кто был однажды удостоен  
этой строгой,  
но его любви,  
те, кого он собственной рукою,  
словно лодку, обстрегал:— Плыви!



## ШМЕЛЬ

Из безлиственного края  
серо-северных земель  
в разноцветный садик рая  
прилетел косматый шмель.

Он себе из многих спален  
выбрал розовый тюльпан,  
полчаса провел в тюльпане  
и с него поднялся, пьян.

Плыли клумбы,плыли клены  
под крылами у шмеля,  
как Эдем перевозеленый  
вся в цветах плыла земля.

Хорошо блуждать по миру  
без особо важных дел,  
и под вечер к нам в квартиру  
шмель торжественно влетел.

Он на чайнике увидел  
два анютиных цветка,  
но умчал от них в обиде,  
раздосадован слегка.

Он на чашку сел и замер,  
и застыли два крыла —

золотой цветок с глазами  
улыбнулся у стола.

Лепестком казались губы,  
полетел на лепестки,  
но шмеля от дивной клумбы  
отогнали две руки.

А когда в квадратном небе,  
что зовется «потолок»,  
засиял на длинном стебле  
лампы солнечный цветок —

он помчался к жаркой чаше,  
где сверкало и цвело,  
прикоснулся, и сейчас же  
обожгло ему крыло.

Белый свет осыпал мелом  
весь кафтан его цветной,  
но когда сгорал на белом,  
он смотрелся — золотой —

на единственный, тот самый  
непохожий на цветы,  
золотой цветок с глазами,  
горько плачущая ты.

\* \* \*

О Пушкин золотого леса, о Тютчев грозового неба,  
о Лермонтов сосны и пальмы, Некрасов полевого хлеба,  
о Блок мечтания ночного, о Пастернак вещей и века,  
о Хлебников числа и слова, о Маяковский человека!

\* \* \*

Икар снов —  
Кирсанов.  
— Красив он?  
— Рискован!  
В крови нас  
вон — искра!  
Новь риска  
и с кранов  
снов арки.

Кирсанов —  
к, ни сорван,  
к, ни совран.  
Кирсанов —  
вина срок,  
ковра синь,  
ор в санки,  
ворсинка!  
Он кривса —

с коварни!  
Крас. Новь  
ровесник.  
Сан крови  
рвани-кось,  
Кирсанов!  
Сравни-ко!

*Публикация Л. М. Кирсановой*

## ОБУШОК

Давнишний друг Александра Твардовского писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов однажды при встрече со мной стал с особенным пристрастием расспрашивать об острове на озере Великом. Выслушав, признался:

— С Твардовским туда поедем. На свадьбу.

— Александр Трифонович уже приехал?

— У меня гостит. Не забывает — спасибо ему — старика. Вот отдохнет с дороги — и в путь. Ближе к народу, к обычаям русским.

В кушалинских лесах, окруженное болотами, это озеро, как и соседние Святое, Щучье, — своего рода экзотическая жемчужина русской природы. Представьте себе непроезжую летом болотную трясинохлябь, за нею начинаются канавы-каналы, по ним в лодке можно добраться до озерной глыбы — и на островок, где красуется село Петровское. Названо оно так в честь Петра Первого, по повелению которого заселилась тверская глухомань; озеро (тоже в его честь) стало Великим. И это в 50—80 километрах (все зависит, как ехать) от крупного областного центра, от города Калинина. Площадь озера невелика — 64 гектара. Крестьяне издавна занимаются земледелием, рыболовством, разными ремеслами, сбором клюквы, которая родится тут в изобилии, крупная, с вишню, а вблизи низинных березняков и на вкус она особенная, не очень кислая, сладковатая, ее и зовут на рынках — березнячья.

Лучше, чем в других местах, островитяне сохранили старинные обычаи. Они-то, обычаи, и заинтересовали Александра Трифоновича и Ивана Сергеевича. А на счастье — хороший повод: родственники знакомого шофера из Карачаровского дома отдыха Саши Корюшина (распространенная у здешних рыболовов фамилия) свадьбу на острове справляют.

И мы поехали — они на «Победе», я, работавший в ту пору в центральной газете «Сельское хозяйство» (ныне «Сельская жизнь»), — на газике. По дороге останавливались то в одной деревеньке, то в дру-

гой, то просто среди поля. В селе Славное Иван Сергеевич, держа в руке потухшую трубку, показал ею на кузницу у дороги:

— Не забыл, Александр Трифонович, смоленскую, такую же?

Заглянули в кузницу. Поговорили с колхозными кузнецами. Александр Трифонович махнул раз-другой самым тяжелым молотом, потом взял одной правой рукой за конец рукояти и, к удивлению всех присутствующих, так занес молот за своей спиной, что обух очутился по-над левым плечом. Покраснев от напряжения, он тянулся-тянулся и наконец-таки, как ни трудно было, все же дотянулся губами до обуха, с гордостью поцеловал его и вздохнул, задумчивый, молчаливый, немножко опечаленный.

Пока здешние кузнецы пытались сделать так же (и все тщетно, никто не смог), Александр Трифонович с каким-то особенным вниманием оглядывал убогую кузницу и, мне казалось, вспоминал свою милую Смоленщину, босоное детство, мастерозитость отца-кузнеца.

— Выходит, не так-то просто обушок поцеловать, — улыбался Иван Сергеевич, довольный, что знаменитый поэт так споровист в кузнечном деле. Уже когда сядились в запыленную «Победу» (при незадачливых кузнецах не стал говорить), вспомнил: — В старину умельцы крутой экзамен почитали: не поцеловал обушок — еще не кузнец, зеленоват, попыхти в подмастерьях.

Александр Трифонович утвердительно кивнул головой и о чем-то задумался. Не о том ли, что так искренне и красочно описано в поэме «За далью — даль»? Помните? «На хуторском глухом подворье, в тени обкуренных берез стояла кузница в Загорье, и я при ней с рожденья рос. Но я особо благодарен тем дням за ранний навык мой. За то, что там ребенком малым познал, какие чудеса творит союз огня с металлом в согласье с волей кузнеца».

Задумчивее стал и Соколов-Микитов. К Твардовскому, к его стихам у писателя любовь давнишняя, нерушимая.

У тверских островитян они жили три дня. Как ни хорошо знали Александр Трифонович и Иван Сергеевич быт и нравы народа, все же один старинный обычай на острове озера Великого их прямо-таки ошеломил. Здесь после летних гулянок влюбленные пары расходятся не по домам, а по сеновалам, расходятся у всех на виду, иногда с подушками и одеялами. Там и ночуют. Обидеть девушку считается тягчайшим преступлением, за которое в селе ни своему, ни приезжему нельзя было бы ни пощады найти, ни от кары уйти. На памяти старожиллов — всего-навсего один неблаговидный случай. Свобода поведения, доверия друг к другу, целомудренность взглядов не исключают одно другое, нет, а дополняют, укрепляют, облагораживают.

Своеобычная нравственность сознания, чистота слова и поступка в таких случаях превыше всего и для парня и для девушки. В других селах Верхневолжья, даже расположенных поблизости отсюда, такого обычая нет.

— Кто знает, может быть, этот древний обычай народный, сохранившийся, возможно, от языческого времени, охраняет молодежь от поспешных и несчастливых браков, — к такому выводу пришел Иван Сергеевич после раздумья и долгих бесед со старожилами острова.

— А что, может, и в самом деле так, — согласился Александр Трифонович. — Она мудрее нас, жизнь...

*г. Калинин*

## Сергей Васильев

### ОЧАРОВАННЫЙ РОССИЕЙ

#### I

Не помню, кто и при каких обстоятельствах познакомил меня с Александром Андреевичем Прокофьевым, помню только, что это знакомство явилось для меня праздником.

Еще бы! Это случилось в начале тридцатых годов, в самый разгар поэтической страды раннего Прокофьева. На устах всех начинающих поэтов, русских и нерусских, буквально бродили и закипали яростные, цветастые, привораживающие строки из книг «Полдень» и «Улица Красных Зорь».

Подумайте, сам автор «Матроса в Октябре», «Парней», «Разговора по душам» и других заученных наизусть стихотворений с тобой за руку поздоровался!

Коренастый, загадочный, как рождественский мешок Деда Мороза, доверху набитый погсворками, частушками, солеными словечками, ежеминутно готовый, словно снежком, запустить в соседа шуткой, откликнуться на шутку и стать вдруг серьезным и задумчивым.

Крепкий. Переливчатый. Неожидан-

ный. Таким запал мне в память прославленный ленинградец, наш «Прокоп», на протяжении четырех десятилетий общения с ним.

До Отечественной войны, во время войны и после нее, много-много раз встречался я с Александром Прокофьевым.

Сначала как робкий ученик с маститым учителем, потом как младший товарищ по профессии и, наконец, как друг по жизни и работе.

В разных республиках и городах нашей бескрайней Родины, на различных съездах, пленумах, декадах и семинарах сталкивала меня судьба с Александром Андреевичем, деятельным, веселым, неугомонным человеком. На Украине, в Белоруссии, на Кавказе, в Прибалтике, в раздольной гостеприимной Болгарии побывал я вместе с Прокофьевым. Разное и всякое сохранилось в памяти.

Не хочу растекаться «мыслью по древу», не стану перечислять второстепенное, расскажу лишь кратко и частично о том, что поразило меня в Прокофьеве и заставило причислить его к разряду людей необыкновенных, редких, незабываемых.

В 1944 году, в Москве, где-то, кажется в Сокольниках, Александр Прокофьев, Борис Лихарев и я оказались гостями госпиталя. Вечер встречи поэтов-фронтовиков с выздоравливающими солдатами и офицерами состоялся, как говорится, при полном взаимном понимании. Аудитория шумно и дружно встречала каждое слово выступающих, особенно горячо аплодировали Александру Андреевичу, прочитавшему куски из прекрасной поэмы «Россия».

В первом ряду слушающих сидел человек, как и все вокруг него, в сером байковом халате, но без одной руки и в синих очках.

Он оживленно реагировал на выступления, выражая свое одобрение ударом единственной ладони о колено.

Я помню, Прокофьев, кивая в сторону человека в очках, что-то довольно долго расспрашивал о нем у председательствующего на вечере военного врача.

Вечер закончился, начальство госпиталя предложило поэтам поужинать. Гостей провели в отдельную комнату, где уже был накрыт, сказать по правде, довольно скромный стол. Однако трапеза задержалась: Александр Прокофьев убедительно попросил разрешения отлучиться на тридцать — сорок минут и подождать его, за стол не садиться. Гости и хозяйева удивленно переглянулись, но, конечно, перечить Прокофьеву не стали.

И действительно: ровно через сорок минут Александр Андреевич вернулся. Запыхавшийся и радостный, он приволок с собой увесистый сверток, из которого торжественно извлек несколько банок консервов, конфеты, большой брус колбасы и три пол-литровых бутылки водки. При общем восторге присутствующих он все это водрузил на скатерть и отдал команду:

— А теперь приказываю доставить сюда именинника!

Что же произошло? Оказывается, узнав о том, что однорукий человек в синих очках потерял руку и зрение при защите Ленинграда и что именно сегодня ему исполнилось тридцать лет, Александр Прокофьев решил справить день его рождения.

Надо ли говорить о том, как был расстроган виновник торжества, как искренне звучали тосты, как мы увлеченно читали стихи и пели песни, как уверенно и жарко говорили о грядущей Победе.

Именинник был счастлив. Но, может быть, счастливее его был Прокофьев. Такого полнейшего удовлетворения на его лице, такого умиротворенного блаженства в его улыбчатых глазах я не видывал до той поры.

В глазах Александра Андреевича я отчетливо прочитал широкую русскую натуру хлебосола, и негасимый патриотизм, и верность товариществу, и просто человеческую доброту.

И мне подумалось: в большой поэзии плохому человеку делать нечего, она имеет дело только с Человеком с большой буквы.

### III

Расскажу еще про один эпизод, с моей точки зрения важный для понимания Прокофьева как художника.

Как-то весной, в самом начале июня, приехал Александр Андреевич ко мне на подмосковную дачу в Переделкино.

В то время я держал на чердаке многочисленную охоту, состоящую из пятнадцати пар породистых гонных птиц.

Прокофьеву давно была известна моя слабость — многолетнее (с детства!) увлечение голубями, и он не без ехидства иногда называл меня: «Верхогляд — бяка пазуха».

Для непосвященного такое прозвище выглядит странно, а между тем в среде птичников оно существует давно и объясняется просто: когда любитель-голубятник бежит подкидывать своего голубя к чужой стае, он несет его за пазухой, которая частенько оказывается запачканной пометом.

Александр Андреевич не один раз собирался посмотреть мою охоту — и вот наконец удосужился, приехал.

— Давай показывай свой курятник! Посмотрим, что за живность!

Сказал эти слова дорогой гость с веселым прищуром и, грузно посапывая, полез со мною на голубятню.

Придирчиво, с крестьянской основательностью осматрел Прокофьев расположение гнезд и насестов в отсеке, энергичным нажимом руки испытал прочность проволочного нагула и по-хозяйски заметил:

— В общем, не худо сделано, но металлическая сетка чересчур частого плетения, обзор для голубей затруднен, особенно для молодых...

Это уже было сказано с профессиональным знанием дела, и я озадаченно поглядел на гостя:

— Откуда такие тонкости, Александр Андреевич? Ты что, тоже голубятником был?

— Нет,— с улыбкой ответил Прокофьев.— Немножко интересовался, как другие лодыри гоняли...

Затем довольно подробно, «поштучно», с разбором колера и стати, оценил он моих ленточных, черных и кофейных хохлатых «монахов», белокипенных бантастых «чаек» и окольцованных носатых почтарей.

Затем, когда я поднял голубей на крыло, долго и с увлечением следил за спиральным полетом стаи.

Но главные «чудеса» визита Прокофьева ждали меня впереди.

Самое удивительное началось на прогулке в лесу.

Выше я уже говорил, что стояло начало июня. Подмосковный лес благоухал нежными запахами весеннего обновления — клейкой листвой берез, лип, кленов, терпким духом осин и орешника, оглашался залиvistыми песнями несметного числа птах.

Прокофьев брел по лесной тропинке медленно, то и дело останавливаясь, прислушиваясь и замирая, приставляя к губам указательный палец, светясь всем своим существом.

— Тихо! Тихо! — еле слышно говорил он мне.— Это пеночка-пересмешка... Сама-то она петь не шибко здорова, а вот подражать мастерица... Эклектик, одним словом. Тсс! Тсс! Это малиновка... Ее еще зорянкой или ольшанкой зовут... Одежка у нее бросовая, а голос вишь какой раздольный!.. А это сойка разволновалась, самочка... Где-то тут гнездо у нее, ручаюсь тебе, не просто так... А это черный дятел-желна очередь дал по сухостою... Скажи пожалуйста, как из автомата... Слышишь? Это у самцов-дроздов перепалка идет... Кто кого пересвирилит... А это иволга заходитя... У нее теперь самая медовая пора приспела...

И так, шаг за шагом углубляясь в заросли ольшаника, шагая по солнечной поляне, огибая березняк, минуя ельник, то разводя руками от удивления, то обмирая от удовольствия, дошли мы с Александром Андреевичем до низины, заросшей черемухой.

И тут произошло основное чудо. Слева от нас, совсем близко, из черемуховой гущи ударил соловей. Сперва односложно, протяжно, с длинными паузами...

Прокофьев схватил меня за плечо, приказал грозным шепотом:

— Не шевелись! Вон он сидит, посмотри на нижнюю ветку... Хозяин леса! Погоди, погоди... Это только призывный сигнал... Я-то уж знаю! Сейчас должен другой откликнуться... Тогда и начнется...

И впрямь, вдалеке, за разлапой сосной, отозвался другой похожий соловьиный голос, повторился, приблизился.

И вскоре слух наш заполнило такое волшебное щелканье, окатил такой колдовской переплеск звуков, огорошили такие встречные перекаты в двадцать и более колен, что впору было не молчать, а рукоплескать двум пернатым певцам.

И непостижимо прекрасным было то, что один из солистов сидел на черемуховой ветке в каких-нибудь десяти шагах от нас, так рядом и так открыто, что виднелись карие дробинки глаз.

Прокофьев торжествовал, а я радовался его восторгу. В этот зеленый день, в этот певчий час я многое глубже и по-новому понял в музе Прокофьева. Нет, он не просто любил природу родной земли, не только находил единение с ней, он вторгался в нее «как свой человек», как старший брат и обретал там предельное духовное удовлетворение.

Ведь то, что так дотошно знал Александр Андреевич о птицах, распространялось на деревья, на травы, на небо, на зверей и рыб, на все сущее вокруг.

Ботанические, биологические и зоологические познания чудодейно скрещивались в Прокофьеве с художественным видением, с постоянной жаждой воображения, с мечтой о будущем, и все это вместе перерастало в гимн самому разумному существу на свете — человеку труда и борьбы.

Вот откуда эти изумительные, берущие за душу строки:

Сколько звезд голубых, сколько синих,  
Сколько ливней прошло, сколько гроз.  
Соловьиное горло — Россия.  
Белоногие пущи берез.

#### IV

...Оборвалась яркая, самобытная, наполненная ослепительным солнцем, продутая студенными ветрами Ладоги песня.

Оборвалась на полуслове, на глубоком грудном вздохе, словно внезапный порыв бури налетел на спелую рябину, и обломил ее алую крону, и осыпал рубиновые бусы.







## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В конце концов надо начать. Начать хотя бы этой самой строкой... Я не ищу красивого, эффектного начала. Я просто ищу начало, которое действительно было бы началом, а не пустым, бледным повторением всего того, что я за полвека рассказал о себе в стихах — в «Балладе о Великом Сибирском Пути», на котором я родился, в поэме «Северное Сияние», действительно озарявшем мои детские ночи, в стихах о доме Вальса, с чьей крыши я смотрел на город, в котором я рос и который сам рос на моих глазах.

В начале двадцатого века, с проведением железной дороги, Зауралье быстро заполнялось переселенными из Европейской России, с Украины, из западных районов, и вполне естественно, что город Омск и его окрестности быстро меняли свой облик. И я с уверенностью могу сказать, что в том же 1910 году Омск представлял собой скопище людей по крайней мере двенадцати национальностей. Но, выписывая эту по существу совершенно правильную фразу, я все же не даю никакого представления о том, как выглядел въезав этот плоский, купающийся в соленой пыли гигантский пшеничный блик-город. Взять хотя бы тот же Никольский проспект, эту немощеную, глинисто-пыльную летом, весной и осенью глубоко слякотную, а зимой — волнообразную сугробную улицу между Казачьим садом и Казачьим кладбищем, ту самую улицу, на которой мы жили. В стихах «Дом Вальса» я уже поведал о вальсовских квартирантах: фрау Гомман с Датского телеграфа, ее нахлебника-телеграфиста — латыше Озолине и, кажется, литовце Никопензиусе, и о другом вальсовском квартиранте — шведе либо норвежце Пальберге, и о ближайших соседях Вальса — финском пасторе Гранэ и степном султани Султани Султанском, ездившем играть на ипподром, и о лавочнице Яминой, обитавшей рядом, в доме отставного есаула Ерыгина. Но я не упомянул, что через дом от лавочки Яминой обитал в своем доме оптовый торговец сухими фруктами, ташкентский татарин Гарифов, и напротив лавочки Яминой была велосипедная мастерская поляков Верниковских, соседствующая с домом поляков Капустинских, на задах у которых обитал с матерью своей и сестренкой Лизлой умопомрачительный латышский мальчик Валдыш, который обогащал мой лексикон всяческими неологизмами живой разговорной русской речи.

— Заявляешь? — угрожающе спросил он при встрече. И, сказав кулаки, голосом, задыхающимся от воображаемой ненависти, добавил: — Замри! Не возбуждай!

Это была приветственная формула так называемых «парижан» — хулиганья городских окраин. Валдыш произносил свои заклинания на чистейшем русско-«парижском» языке, безо всякого латышского акцента. Но, между прочим, его приятели — «парижане» из прикладбищенского трущобного квартала, называемого Копырино село, пели такую частушку:

Парижане — ежики,  
За голяшкой ножики.  
Тыгарка-мотыгарка, Копырино село.  
Не этой ли девчоночке жилось весело!

Припев «Тыгарка-мотыгарка», как я узнал позже, являлся не чем иным, как несколько исковерканным припевом эстонской песенки, видать уж и тогда бытовавшей за Уралом, только ли в городах или уже

и в деревнях — я не знаю. Знать — это уже дело фольклористов, изучающих факты взаимовлияния культур народов Российской империи. Я же вспоминаю это только в связи с вопросом о национальном составе обитателей Никольского проспекта, в начале которого стоял Казачий собор, где меня когда-то крестили под сенью знамени Ермака Тимофеевича, выкраденного впоследствии атаманом Анненковым. А напротив Казачьего собора стоял костел, из которого доносились латинские песнопения, но помню я и голос экономки ксендза, певшей во флигеле за этим готическим храмом:

С там той strony Вислы  
Копалася врона,  
Пан поручник мысле —  
Это его жена.

Как мне потом рассказывали знакомые поляки, это был старый краковяк, занесенный за Урал еще ссыльными конфедератами в шестидесятых годах прошлого века.

Пани поручнику,  
То не ваша жена,  
То бедна пташина,  
Называся врона!

Почти рядом с костелом стояла мечеть. И голос муэдзина с ее минарета перекликался порой с лютеранским дребезжащим колоколом кирки за Омью в крепости.

Вот сколько разнообразных мотивов и напевов лезло мне в уши в годы моего детства, наверное, для того, чтобы потом отозваться в моих будущих переводах с польского, с латышского, с литовского, с казахского, с татарского и еще бог знает с каких языков. Но все это я как следует ощутил только позже. А тогда, сколь ни величественно звучала «Аве Мария» под аккомпанемент легкомысленного краковяка экономки ксендза, сколь ни контрастно сочетались крики муэдзина с органной музыкой Баха из крепостной кирки, — все это проходило мимо моих ушей. Тогда меня как-то мало интересовали и крепость с ее киркой, кордегардией и уже не существующим Мертвым Домом Федора Достоевского, и знамя Ермака в Казачьем соборе, и парадные фанфары и трубы перед генерал-губернаторским дворцом в царские дни, когда степной генерал-губернатор и атаман казачьего войска, кажется Шмидт, принимал баев и важных правителей киргиз-кайсацких орд. И совсем не интересовали тогда даже чучела степных птиц и лисиц, урманых медведей и балхашских тигров-джульбарсов в витринах музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества.

Меня интересовало совсем другое: техника! Причем техника в самом широком смысле этого слова — техника промышленная, строительная, какая только возможно, вернее, все, что касалось материальной культуры. То есть военные награды интересовали меня только с точки зрения устройства артиллерийских орудий местного артиллерийского дивизиона, наша соседка фрау Гофман была любопытна мне не сама по себе, а как особа, работающая на Датском телеграфе, чей кабель тянулся, как я слышал, на тысячи верст. Скандинав Пальберг занимал мое воображение, главным образом, как хозяин таинственного и блестящего «Дьябло и Пум Сепаратора», созвучного с авиатором, радиатором, карбюратором и не столько с императором, сколько с мелиоратором. А мальчик Клиот, с которым я позже учился в гимназии, интересовал меня не как грек, а как обитатель очень необыкновенного куполообразного дома, построенного его отцом, коммерсантом. Соученик старшего моего брата, гимназист Россинский, был мне любопытен как однофамилец известного авиатора. Братья же Трузеллеры, жившие над Иртышом,

в конце Перевозной улицы, интересовали меня даже не как носители звонкой фамилии, но только как владельцы парусной лодки или как друзья владельцев двухмачтового суденышка с выдвигаемым килем — яхты «Хмара», самой большшй иртышской яхты тех времен.

Не буду повторять, что я провел первые годы жизни в служебном вагоне отца и знал каждую водокачку между Челябинском, Омском и Канском. И позже, когда отец уже перестал разъезжать по линии и осел в городе как техник-строитель, я часто бывал с отцом то на вокзале, то в паровозном депо, то за рекою в Куломзине, где возвышался элеватор, казавшийся мне похожим на какой-то сверхгигантский средневековый замок. Помню громадные паровые мельницы. Помню и далеко уходящий в ковыльную и соленоозерную степь треугольник запасных путей за поворотным кругом, помню тупик, где я любил лазить на паровозы. Лазать на паровозы было любимейшим развлечением моего детства. Я любил сопровождать отца, идущего по своим строительно-техническим делам в товарные пакгаузы, через которые проходило все, в конце концов попадающее в городские магазины. Любил встречать поезда, особенно товарные. Ведь все, что появлялось в городе, прибывало по железной дороге — и сельскохозяйственные машины, и автомобили, и локомобили. Даже аэроплан летчика Васильева, взлетавшего, кажется, в 1912 году с ипподрома, прибыл на железнодорожной платформе. Как же мне было не любить железной дороги, на которой я вырос, этой железной дороги, возглавляемой красноколесными, металлоголосыми локомотивами. Я очень увлекался ими, я рисовал их, я играл в них, я даже сооружал зимой их подобия из снега. И отец, лелея мечту, что я стану уж не техником, как он, а инженером путей сообщения, купил мне однажды прекрасный разборный атлас локомотива-компаунд. И я сказал отцу, что, может быть, и стану инженером, если не стану морским капитаном.

Но судьба решила по-иному. И эта судьба подстерегла меня не где-нибудь, а на гардеробе в «Сашиной комнате» — у дяди Саши, о котором я расскажу ниже.

На гардеробе в проходной комнате между столовой и передней лежали у нас навалом газеты, журналы и приложения к ним. Сваливались они туда потому, что не умещались на книжных полках в довольно тесной нашей квартире. Я, при помощи лесенки, лет, пожалуй, с пяти начал лазить на этот гардероб, будто на паровоз, чтобы рыться в журналах. Сначала меня интересовали только картинки, опять-таки техника: машины, аэропланы, автомобили, дирижабли, дредноуты; железнодорожные катастрофы... Мне трудно припомнить, как от рассматривания картинок я перешел к попыткам читать тексты и познавать имена, которыми те или иные сочинения были подписаны. Это был очень сложный процесс. Я не помню такого времени, чтоб я не знал грамоты, — вероятно, я научился читать лет с четырех, но это вовсе не значит, что в семь-восемь лет я понимал смысл всего читаемого. Но кое-что я все же уяснил, так, например, уяснил, что кроме меня на свете есть еще один Леонид, Леонид Андреев, написавший рассказ о семи повешенных, которые, как мне объясняла бабушка Бадя, были революционерами вроде тех экспроприаторов, что хотели ограбить Омское казначейство в 1905 году, когда я родился. И так помаленьку, заглядывая в те или иные журналы или книги, разрозненные сочинения тех или иных писателей, я получал представление о том, что кроме окружавшего меня мира реальности существует еще малоизвестный мне мир книг и еще незнакомых переживаний. И вышло так, что с вершины гардероба мне открылись горизонты более широкие, чем даже с крыши нового двухэтажного дома Вальса. То есть я понял, что в городе кроме всяческих магазинов, где продаются

велосипеды, пишущие машинки, сепараторы, глобусы, одежда, обувь, меха, есть книжный склад Вахрушева и на базарах книжные лавочки и развалы букинистов. И шляться по всем этим местам я начал, пожалуй, лет с девяти.

Я искал и находил многое. К чести своей должен сказать, что, отдав неизбежную дань сыщикам, как великим, вроде Шерлока Холмса, так и пятикопеечным, вроде Ната Пинкертона, Ника Картера и Пата Коннера, я недолго задержался на этом этапе. Я не ограничился детективами. У того же Конан Дойля мне даже больше Шерлока Холмса понравился романтический капитан «Полярной звезды» и исторические романы, а особенно приключения бригадира Жерара. А у Эдгара По — не «Золотой жук», но «Приключения Артура Гордона Пима», читавшего таинственные овражные письма островитян на роковом пути к Южному полюсу, откуда летели белые птицы, кричащие «Текеле-ли, текеле-ли!». Осмелюсь предположить, что во всей этой исторической фантастике меня занимали инстинктивно предчувствуемые проблемы грядущего: у Эдгара По, скажем, догадка о вулканичности Антарктиды, а у Конан Дойля в «Бригадире Жераре» комическое предызображение поклонника культа личности, тогда еще в лице Наполеона. Ведь грядущее все-таки подготавливается в прошлом.

Нечего и говорить о том, что, прежде чем я достиг десяти лет, я прочел все вышедшие к тому времени произведения Джека Лондона и Александра Грина. Кроме того, я познакомился с многими вещами Брюсова, Сологуба, но с прозаическими, с «Огненным Ангелом» и «Мелким бесом», а не со стихотворными. Потому что меня в те времена интересовало все, кроме поэзии.

Поэзия меня не трогала.

Классическая поэзия, трактующая о вещах и явлениях, не имевших никакого отношения к моему пыльно-снежному паровозно-пароходному зауральскому бытию, казалась мне прекрасно-далекой и величественно-скудной, почти в такой же мере, как поэзия символистов. И, в частности, прав был учитель словесности Кубышка-Борисоглебский, констатировавший, сразу же по поступлении моем в гимназию, отсутствие у меня даже малейшего интереса и внимания к поэзии.

Меня даже не очаровал Игорь Северянин, которым увлекались старшекласники, соученики моего старшего брата. Не привлекли ни Бурлюк, ни Крученых. И как-то мимо глаз и ушей проходили даже стихи Маяковского, о котором я все-таки должен был иметь представление. Но до времени все это не доходило до меня — и все тут. Впрочем, теперь я догадываюсь, что заменяло для меня в те дни книжную поэзию.

Это, всего вероятнее, были мои сны, не имевшие ничего общего ни с детским моим увлечением техникой, ни с книгами, к которым я приохотился, ни с Конан Дойлем, ни с Леонидом Андреевым, ни с Эдгаром По, ни с Валерием Брюсовым. Суть в том, что я начал летать во сне. Началось это, пожалуй, с другого навязчивого сна, мучившего меня с самого раннего детства и возвращавшегося до тех пор, пока мне не объяснили его возможного происхождения. Мне чуть не с младенчества снилось, что за окном в саду появляются загадочные для меня фигуры, летящие, вернее, висящие в воздухе с раскинутыми руками, и другие фигуры — крылатые, но коленопреклоненные. Потом выяснилось, в чем дело: когда мне было полгода, в саду был склад могильных памятников, это было неосознанное воспоминание о них, и когда все разъяснилось, этот сон перестал сниться. Но прежде чем он перестал сниться, я во сне сам улетал от коленопреклоненных, то есть надмогильных ангелов, как выяснилось после. Таким образом, я еще до разъяснения и прекращения тяжелого сна научился уже летать в сновидениях. Не объясненный еще сон время от времени продолжал сниться, но в

других сновидениях я уже летал без связи с тем сном, летал самостоятельно, весело, вольно летал — и все. Иногда над городом, иногда в каких-то зданиях, убирая, например, паутину из углов под потолком, иногда залетал за вершины больших деревьев, уклоняясь от мальчишек, стрелявших в меня из рогаток. Иногда вместе с няней моей Дуней, — она в распахнутой лисьей шубке, а я в оленьей дохе, а впрочем, чего уж тут врать — не в дохе, а в том-то и дело, что голышом, — летали над Северным полюсом, через полярное сияние, а иногда мы летали через радугу над Загородной рощей. Постепенно мои полеты становились все дальше и замысловатей. Это были прекрасные сны. Правда, мне снится, что я летаю, и до сих пор, но очень редко, конечно, а тогда такие сновидения бывали не реже чем два раза в месяц. И теперь мне кажется, что эти сны мне заменяли до времени не только поэзию, но и музыку, так славно свистел и пел ветер, когда летишь, летишь безо всякого аэроплана, сам по себе.

Однако поэзия только делала вид, что может оставить меня к себе равнодушным. Она только и ждала, чтоб забрать меня в свои руки, к тому же вернуть с небес на землю. Это случилось, насколько я помню, на второй год германской войны, когда Омск стал еще шумней и многлюдней за счет беженцев из Западного края, за счет госпиталей, один из которых и разместился в здании нашей гимназии, а мы перешли на вторую смену в здание женской гимназии. Словом, в те дни, когда военнопленные немцы, австрийцы и турки профилировали омские улицы, чтоб по ним, немощным, легче было маршировать солдатам обучаемых в Омске запасных частей, в дни, когда город наполнился эхом войны, — тогда-то я и прочел стихи Маяковского «Я и Наполеон».

Ночь пришла тихая, вкрадчивая.  
Отчего же это барышни некоторые  
Дрожат, пугливо поворачивая  
Глаза огромные, как прожекторы!

Это было то, что было мне нужно. Я думаю, не стоит тут объяснять, не стоит повторяться — я писал об этом не раз, описывал, что я испытывал при чтении этих стихов. В глубоком тылу, в Омске, я приобщился к мировым событиям. И я стал искать Маяковского, искать по страницам журналов — тонких и толстых, новых и старых. И то, что я раньше пропускал мимо сознания, — все это более и более захватывало меня.

Полночь промокшими пальцами щупала  
Меня и серый забор.  
Каплями ливня по лысине купола  
Скакал сумасшедший собор.

Ведь этот собор в стихах Маяковского был и Казацким собором, и кафедральным собором напротив здания судебных установлений и наискосок от Омского казначейства. Я понимал, что Маяковский писал не об этих соборах, но выходило, что он писал и о них тоже. И мне стало ясно, что я с полным правом могу выкрикнуть то, что сказано дальше:

Кричу  
Кирпичу,  
Слов иступленных вонзая кинжал  
В неба распухшего мякоть, —

потому что мякоть этого распухшего неба висит и над кирпичными брандмауэрами Омска, над глянцевой слизью улиц, где перекрестком распяты городовые. И разве не мог я при виде этих смутных улиц, этих домов со ржавыми водосточными трубами и шалудивыми, ветшающими вывесками сказать на том же основании, что и Маяковский:

На чешуе жестяной рыбы  
Прочел я зовы новых губ.  
А вы ноктюрн сыграть могли бы  
На флейтах водосточных труб?

Маяковский в то время привлекал меня вовсе не как футурист, а просто как художник слова, живописец и график слова, волшебник слова. С его помощью я понял, что такое поэзия вообще. Так, например, он открыл мне глаза на Лермонтова. Тогда, в детстве, я не любил Лермонтова, может быть, просто даже из-за скверных картинок, которыми были иллюстрированы его произведения. Иллюстраций Врубеля я еще не знал, хотя Врубель и был моим земляком, родившись в Омске на Тарской улице. Итак, я не интересовался Лермонтовым. Но когда я прочел у Маяковского о том, что «причесываться на время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно», я оценил эту пародийную фразу, вспомнив лермонтовское: «Любить? Но на время не стоит труда, а вечно любить невозможно», — и Лермонтов ожил, перестав быть для меня только обязательным гимназическим уроком словесности.

Я сказал уже, что Маяковский вообще пробудил у меня интерес к поэзии, то есть, отыскивая его стихи, я стал внимательнее рыться в журналах и сборниках. И вот однажды темным и слякотным вечером, ища Маяковского там, где его не было, я наткнулся на шершавую квадратную книгу, в которой прочел:

Много погибло прекрасных грез,  
Это над ними плачут ивы,  
Сладкий Пан Любовь и Христос  
Умерли. Кошки мяучат тоскливо.  
Я не в силах скрыть своих слез.

Дальше говорилось о том, что тоскующий автор утешился, созерцая, как запорожцы пишут ядовитое послание турецкому султану, то есть глядя на известную и мне картину Репина. Это был перевод неведомого мне Эренбурга из неведомого мне Аполлинера. Эти строки, прочтенные темным слякотным вечером в годы германской войны, когда старшие толковали о смертях, поражениях и изменах, как-то меня утешили, пришлось мне по вкусу и в то же время опять-таки напомнили мне чем-то Маяковского: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека...» И мне кажется, что это детское впечатление, детское восприятие было не случайным: Аполлинер и Маяковский тех времен были уже не так далеки друг от друга.

Через Маяковского каким-то путем дошел до меня и Артюр Рембо. Может быть, просто одновременно? Возможно. Но возможно и другое. И даже не только возможно, но и весьма вероятно, что Давид Бурлюк, знаток и любитель французской поэзии, читал Маяковскому Рембо, и интонации Рембо присутствовали в ранних стихах Маяковского. Это очень сложный вопрос, не разработанный в нашем литературоведении. Во всяком случае, так называемый перевод из Рембо Давида Бурлюка: «Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод, будем лопать камни, травы, сладость, горечь и отравы» — я узнал позже. Но, вообще-то говоря, Рембо и Маяковский похожи так же, как похожи во многом Маяковский и Петефи, Маяковский и Вийон, — все великие поэты похожи друг на друга своей неповторимостью, своими неповторимо трагическими судьбами, своей непохожестью на кого бы то ни было.

Вот чем была набита моя одиннадцатилетняя голова, отвергавшая в те годы — в 1915-м и 1916-м — классическую поэзию, которую преподавал нам учитель словесности, добродушный Кубышка-Борисоглебский. Меня мало интересовало, как чуден Днепр при тихой погоде или как тиха украинская ночь, но зато весьма занимала «киевская» антология.

Кстати, я думаю, что именно ее, эту антологию, начинавшуюся Тютчевым и Фетом, имел в виду Маяковский, восклицая:

Надоело!  
Не высидел дома:  
Анненский, Тютчев, Фет.

Едва ли он мог не читать этого томика. По времени сходится. Я принял эти стихи с восторгом. И может быть, именно из-за них великолепный Тютчев оставался вне поля моего зрения чуть ли не четверть века, а Фета, каюсь, не оценил и посейчас, хотя нынче, как известно, он в большой у нас моде.

Блока я называю своей второй, после Маяковского, любовью...

...Библиотекарша углубилась в журнал «Ребус»<sup>1</sup>, и ее меньше всего интересовал я, знакомый, примелькавшийся толстый мальчик, роющийся в книгах. А я уже не помню, за что ухватился сначала — то ли за «Балаганчик», за пьесы Блока, то ли за «Стихи о Прекрасной Даме». Меловая «скорпионовская» бумага этого томика сверкала яснее снега за окнами мрачноватой казачьей библиотеки. А дальше все пошло своим чередом — я прочитал и попросил записать за мною все книги. «Смотри только не запачкай, когда понесешь домой, перетяни ремешком покрепче», — сказала библиотекарша. Она думала, что я беру для сестры, которой у меня и не было. Правда, у меня был старший брат, который брал книги, какие ему надо и где ему надо, сам по себе, а я сам по себе.

Итак, вскоре я знал о Блоке все, что мог узнать, прочел не только «Стихи о Прекрасной Даме», но в «Журнале для всех» и стихи его «Петроградское небо мутилось дождем...», о проводах солдат на войну, и еще многие другие стихи его, ранние и позднейшие, но, главное, я узнал о том, что «мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Наивно, но я это отнес к самому себе. Блок как бы приобщал меня к ощущению России, многое прибавив к моему представлению о ней, которую, в сущности, я так мало знал из своего зауральского далека. Блок дал мне ощущение Куликова поля, ощущение Руси. Он одарил меня, пожалуй, не меньше, чем и Маяковский, и предчувствием надвигающихся событий, и — я не преувеличу, сказав, — предощущением близкой Революции. Впрочем, это предощущение было в те дни у многих — и у больших, и у малых. Надо полагать, что в той или иной форме то же ощущал и Блок, подаривший меня, мальчика, поэтическим предощущением близкого переворота. Этим и объясняется возникшая близость.

Но, может быть, именно потому же между тридцатилетним Александром Блоком и мною, одиннадцатилетним мальчишкой, возникла и неожиданная преграда. И этой преградой было не что иное, как церковь. Как это ни странно звучит, а случилось именно так. Потому что, чем дальше, тем больше, меня, живущего, так сказать, двойной жизнью, тяготила необходимость посещать церковь, ходить на молитву, на вечерни и обедни. И чем больше я узнавал Блока, тем неприемлемее становились для меня эти мотивы его творчества — и девушки, поющие в церковном хоре, и вербочки, и свечки, все это, даже и не связанное с казенной церковностью, с гимназическим официальным богослужением под надзором классного надзирателя Терехи, нет, не только это, а сама по себе церковность, как таковая, блеск риз, запах свечей, ладана, запах духов и мехов прихожанок, ни в одной из которых ни в кафедральном соборе, ни в Казачьем соборе, ни около костела, ни около кирки я не мог отыскать и намека на Прекрасную Даму. Из того, что я только что написал, выясняется, кстати, что я просто не понимал как следует Блока.

<sup>1</sup> Где, между прочим, печатались остроумнейшие индийские корреспонденции Блаватской, дай бог такие написать нынешним нашим антирелигиозникам.



Может быть, это было связано с какими-то младенческими еще ощущениями, ассоциациями или тем навязчивым сном о висящих в воздухе с раскинутыми руками и крылатых коленопреклоненных, о чем я рассказывал на предыдущих страницах, или просто это вызвано было и немо поощрено некоторым вольнодумством отца, но, во всяком случае, у меня не было никакого желания входить в темные храмы, творя там бедный обряд. Наоборот, как бы под влиянием стихов Блока у меня лишь укрепился контакт с Маяковским, то есть мне хотелось не входить в храмы, а выбегать из них вместе с тем неназванным, который

из собора бежал,  
когда  
хитона обветренный край целовала плача  
слякоть.

Так перед Революцией через вторую любовь — к Блоку — я вернулся к своей первой любви — к Маяковскому.

## Назым Хикмет

1902—1963

ИЗ ЮНОШЕСКИХ СТИХОВ

УХОДЯЩИЕ МОРЯКИ

*Моим товарищам-морякам*

Как неподвижна чернота пролива.  
Волна о берег бьется торопливо,  
Подобно крыльям утомленных птиц.

Чей это хриплый голос даль пронзает,  
Чья тень в сыром тумане исчезает,  
Чей блещет глаз — неужто корабля?

Быть может, никогда он не вернется,  
И не фонарь — на мачте сердце бьется  
Погибшего в пучине моряка...

О, дай им возвратиться к женам, к детям  
Не доведи, аллах, осиротеть им,  
Не доведи кормильцам умереть.

1919

ЕСЛИ ПУТЬ ТВОЙ ЛЕЖИТ НА ВОСТОК

Если путь твой лежит на Восток, отыщи ты  
Край руин и пожарищ, святые места,  
Где до вздоха последнего бьются джигиты,  
Проливается кровь, горяча и чиста.

Если путь твой лежит на Восток, загляни ты  
В гордый край, где над розами пули свистят,  
Где просторы не ливнями — кровью омыты  
И куда день и ночь наши думы летят.

Если путь твой лежит на Восток, значит, скоро  
Ты услышишь, как ветер победы звенит,  
Ты увидишь, как солнце приветствует горы,  
Из-за снежных вершин устремляясь в зенит.

1920

*Перевел с турецкого Морис Ваксмакер*

...Поэтом «бронзы и мрамора» называли современники В. Я. Брюсова — крупнейшего мастера русского стиха, чей нелегкий путь творческого развития от поэзии символизма восходит к вершине реалистической поэзии. Поэт, переводчик, критик, беллетрист, крупный исследователь в области литературоведения, тонкий знаток истории и культуры Рима, Германии, педагог... Удивительная, поистине энциклопедическая образованность. Огромная работоспособность. Поэт никогда не ведал покоя; вечно молодой и жадный к жизни, Брюсов стремился к свету знаний, к свету правды. За три с лишним десятка лет творческой деятельности поэтом была проделана громадная работа. Человеку, желающему понять место Брюсова в летописи культуры, следует пристально и обстоятельно познакомиться с творчеством поэта в целом. Поэзия В. Я. Брюсова до сих пор не получила единой цельной оценки. Причины тут разные. Главной же, на мой взгляд, является именно брюсовская разносторонность, которая и вызывает по сей день некоторую настороженность наших критиков.

Поиски Брюсовым своего места в искусстве велись в бурный революционный век, когда над буржуазным обществом был занесен кулак массовых рабочих выступлений. К поэту приходит в это время, наряду с творческой зрелостью, убежденность в неизбежности гибели старого мира, который он ненавидел с присущим ему темпераментом за ложь, за сытое самодовольство. Поэт ждал революционного преобразования мира. Октябрь был им принят безоговорочно. Принят и воспет. Неоднократно возвращался поэт в своем творчестве к образу В. И. Ленина. Валерий Брюсов — человек громадной культуры, владевший в совершенстве добрым десятком языков, — становится активным создателем новой жизни, а в 1919 году вступает в ряды Коммунистической партии...

Рамки данной заметки не позволяют дать широкий обзор деятельности поэта. Задача осложняется еще и тем, что трудно установить, что ярче: Брюсов — деятель культуры или Брюсов-поэт. Уловить его внутреннюю сущность нелегко. И только когда мы познакомимся со всеми его произведениями: романами, пьесами, статьями о театре, дневниками, письмами, исследованиями в области стиха и т. д. и т. п., — перед нами раскроется весь Брюсов. Да и весь ли? В поэзии же раскрылась лишь часть его личности...

Не случайно зрелому Брюсову близок Пушкин — поэт, обладавший драгоценным качеством — «всемирной отзывчивостью». Поэтому нет ничего более несправедливого, чем представлять Брюсова узким сторонником одной эстетики — символизма. Сам поэт писал:

Я все мечты люблю, мне дороги все встречи,  
И всем богам я посвящаю стих.

Громадная лингвистическая подготовка позволяла Брюсову находить «богов» во всей мировой поэзии. Было бы весьма любопытно проследить его пристальности в мировой литературе, — просветитель обрисовался бы тут во всем своем исполинском росте...

На наш взгляд, не случаен тот интерес к личности и к поэзии Валерия Брюсова, который намечился за последнее время. Поэт, чье столетие со дня рождения советская общественность и прогрессивная зарубежная литература отмечают в 1973 году, притягивает к себе все более пристальное внимание самых разных читательских масс.

Публикуемые ныне брюсовские стихи обнаружены в архиве поэта. Разнообразна их манера, интонация, окраска. Иногда противоречивые, они представляют несомненный интерес, поскольку мы находим подчас в них те мысли, темы и образы, какие в ранней юности страстно волновали поэта, сумевшего в своей дальнейшей поэтической деятельности представить их в законченных образах глубокой и умной поэзии. Как, например, актуальны, современны строки, исполненные гражданского пафоса, скорби и осуждения:

Война — ты бич людей...

И это не кабинетный вымысел. Военный корреспондент 1914 года Брюсов как никто разглядел, разгадал весь ужас «нынешних и всех грядущих войн...».

Отрадно, что время вносит свою «поправку» — чем мы больше «отдаляемся» от поэтического облика В. Брюсова, тем яснее и конкретнее его основные, обаятельные черты, и здесь, пожалуй, уместны будут щемящие слова другого большого русского художника:

Лицом к лицу  
Лица не увидать.  
Большое видится на расстоянии.

Ник. Горохов



ИЗ ЛЕНИНГРАДСКИХ ЭЛЕГИЙ

В том доме было очень страшно жить,  
И ни камина свет патриархальный,  
Ни колыбелька моего ребенка,  
Ни то, что оба молоды мы были  
И замыслов исполнены,  
Не уменьшало это чувство страха.  
И я над ним смеяться научилась  
И оставляла капельку вина  
И крошки хлеба для того, кто ночью  
Собакою царапался у двери  
Иль в низкое заглядывал окошко.  
В то время, как мы, замолчав, старались  
Не видеть, что творится в зазеркалье,  
Под чьими тяжеленными шагами  
Стонали темной лестницы ступени,  
Как о пощаде жалостно моля.  
И говорил ты, странно улыбаясь:  
«Кого «они» по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают всё, скажи:  
Что в этом доме жило кроме нас?

\* \* \*

Я поднимаю трубку — я называю имя,  
Мне отвечает голос — какого на свете нет...  
Я не так одинока, проходит тот смертный холод,  
Тускло вокруг струится, едва голубея, свет.  
Я говорю: О боже, нет, нет, я совсем не верю,  
Что будет такая встреча в эфире двух голосов.  
И ты отвечаешь: Долго ж ты помнишь свою потерю,  
Я даже в смерти услышу твой, ангел мой, дальний зов.  
.....  
Похолодев от страха, свой собственный слышу стон.

Еще говорящую трубку  
Она положила обратно,  
И ей эта жизнь показалась  
И незаслуженно долгой  
И очень заслуженно горькой  
И будто чужою. Увы!  
И разговор телефонный...

\* \* \*

Дорогою ценой и нежданной  
Я узнала, что помнишь и ждешь.  
А быть может, и место найдешь  
Ты — могилы моей безымянной.

*Август 1946 г.  
Фонтанный Дом*

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Я над этой колыбелью  
Наклонилась черной елью.  
Бай, бай, бай, бай!  
Ай, ай, ай, ай...  
Я не вижу сокола  
Ни вдали, ни около.  
Бай, бай, бай, бай!  
Ай, ай, ай, ай!

*1949, 26 авг. (днем)  
Фонтанный Дом*

*Публикация Н. Жирмунской*

Павел Радимов

1887—1967

### СИНИЦЫ И ПОЭТ

Прилетели три синицы, говорили про меня:  
Жив ли дедушка старинный, рад ли он началу дня?

Все стихи свои бормочет, ни про это, ни про то,  
Мы же знаем, что он хочет жить на свете лет до сто.

Принесем ему семянку, в клюве капельку вина,  
Чудакам, поэтам старым, жизнь на радость тож дана.

*1966*

\* \* \*

Осенний день не говорлив.  
Он смотрит строго.  
Среди дуплистых редких ив  
Бежит дорога.

Над косогором след грачей,  
Шумна ватага.  
Сверкает лентою ручей  
На дне оврага.

Лазурь сметает облака,  
Уходят тучи.  
Как жизнь твоя всегда легка,  
Простор могучий!

Цепь говорливых журавлей,  
Нить паутины.  
Да придорожник, да репей,  
Да ширь равнины.

1951

## ЖЕЛАНЬЕ

Недалеко до листопада,  
И осень в дымке за бугром.  
Мне в жизни ничего не надо,  
Лишь петь и думать об одном:

О шири полевых раздолий,  
О человеческом труде,  
О раннем жаворонке в поле,  
О полынье и лебеде,

О васильках на колеях.  
По перелескам вьется шлях,  
И горлинки кружат над рожью.  
Пройтись бы мне по бездорожью,  
Побыть в родимой стороне, —  
Припомнится вся юность мне.

1966

В этом году Иосифу Павловичу Уткину исполнилось бы 70...

В двадцатые годы, когда Иосиф Уткин возглавлял литературный отдел «Комсомольской правды» и вел организованные им еженедельные «литературные страницы», ставшие своеобразным литературным центром и школой поэтического мастерства, через которую прошли многие ныне известные поэты, он довольно активно участвовал в различных поэтических диспутах и даже публиковал статьи, сопровождавшиеся обязательной сноской от редакции: «в дискуссионном порядке»...

С годами, однако, поэт все реже и реже выступал в этом жанре. Но не потому, что охладел к нему, разумеется. Поэзия всегда ощущалась им как родное, кровное дело, и процессы ее развития не могли оставить его безучастным. Вот почему, наряду со стихами тридцатых годов, в его архиве сохранились и неопубликованные статьи о поэзии — законченные и недописанные, на отдельных листках или в блокнотах со стихами, где можно встретить наброски и планы так и не осуществившихся замыслов. Сейчас уже трудно сказать, почему статья «Поэзия в дни войны» не была напечатана в свое время. Можно предположить, что Уткин либо не видел прямого повода для выступления, либо не спешил обнародовать ее. Правда, в статьях о «литературных однополчанах» — Аркадии Кулешове, Георгии Леонидзе, Сулеймане Рустаме и группе литовских поэтов, авторов сборника «Живая Литва», он использовал отдельные мысли этой статьи. Написанная 30 лет назад, она и сегодня не утратила своего интереса для читателей.

*Д. Фикс*

## ПОЭЗИЯ В ДНИ ВОЙНЫ

...О войне современной принято говорить, что это «война материальных ресурсов». Это правда, но это еще не вся правда.

Если бы вся правда заключалась в этом, то мы бы не устояли в сорок первом году, когда, кроме великого в войне преимущества — неожиданного нападения, у Германии были все преимущества материального превосходства. Но мы устояли. Устояли потому, что война, которую мы ведем, кроме того, война моральных ресурсов. И в этом залог нашего успеха. Невероятный подвиг переброски наших материальных ресурсов на Восток, может быть, как ничто, свидетельствует о силе и богатстве наших моральных ресурсов. Эта особенность Великой Отечественной войны есть в то же время и особенность современного советского искусства.

Советское искусство наблюдает и показывает силу духа советского человека в Великой Отечественной войне. Советское искусство плодотворно вскрывает, так сказать, генеалогию русского национально-народного мужества, показывает образцы великого патриотизма, который проявлял

наш народ. Из мрака и пыли... извлечены бессмертные скульптуры нашего исторического прошлого и поставлены на их законные места в народном пантеоне национальной гордости. Этот замечательный исторический процесс, происходящий сейчас в России, процесс возвращения к самой себе, очень важен с точки зрения международной; без него мы бы не могли понять своего места в семье великих народов. Только обратясь к моральным качествам советского воина, мы, советские поэты, смогли понять, как мало занималась наша поэзия душой современника, оставляя ее один на один с самой собой. Только тогда мы поняли силу лирических тенденций советской поэзии как выражения духовных, моральных чувств и мыслей советского человека.

Таким образом, само собой как бы определилось место той поэзии, которая по своей лирической тенденции была ближе всего к моральным ресурсам своего народа. Но, как и в первом случае, решал народ: никто не декретировал успеха лирической поэзии. Общественность, всегда чуткая к настроениям народа, просто вовремя учла

вкус народный. Литературные же разговоры по этому поводу начались уже после того, как литературные симпатии великой русской армии резко определились, продвигнув далеко вперед советскую поэзию. Твардовский, Сельвинский, Кулешов, Сурков, Симонов, Антокольский, Щипачев, Долматовский сильно способствовали успеху советской военной поэзии, поднятию ее авторитета в глазах Красной Армии. Каждый по-своему, все эти поэты вместе сумели как-то сделать своего рода сейсмическую запись душевных движений советского воина. И мы вовсе не перехваляем их, когда констатируем их удачу. Нам это необходимо самим, так как, не поняв произведений своих товарищей, их успеха, мы не сможем правильно определить основные тенденции развития советской литературы.

А как раз вопросы нашего будущего, пути, по которым должна пойти советская литература,— это главное, что мы должны понять и определить сегодня, так как нам кажется, что и сам успех этих товарищей — уже пройденный этап и для них самих и для всей советской литературы военного времени.

Великие традиции русского патриотизма оплодотворили дух современного русского воина. И мы вовремя обратились к истории. Мы сделали только одно упущение: мы не учли, что к великолепным традициям русской истории относятся и традиции русской литературы. А между тем остается фактом, что под видом борьбы с эпигонством, то борьбы с «проклятым прошлым» обрывалась великолепная традиция русской поэзии.

Так, например, типичная для русской поэзии живопись родной природы, придававшая всегда нашей поэзии обаятельный национальный колорит, была окончательно вытравлена из нее. Картины родной природы почему-то отождествлялись с помещицей Россией. Излишняя урбанизация поэтического словаря и рисунка очень обеднела русскую поэзию, в то же время отдалила ее как раз от того советского человека, который сейчас в рядах русской армии решает судьбу России заодно с судьбой ее поэзии. Этот человек в искусстве мог любить только то, что и в жизни составляло его радость. А любил он родную природу, родной язык, быт и традиции его предков, то есть все то, что игнорировала абстрактно-публицистическая

поэзия и что под видом борьбы с эпигонством и старинкой вытравлялось из нашей поэзии.

Но только декадентствующие литераторы могут принимать и выдавать традицию за эпигонство. Традиция — это национальный опыт народа в той или иной области, его достояние и сила. Эпигонство же — это просто «передразнивание» таланта посредственностью, то есть вещь бесполезная. Кстати, эпигонство и формализм — близнецы: и тот и другой литературу предпочитают жизни. И не случайно, что именно мастера литературных подделок, изоцряясь в эпигонской игре ритмов, вытравили из своей поэзии природу как часть жизни. Сведя свое версификаторство к фактам, они свели познавательную роль стихотворения к тем громким мелочам, о которых они говорили, а общественную роль поэта — к политическому функционерству.

Но великая русская поэзия, знавшая Пушкина, Баратынского, Тютчева, Некрасова, Фета, Блока, Маяковского, Есенина, не могла встать на путь литературного робота, как бы этого ни хотели одушевленные роботы поэзии.

Процесс, переживаемый сегодня советской поэзией, начался еще задолго до войны. Немало талантливого дал уже этот процесс возвращения русской поэзии к самой себе. Война, поставившая поэта лицом к лицу с народом, необычайно ускорила этот процесс. Но и по окончании ее наша поэзия, как и весь народ, будут жить ее великим и грозным опытом. Жуковский и Батюшков, Крылов и Вяземский, как и многие их литературные современники — участники первой Отечественной войны, свидетельствовали, что вся их последующая духовная жизнь была, так сказать, аккумулярована 1812 годом. Я уверен, что как многие из нас, наиболее честные, жили благородным воздухом гражданской войны, так все наше искусство, по окончании Отечественной войны, будет жить ее великими моральными ресурсами. И горе тем, кто этого не понимает, кто воспринимает великое народное бедствие с раздраженностью потревоженного обывателя...

...Хорошая тема не создает сама по себе стихотворения хорошего, плохое стихотворение не убивает, не исключает хорошей темы для настоящего поэта. Полевой тоже, Булгарин тоже тянулись к теме Годунова.



Полевой даже писал, как известно, царю слезницы по поводу того, что Пушкина, а не его подпускают к царским архивам. Но, как, несмотря на эпигонскую халтуру, которая, по его выражению, десять лет заменила за Маяковским, остались все же только стихи Маяковского, как остались не полевые и болгаринны, а остался Александр Пушкин, так и теперь — только подлинно художественное останется из того, к чему вместе с нами тянутся нечистые руки рвачей и выжиг.

Вот почему сегодня вопросы формы, вопросы творческой индивидуальности приобретают особое значение. Вот почему надо, чтобы и в статьях и докладах профессиональная компетентность неизменно чувствовалась. Вот недавно появилась эпигонская до пародийности поэма. Напечатали — и никто ни слова. Как будто так и надо. А все это письма любимой на фронт и с фронта! И опять ни слова! Все сходит с рук. Надо прекратить этот литературный блуд с той же резкостью, как это делала «Правда» в других жанрах. Никаких скидок на войну! Это неправда, что во время войны не будет создано ничего настоящего. Это и неверно и вредно. Ссылка на войну 1914 года несостоятельна: война четырнадцатого года не была войной Отечественной. Пример же первой Отечественной войны говорит о другом. «Певец во стане русских воинов» был действительно написан во стане воинов. Басни Ивана Крылова прямо отсылались Кутузову и цитировались им. А Батюшков? А Вяземский? Правда — другое: правда, что в первой Отечественной войне получила одновременно начало в русской гражданской литературе и великолепная манера разговора с армией и народом Жуковского и, как ее называет Лев Толстой, «ерническая манера» графа Федора Василье-

вича Растопчина. Язык раешника, который, по свидетельству того же Толстого, непонятен народу, когда им пользуются господа, и неприятен, когда на нем разговаривают люди из народа. Но этот язык графа Федора Васильевича Растопчина не пользовался успехом ни у армии, ни у народа...

Нервы народа напряжены сейчас необычайно. Народ поумнел. Разговаривать с народом сверху вниз нельзя. Серьезность, искренность, глубина и честность — вот чем можно только тронуть советского читателя на третьем году великой войны.

Даже многие из тех советских поэтов, которые на первом этапе войны удачно работали, в значительной степени пришли и тематически и лексически на готовое. До войны они робели, а иногда и просто отрицали те темы, которые они не без успеха теперь разрабатывают.

Но в поэзии почти все делается своими руками. Все: и тема, и сюжет, и строфа, и, главное, мысль. А поэтическая мысль оригинальна только тогда, когда оригинален синтаксис поэта. Поэзия не просто составление слов, это творческая гибридизация...

Значит, тайна есть, секрет есть. И у каждого поэта, так сказать, своя рецептура этой синтаксической тайны. Без нее нет поэта. Успех, который мы сейчас имеем в армии, успех первой любви. Армия вырастет и многое переоценит, а отчасти и уже начинает переоценивать многое. Надо, видимо, чтобы мысли поэта и его искусство, как искусство классическое, при новом чтении не отбрасывались, а каждый раз по-новому перечитывались. Вот такая-то проблема слова, слова индивидуального, наполненного великим смыслом патристических чувств советского человека, и стоит сегодня перед нами на новом этапе советской поэзии.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ

Человеческие, не божьи —  
так сказать, из народных масс —  
мы не раньше пришли, не позже,  
мы — как раз.

В потрясенной насквозь державе,  
стиснув зубы,  
врагам на страх,  
наши матери нас рожали  
в лазаретах и в погребках.

Обрели мы свою закваску,  
горьким вскормленные молоком.  
К нам отцы применяли ласку  
между боем и сypньяком.

И крестил нас верстой простертой  
мир, где в пламени даль и высь...  
Не в сорочках, а в гимнастерках  
мы — я думаю — родились.

Так давным-давно должна была начинаться поэма о моих ровесниках. Я заранее посвятил ее побратимам по фронту и стихам — поэтам поколения. Она до сих пор не написана, но я еще надеюсь — может, когда-нибудь...

А пока начну с бочки из-под горючего. Потому что, трясясь в кузове полуторки, я на ту бочку облокотился. И не заметил, что на крышке осталась лужа бензина. Рукав постепенно промок — шинель обожает впитывать влагу, — на коже вздулись желтые вонючие пузыри, от меня еще долго несло, как от бензозаправщика...

Дело в том, что я был в ошарашенном состоянии. Прямо из пекла, с Наревского плацдарма, я ехал по зимней дороге в тыл к Острову-Мазовецкому на слет писателей 2-го Белорусского фронта. Местоимение «я» и понятие «писатель» в моем сознании не совмещались.

Неделю назад у кромки ничейной зоны мы встретили новый, 1945 год. Надо было уточнить минные поля противника — готовилось наше наступление. По всем приметам, до него оставались считанные дни.

А тут под лучами фар, горящих вполнакала, скользит ледяной асфальт, фронт уже не слышен, впереди удивительное, неведомое, и редактор армейской газеты

подполковник Борис Сергеевич Рюриков высовывается из кабины — интересуется, не замерз ли я...

...Большое белое здание казалось пустынным — то ли бывшая школа, то ли покинутый госпиталь. Электричество не работало: промозглые коридоры, гулкие холодные залы. Но в одной из комнат топилась печь, дверца распахнута, в перебегающих отсветах видны заправленные койки... Я сразу приметил, что военные, сидевшие у огня, — офицеры: в полутьме ярко поблескивали звездочки на полевых погонах. Вместе со мной в комнату ворвался резкий и противный запах низкооктанового бензина. От всего этого я окончательно растерялся.

Впрочем, офицеры стали знакомиться совсем по-штатски: рукопожатие, имя, фамилия.

Если б они в тот миг проникли в мою смятенную душу, они услышали бы, что их простые имена и незамысловатые фамилии звучат во мне волшебю.

Пусть я уже, как говорится, имел счастье видеть свои стихи напечатанными, и не только на страницах армейской газеты. Все равно мне казалось, будто это нечаянная удача, не слишком всерьез. Для войны нужны какие-то особенные слова, только я не мог их придумать, а вернее, вообще не знал. Однако существовали люди, которые не то чтоб их знали, но умели самые обыкновенные житейские слова поставить так и в таком порядке, что они являлись «весомо, грубо, зримо», были поэзией и правдой. На корявой обугленной земле, в гуще, в горечи войны жили настоящие поэты, люди моей любви, ликования и откровенной зависти.

Ими воспевается эпоха.

Зря, друзья, в поэты я пошел.

Ну хотя б они писали плохо — главное, что пишут хорошо!

И вот они передо мной в этой полутемной комнате, в перемежающихся бликах живого огня, просто молодые ребята, обычные и все-таки необычайные. Здесь собрался отряд воинов Русской Поэзии, их немно-

го, как в боевом охранении; каждый по-очередно называет себя, и еще неизвестно, какое имя я услышу следующим. Если б один из них, старший лейтенант, оказался Михаилом Лермонтовым — я, пожалуй, не слишком удивился бы...

Я знаю их всех — давно, влюбленно и наизусть.

Они пронзительно похожи на свои стихи. Нет, иначе: они точно такие, какими должны быть, судя по их стихам.

Назвав себя, я почувствовал тихий восторг: оказывается, и они меня знают. Никогда, ни до, ни после, я не был таким гордым, как в эту минуту.

— Ты почему с нами на «вы»? — сердито спросил Володя Замятин. — Это в своем батальоне ты Швейка, а здесь мы все поэты.

Так и пристала ко мне на те благословенные дни смешная кличка — не «Швейк», а именно «Швейка». Поскольку одновременно меня впервые в жизни зачислили в поэты, я не обиделся бы и на менее деликатное прозвище.

Я знал — и пытался петь, в меру своих возможностей, — многие песни Владимира Замятина. А любил его стихотворение о петухах. Такое неожиданное в ту пору — ведь мы три года и крика-то петушиного не слыживали, а тут они, живые, горластые, пестрые, разгуливают как ни в чем не бывало и дожидаются где-то воющего хозяина: «Я всех петухов для стихов сохраняю!» Забавно: я сейчас вспомнил, как Замятина и меня, зверски отощавших из-за просроченного аттестата, на обратном пути кормил и поил какой-то рыжий майор, оказавшийся театралом. Володя, не растерявшись, выдал себя за артиста Абрикосова — и мы были спасены. Он и впрямь походил на Абрикосова: крупный, размашистый, с густыми вьющимися кудрями...

Михаил Луконин поначалу показался мне угрюмым и чуть высокомерным. Быть может, потому, что редко улыбался. Зато уж, когда улыбнется, сразу понятно: это свой, нашенский. Почему-то я решил, что на гражданке он был футболистом; хвалю себя за проницательность — я ошибся всего лишь на две трети. Существует традиционный образ поэта, эдакий оперный Ленский, — так вот Луконин — это как раз наоборот. И стихи он читал глуховатым голосом, как бы в себя, но это были такие стихи, что сотни тысяч людей услышали их и запомнили навсегда. Прошло много лет, мы не так уж часто встречаемся; допускаю даже,

что можем однажды поссориться, только ничто никогда не погасит во мне глубокого уважения к поэту, сказавшему в ту январскую ночь о себе, обо мне, о нас:

В нашем зареве роковом  
выбор был небольшой,  
но лучше придти с пустым рукавом,  
чем с пустой душой.

Я давно заметил: когда идет разговор в большой компании, есть кто-то один, чей отклик тебе дороже и ценнее других. В чьих-то глазах ты ловишь мгновенную вспышку — отсверк твоей удачи, для тебя огорчителен даже крохотный промельк неодобрения. Луконин что-то сказал, я ненароком уловил направление его взгляда — и увидел сияние глаза Сергея Наровчатова.

Не помню, откуда я уже тогда был слышан, что ребята дружат чуть ли не с первого курса института, успели хватить солдатского лиха еще «на той войне незначимой» — у линии Маннергейма... А вот о том, что один из них вытащил другого — раненого — из-под огня, я не знал. Здесь была не просто дружба — что-то иное, куда большее, чему названия никто и до сегодня не подобрал.

Стройный, синеглазый, светлый чубчик колечками; русский рыцарь Великой Отечественной в белых фетровых, подвернутых, как ботфорты, валенках, перетянутый начищенной до сверкания портупеей, красивый — не побоюсь этого слова! — вот Сергей Наровчатов тысяча девятьсот сорок пятого года. В ту пору кто-то усматривал в его стихах «книжность», кто-то совсем недавно обмолвился об «излишнем романтизме» его ранних стихотворений. Вранье! И тогда и сейчас — вранье. Солдаты не ангелы, они матерятся и переползают по-пластунски, но солдатский подвиг прекрасен, а вонючая грязь облепляет локти, колени, щеки, только не сердца.

Конечно, «душа» или, к примеру, «всевышний» — термины выпренность, вроде бы идеализмом припахивают, но я до сих пор слышу реальный, звонкий сквозь окопную хрипотцу, напористый голос молодого Наровчатова — слышу и навсегда верю поэту:

По мне три раза панихиды пели,  
но трижды я из мертвых восставал.  
Знать, душу, чтоб держалась крепче в теле,  
всевышний мне гвоздями прибивал.

Ярко запомнился Евгений Травин — чернявый, быстрый, с хитрющими глазами. Позже его соблазнили кино и эстрада; не

знаю, успел ли он издать хотя бы одну поэтическую книжку... А тогда были стихи «Пограничный капитан». мы знали их наизусть с первого авторского прочтения, была написана баллада о солдатской матери, что пришла на могилу сына:

Там, где берег оспую изрыт,  
на пути к немецкой обороне,  
он одним снарядом был убит,  
а другим снарядом похоронен...

Я говорю не обо всех — лишь о тех, кого четко помню. Трещали в печке дрова, выстреливали жаркие угольки — мы от них прикуривали. Сидели, словно у костра, и до утра читали стихи. Почему-то вполголоса — должно быть, потому, что слишком хорошо знали: войну не перекричишь.

Нет, мы читали не только свое. В ледяной стыни переднего края на трижды проклятом, тысячу раз перепаханном снарядами Наревском плацдарме, «где ни травинки, ни кустика, ни солнышка, ни звезд», жил и действовал Федор Сухов, девятнадцатилетний волжанин, командир взвода ПТР. Федины стихи порой казались как бы взятыми напрокат у Есенина; присланная мне коротенькая поэма была написана в ритме и с интонациями «Анны Снегиной». Самое забавное, что самого-то Есенина Федор впервые прочитал куда позже: в те годы великого русского поэта знали в основном понаслышке. Мне рассказывали подлинный случай военного времени: старый колхозник — любитель поэзии — за тонкую книжку с березками на обложке отдал мешок муки...

Где-то в одной из «дивизионок» нашего фронта служил старший лейтенант Сергей Аракчеев, автор, может быть, лучшего короткого стихотворения о войне:

Одно болото, где мы спали стоя,  
едва сумев дождаться до утра,  
мы называли чертовой дырой —  
в нем от застоя дохла мошкара.  
В нем не хотели рваться даже мины,  
а шли ко дну, пуская пузыри,  
и если б за ним не было Берлина,  
мы б ни за что сюда не забрели!

Я мог бы заполнить не одну страницу простым перечислением друзей... Они простят меня: называя лишь нескольких, я говорю обо всех.

Давно покоится на Ваганьковском кладбище — рядышком со своим другом Алешей Недогоновым — Владимир Замятин. В городе Риге живет заслуженный пенсионер —

полковник в отставке Сергей Аракчеев. Наровчатов и Луконин — секретари Союза писателей, из Волгограда от случая к случаю наезжает лауреат премии Ленинского комсомола поэт Федор Сухов... Все они равно дороги мне: я счастлив тем, что они — живые и мертвые, преуспевшие в поэзии и жестоко битые ею, — что бы там ни было, есть!

Жаркий огонь той печки в пустынном здании под Островом-Мазовецким и нынче светит мне...

...В марте сорок седьмого года, окончившая в грузовом «дугласе», как внутри замороженной рыбы, я летел из Польши в Москву на Первое Всесоюзное совещание молодых писателей.

Вот как я вошел впервые в Дом пионеров — не тот, что на Ленинских горах, а в старый, в особнячке близ Кировских ворот. Ко мне с ходу, прямо в дверях, ринулся высокий и ладный парень с очень белыми зубами и сросшимися на переносице бровями.

— Ты кто? — почти свирепо спросил он. Я назвал.

— Здоров! — и парень, хохотнув, крепчайше пожал мою пятерню. — Я Гудзенко.

И тут же метнулся к новому входящему.

А я уже обнимал Наровчатова и Травина — и радовался, что такой красивой оказалась Вероника Тушнова, таким вдохновенным и открытым для радости — Сергей Орлов, еще безбородый, со шрамами страшных ожогов, не тронувших его высокого и чистого лба...

Тощий и нервный Василий Субботин рассказывал, как брали рейхстаг. Неожиданно глаза его становились отсутствующими, в них вспыхивало и не могло улечься рыжее пламя. Из нагрудного кармана торчал карандаш: тонкий, остро отточенный, поблескивающий гранями, он был копией своего хозяина. Девочка в застиранной гимнастерке протянула руку лопаточкой: «Юля». У меня сохранилась памятка, смешная надпись на уголке авторской странички Юлии Друниной в альманахе молодых — крупным почерком старательной восьмиклассницы: «Мне очень нравятся ваши классич. стихотворения»... Бывший подводник Дмитрий Ковалев ходил чуть враскачку, словно под ним подрагивает пол, и щеголял треугольником тельняшки в вырезе рубахи. Маленький, на вид вроде бы тихий, он взрывался, слушая стихи: шумел, восторгался, в открытую негодовал. А свое читал застенчиво, вжавшись в стул,

и сразу было ясно, какие строчки у себя самого он прямо-таки не одобряет.

А Саша Межиров ради торжества сменил свои протравленные болотами синявинские сапоги на ботинки с галошами — потерпел поражение. На Тишинском рынке ему почему-то не подсказали, что купленную обувь полагается примерять. Ботинки не лезли на ноги, а галоши на ботинки. Я был свидетелем, как фронтовик Александр Межиров первый раз в жизни сдался — сел в мокрый сугроб и сказал: «Как хотите, ребята, я дальше не пойду»... Я почти испугался, впервые увидя его читающим стихи: вдруг закаменело лицо, застыли, сосредоточась на какой-то дальней, еще не открытой планете, огромные и прекрасные глаза («Падший ангел», — острит А. К. Тарасенков), кисти рук, словно у слепого, шарят в воздухе, ища опоры... Звучат строки об убитом под Ленинградом солдате, а я слышу, чувствую, всем существом знаю: поэт говорит о себе.

Мальчик жил на окраине города Колпино, фантазер и мечтатель — его называли лгунишкой... Презирал этот мальчик солдатиков оловянных и другие веселые игры в войну, но окопом казались ему придорожные котлованы, а такая фантазия ставилась тоже в вину...

Надо было читать стихи и мне. С трибуны! Перед Большой Русской Поэзией — в зале сидели Исаковский и Тихонов, Твардовский и Светлов, Луговской и Антокольский... не берусь перечислять всех богов этого Олимпа. Я стихи проорал: собственная беспомощность — не война, ее можно перекричать. «Здесь была громкая читка», — недовольным басом подытожил Николай Семенович Тихонов. Камень с моей души снял А. А. Сурков, бросивший мне записку: «Мы думали, в битвах мы Пушкина добыли, а нам, поглядите, подсунули Соболя». Если боги могут шутить, они не так уж страшны.

Кстати, именно Алексей Александрович Сурков выдал нам всем одно из самых мудрых напутствий, округло и вкусно выговаривая гласные, напирая преимущественно на «о»:

— Вы, наверно, ребята, думаете, что писатели купаются в сметане. (В ту пору сметана была волшебным недосыгаема.) Так я вам скажу вот что. Среди нас есть человек пять, которые, пожалуй, могут купаться в сметане. Еще человек с десяток могут есть сметану каждый день. А остальные, ребята, по выходным дням...

Как много мне еще нужно рассказать! Память выхватывает кадры из ленты четвертьвековой давности — один за другим. Вот Михаил Дудин, ухватив меня за пуговицу, вразумительно и «на полном серьезе» выдает вирши некоего, им придуманного псевдофронтного автора: «Ограбив риги и амбары, на запад катятся варвары»... Вот Михаил Львов, тыча перстом то в собственный лоб, то в аудиторию, читает — и запросто вколачивает в нас на всю жизнь:

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,  
как стать железом — мало быть рудой.  
Ты должен переплавиться, разбиться  
и, как руда, пожертвовать собой.

И вдруг, с разбега, — стоп-кадр! Но сначала приведу цитату из авторского предисловия к одной из моих книг, абзац о поэтах военного поколения:

«Без них всех, без их придирчивой дружбы и точного понимания, без их плеч и глаз, стихов и споров, не было бы ни этой книги, ни меня самого, как писателя. Поэтому мне трудно писать свою отдельную поэтическую биографию. Мы живы друг другом».

Никакой не стоп-кадр, просто фотоснимок. Я увидел его много позже — и словно резануло по сердцу. Стоят три хохочущих парня. Они положили руки на плечи друг другу. Они вышли, не сгорев, из пекла, впереди — целая жизнь, а стихи приняты всерьез, а ребята молоды и красивы. Отчаянно красивы, слово даю! Алексей Недогонов, Марк Максимов, Семен Гудзенко. Невозможно поверить, что двоих уже нет — со старого снимка озорно и уверенно смотрят хозяева жизни.

Алексей Недогонов на этой фотографии удивительно похож на Лермонтова.

Незадолго до ранней своей гибели, словно предчувствуя ее, он писал:

...Полное собрание сочинений  
за меня сержант Петров напишет.  
Он придет с веселыми глазами,  
с мозгом гениального мужчины.  
Если он находится меж вами,  
пусть потерпит до моей кончины.

Мое поколение — пятидесятилетние люди: многого мы не смогли и уже не успеем сделать. И все-таки я окончу эти заметки победным тостом — здравицей в честь сержанта Петрова. Верю в него, знаю наверняка, что придет; хочу надеяться, что еще при мне, ибо он человек нетерпеливый.

Мы дружили с Недогоновым с юных лет. В письме от 6 ноября 1942 года Алексей писал мне: «Оригиналы стихов побереги. Может, после моей смерти будешь издателем. Жди еще».

Я бережно сохранил свыше пятидесяти его писем и немало стихов в рукописях. Часть писем, адресованных мне, я опубликовал в 1971 году в журнале «Москва» (№ 4).

Предлагаю вниманию читателей два юношеских стихотворения Алексея Недогонова, которые не публиковались ни в одном из сборников поэта и рукописи которых хранятся у меня.

*Александр Логвин*

## ЖУРАВЛИ

Усталая туча качает едва  
густые дожди,  
чтоб цвели деревья,  
чтоб влага струилась,  
чтоб воздух немел,  
чтоб лопнула почка  
и лист зашумел.

И ты мне поверишь,  
со мною пройдя  
до устья неузнанного дождя,  
что встанет июнь,  
и травой задымит,  
и выкатит рыжее лето  
в зенит.

И ты мне поверишь,  
что славу свою  
я трижды,  
четырежды перепою,  
что в каждой былинке,  
что в каждом краю  
я славу, не тронувши, узнаю.

Ветра прошумят...  
И когда на закат  
листья промозглые полетят,  
когда, проходя полустанки,  
когда  
наполнят залетную грусть  
поезда,  
когда, оторвавшиеся от земли,  
повиснут  
на десять минут  
журавли,—

тогда в предвечернюю тишину  
я руки прохладные протяну,  
я руки зеленые протяну  
в таинственную тишину.

Но здесь ты совсем не поверишь.  
Тогда  
меня неземного закружит вода,  
подуют сухие ветра на поля,  
меня окрыляя  
и мной пепеля.

Лишь будущей осенью на свету  
я легоньким ландышем прорасту,  
сквозь осень,  
но все-таки прорасту,  
усиком трогая высоту.

Под вечер ты выйдешь  
гулять на поля,  
забыв про меня,  
ты увидишь меня,  
и, девичью голову наклоня,  
ты тронешь меня,  
не узнавши меня.

Тогда я почувствую мир.  
И тогда  
на миг остановятся поезда,  
и в невысокой, небесной дали  
застынут на десять минут  
журавли.

*27 августа 1934 г.*

## УЧИТЕЛЬ

Вперед, вперед, моя история!

*А. С. Пушкин*

На Болдино в полдень косые  
по травам проходят дожди.  
Цветут олеандры.  
Россия  
слепая лежит позади.  
От бора черны и могучи,  
гремящие в руслах досель,  
стремятся прохладные тучи  
за тридевять дальних земель.  
Уж сумрак ложится на плечи.  
И благовест слышен окрест.  
Темнеет.  
Скрипит недалече  
ветрами расшатанный крест.  
— Кто здесь под землю сокрыт?  
Разбойник иль странник?—  
Ни звука.  
Лишь ветер, как злая разлука,  
как «вечная память» шумит.

\* \* \*

Я этот пейзаж взбудоражу.  
Я гостем войду в старину.  
К его золотому пейзажу  
я сердце свое протяну.  
Уже  
сквозь пространства наречий,  
сквозь время,— которым горю,—

я с ним,  
как с великим предтечей,  
о нашей судьбе говорю.  
...Течет разговор о «Полтаве»,  
шипя, остывают чай...  
А он мне читает о славе  
последние ямбы свои.  
Но вот,  
простирая перчатку вперед,  
пред ним император встает.  
Глухие шаги конвоира  
дробят тишину впереди;  
он молча уносит полмира  
в стесненной от гнева груди.  
— Кавказ!!! —  
Но стихом окрыляться  
зовет его муза сама.  
Ни доводы жалких реляций,  
ни ссылка,  
ни смерть,  
ни чума,—  
ничто и никто не посмеет  
закрыть ему к славе пути.  
Мы знаем —  
он сердцем сумеет  
до вечности нашей дойти.  
...Он с будущим ищет союза...  
...Еще бы хоть несколько лет!  
О, если б не этот  
француза  
летающий  
во мглу  
пистолет!  
1936

НЕДОВОЛЬСТВО

Я шагал  
Сквозь огонь и воду  
В сапогах тяжелей металла —  
И в свинцовую непогоду  
Сердце глуше работать стало.  
Но и в бурю  
Я видел небо  
Не седое, а голубое,  
Не шатался от боли,  
Слепо  
Не шагал в туман пред собою.  
Если ж  
Чем и был недоволен,  
То, конечно,  
Не злой судьбою,  
А отсутствием силы воли  
Быть везде и всегда собою,

Ах, откуда со мной такое,  
Что случилось со мной —  
Не знаю,—  
Только я  
И теперь собою  
Недоволен всегда бываю!  
Оттого ль,  
Себя проверяя,  
Я спрашиваю Москву:  
— В самом сердце родного края,  
Как Ильич завещал,  
Живу —  
Иль, слова его повторяя,  
Забываю их наяву?

*4 января 1959 г.*

\* \* \*

Что это было? Казалось,  
Блеском зарниц ослеплен,  
В сутолоку вокзала  
Ружнул плашмя небосклон.

Каждой травинкой и каждой  
Ветвью, что завязь дала,  
Вся опаленная жаждой,  
Пресека ливня ждала.

Смутно бежала вдоль неба  
Тонкая роспись берез,  
Воздух таким еще не был —  
Мягким и пряным до слез!



## БЕЗ НАЗВАНИЯ

К этим звездам,  
Что с давнего времени  
Золотятся и тают во мгле,  
К самым дальним, без роду и племени,  
Неизвестным еще на земле,—  
Будут мчаться ракеты чудесные,  
Как сегодня на север и юг  
Чуть влачатся составы железные  
С расписаньями встреч и разлук.

Но напрасно сверхмодные юноши  
Не стесняются вслух говорить,  
Что, по технике всех переплюнувши,  
Мы стихи перестанем творить.

По путевке взлетов в мироздание  
И вернувшись в ракете-такси,  
Так же будет спешить на свидание  
Человек молодой на Руси.

Так же будет  
С глухою тревогою  
Сердце биться, а кровь — kloкотать,  
А дымок за железной дорогою,  
Словно пух аистиный, летать.

Жернова штормовые ворочая  
И смывая следы на песке,  
Так же будут,  
Как чернорабочие,  
Океаны шуметь вдалеке.

Только там, где пески раскаленные  
Заметали когда-то пути,—  
Удивительно ярко-зеленые  
Будут рощи  
До неба расти.

И пока  
С баснословною силою  
Будет жизнь развиваться, спеша  
В день грядущий, сметая все хилое  
И порывами бури дыша,—  
Будет цвести  
И поэзия милая,  
Как природы живая душа!

*Сентябрь 1959 г.  
Август 1960 г.*

*Публикация И. С. Ойслендер*

## ИЗ ЖИЗНИ — В ЖИЗНЬ

Процесс взаимообогащения и сближения культур социалистических наций начался в дни Великого Октября, когда на огромных просторах бывшей Российской империи десятки малых народностей даже не имели своей письменности. В. И. Ленин в те первые годы после Октября поставил вопрос о культурной революции величайшего масштаба, подразумевая, прежде всего, интернациональный характер и масштаб этого важнейшего общегосударственного вопроса. И разрешение этого вопроса основатель нашего социалистического государства видел в движении многомиллионных масс к социализму, движении, объединяющем людей, хотя и принадлежащих к различным национальностям и расам и стоящих на разных ступенях культуры.

Таким образом, ленинская национальная политика и сама практика социалистического и культурного строительства в нашей стране — вот два фактора, которые оказались мощным стимулятором ускоренного развития всей нашей многонациональной литературы. Уже в предвоенные годы общесоюзную известность получили такие поэты, как Сулейман Стальский, Джамбул Джабаев, Гамзат Цадаса, Хоца Намсараев и другие народные художники, предстатели младописьменных литератур. Их имена стоят в одном ряду с именами Демьяна Бедного, Владимира Маяковского, Николая Тихонова, Янки Купалы, Якуба Коласа, Аветика Исаакяна, Георгия Леонидзе. Уже тогда, в предвоенные годы, начался интенсивный процесс освоения опыта братских литератур, взаимных переводов, поездок в союзные и автономные республики бригад поэтов и художников.

Начало Великой Отечественной войны грозным эхом отозвалось в сердцах всех советских людей, вызвало немедленный отклик в душах поэтов-побратимов.

Чтобы конкретнее раскрыть мысль о том, насколько тогда уже было в нашем народе развито «чувство семьи единой», по прекрасному выражению Павло Тычины, я хотел бы обратиться к двухтомнику «Великая Отечественная», в котором собрано и представлено более трехсот поэтов Советского Союза. Этот двухтомник — свое-

образная лирико-публицистическая летопись минувшей войны, он — в едином своем целом — и потрясающий человеческий документ, и художественная ценность, и веха в истории нашего народа.

В памятном всем нам июне сорок первого года грузинский поэт Ираклий Абашидзе писал:

Братских призывов разносится гул,  
Степи зовут, отвечают вершины,  
Кличет из Казахстана Джамбул,  
Слышен из Киева голос Тычины.

*Перевод Э. Анианишвили*

И это было действительно так. Мне, например, после этих строк непременно вспоминается обращение престарелого акына Джамбула к Ленинграду и ленинградцам, написанное несколько позднее, в дни ледяной блокады города-героя, пронизанное болью, любовью и верой в победу над врагом. Мне вспоминается и трагическая судьба одного из ленинградцев молодого поэта Алексея Лебедева, штурмана подводной лодки. Уходя из Кронштадта в боевой и, как потом выяснилось, последний рейс, он написал молодой жене:

Переживи внезапный холод,  
Полгода замуж не спешу...  
А я все так же буду молод,—  
Там, в тайниках твоей души.

Не десятки тысяч, не сотни, а миллионы и миллионы солдат и офицеров Советской Армии, как и Алексей Лебедев, навсегда остались молодыми в сердцах их матерей, жен, друзей, земляков.

В каком бы самом отдаленном северном городке или южном селении мне ни довелось побывать за последние годы, — всюду я виделobeliski с именами погибших на великой войне. Поэтическая летопись Великой Отечественной войны пополняется и поныне все новыми и новыми судьбами, — и за каждой такой судьбой встает судьба всей нашей многонациональной литературы. Я не знал ранее, до того, пока не прочитал двухтомник, замечательного литовского поэта Виктораса Валайтиса. Он пал смертью храбрых в 1944 году. Но в своем стихотворном завещании он думал о буду-

щем, думал о нас с вами, о людях семидесятих годов, и больше всего на свете хотел, чтобы родные прибалтийские дюны узнали, что он погиб честно, погиб как солдат. И еще до последнего часа он мечтал о том, чтобы в послевоенном далеке «росли свободно люди, любили родину свою».

С этими светлыми стихотворными строками перекликаются строки башкирского поэта Мустая Карима, раненного на фронте в грудь (у него в кармане гимнастерки пулей пробито комсомольский билет). Карима буквально вырвали из объятий смерти военно-полевые хирурги.

В дни войны, в дни тяжелого отступления на восток, фронтовые пути-дороги башкирского поэта пролегли по Украине. И вот, окрыленный «чувством семьи единой», вдохновленный образом Катерины из одноименной поэмы Шевченко, поэт написал стихотворение «Украине»:

Довольно слез! Меня послал Урал,  
Чтоб ты утерла слезы, Катерина.  
Я под Уфю землю целовал,  
Чтобы цвела, как прежде, Украина!

*Перевод М. Максимова*

Его товарищ и собрат по оружию — белорусский поэт Анатолий Велюгин принимал участие в боях за старинный русский город Смоленск. Как известно, Смоленск был оставлен нашими войсками в сорок первом году. Но там, за смоленской крепостной стеной, за полями и лесами, протекает река Березина, на которой были разгромлены отступающие войска Наполеона. Там, под Смоленском, будут разбиты и механизированные корпуса немцев. Об этом и написал Анатолий Велюгин стихотворение «Смоленск»:

Сосновый малахит,  
Заря, как жар костра.  
Славян могучий щит  
На берегу Днепра.

Он страж родной земли.  
Века стоять стене,  
За башнями, вдали,  
Шуметь Березине.

*Перевод Я. Хелемского*

Однако участвовать в освобождении Смоленска довелось не Велюгину, а Александру Твардовскому, родившемуся в этих местах. Когда же пробил час возмездия, Твардовский написал полное высокого интернационального и патриотического подъема стихотворение «Минское шоссе»:

Войска идут вперед на Запад,  
Вперед на Запад, до конца!

...Здесь мне хотелось бы сделать небольшую лирическую паузу. В сорок четвертом году, когда наши войска перешли в наступление на всех фронтах от Белого до Черного моря, я был на Карельском перешейке: наша дивизия только что приступом взяла город Выборг. Может быть, смутно, а может быть, и осознанно, но мне хотелось быть далеко на юге, с частями, приближающимися к границам Болгарии. И вот почему. Мой дед по материнской линии, Александр Иванович Киров, был ополченцем во время русско-турецкой войны. Скажу больше... 28 ноября 1877 года, при попытке Осман-паши вырваться из окружения, во время рукопашной схватки на мосту через реку Вит мой дед был ранен турецким янычаром в плечо. Конечно, мне хотелось бы пройти по стопам моего деда. Однако не довелось... А довелось это сделать — среди многих и многих других — казахскому поэту Абу Сарсенбаеву.

Завели батареи спор,  
Их раскаты кругом слышны,  
И качнулись ущелья гор,  
Вторая эхом грому войны.  
А дорога вьется змеей,  
По опасным ползет местам.  
Старый памятник боевой  
Предвещает победу нам.

*Перевод В. Гордиенко*

Стихотворение «Перевал Шипка» Абу Сарсенбаев написал в 1944 году, и в нем — с почти дневниковой точностью — запечатлены мысли и чувства советского солдата, идущего на помощь братскому болгарскому народу. Я благодарен Абу не только за его воинский подвиг, но и за его ощущение исторической преемственности поколений, за эту реалистическую точность стиха: она позволила мне как бы самому пережить все то, что он пережил и испытал, проходя шипкинский перевал.

9 мая 1945 года Исаак Борисов, еврейский поэт, ветеран Отечественной войны, сильным и точным штрихом наметил грань, которая наконец-то — после четырех бесконечно долгих лет и зим — пролегла между войной и миром. И этой гранью была тишина. Да—

...была тишина,  
и глаза  
узнавали глаза —  
человек человека  
окликал  
на великом земном языке  
тишины.

*Перевод Ю. Левитанского*

Так думалось тогда, в мае сорок пятого года, не одному Исааку Борисову, а всем нам, бывшим фронтовикам. Однако в этой послевоенной тишине то с одного, то с другого конца планеты стали доноситься оружейные залпы, взрывы авиабомб... Сколько лет, — подумать только! — сколько лет лилась кровь мирных жителей на рисовых полях Южного Вьетнама... Силы кощунства и зла пытаются одолеть стремление народов к свободному и независимому существованию, пытаются помешать «расти свободно людям, любить им родину свою», как завещал литовский юноша Викторас Валайтис. Но против этих сил кощунства и зла все тверже, все решительнее выступает интернациональная сплоченность людей мира и труда. Этим интернациональным пафосом озарена новая поэма Михаила Луконина «Обугленная граница», новые стихи и поэмы Сергея Орлова, Платона Воронько, Эдуардаса Межелайтиса, Максима Танка, Кайсына Кулиева, Мустая Карима, Давида Кугультинова и многих других поэтов брат-

ских литератур, поэтов, прошедших «огненный мост» войны.

Вот почему трудно переоценить вклад поэтов фронтового поколения в нашу сегодняшнюю советскую литературу. Вот почему наша молодежь, как когда-то отцы и старшие братья, воспитывается в духе интернационализма и патриотизма на великих стройках страны, где работают, трудятся люди двадцати, тридцати, семидесяти национальностей. И наши молодые поэты, наследуя лучшие традиции советской поэзии, ее боевой, активный, наступательный, пафосный характер, все многограннее и выразительнее запечатлевают «чувство семьи единой» в своих произведениях.

«Мы гордимся своим «военным происхождением», — пишет Михаил Луконин в книге «Товарищ поэзия», — но не дадим хлопнуть нас в его рамках. Тут важно то, что это пробуждение к поэзии происходило в момент слияния с жизнью народа, потому что у поэзии только один путь: из жизни — в жизнь».

## Дмитрий Кедрин

1907—1945

\* \* \*

Когда-то в сердце молодом  
Мечта о счастье пела звонко...  
Теперь душа моя — как дом,  
Откуда вынесли ребенка.

А я земле мечту отдать  
Все не решаюсь, все бунтую...  
Так обезумевшая мать  
Качает колыбель пустую.

15 июля 1941 г.

### НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!

Не печалься! Скоро, очень скоро  
Возвратится мирное житье:  
Из Уфы вернутся паникеры  
И тотчас забудут про нее.

Наведя на жизнь привычный глянец,  
Возвратят им старые права,

Полноту, солидность и румянец  
Им вернет ожившая Москва.

Засияют окна в каждом доме,  
Патефон послышится вдали...

Не печалься: все вернется — кроме  
Тех солдат, что в смертный бой пошли.

3 марта 1942 г.

## БОГ

Скоро-скоро, в желтый час заката,  
Лишь погаснет неба бирюза,  
Я закрою жадные когда-то,  
А теперь — усталые глаза.

И когда я стану перед богом,  
Я скажу без трепета ему:

— Знаешь, боже, зло я делал многим,  
А добра — должно быть — никому.

Но смешно попасть мне черту в руки,  
Чтобы он сварил меня в котле:  
Нет в аду такой крошечной муки,  
Чтоб не знал я горше — на земле!

10 июля 1942 г.

*Публикация Л. И. Кедринной*

## Ицик Фефер

1900—1952

### ЖИВА ТВОЯ МАМА

Молоком, теплыню пахнешь,  
Ты сосешь, сосешь упрямо,  
И бессмысленные глазки  
Ищут, ищут взгляда мамы.

Ты живешь на белом свете,  
Ничего не ощущая,  
У тебя большое счастье —  
Мама у тебя живая.

Над твоею колыбелью  
Вот она опять склонилась.  
Сонная твоя головка  
Вновь во взгляде отразилась.

Просто все и все обычно,  
Может, так во сне бывает,  
Твой отец у колыбели  
Что-то тихо напевает.

Руки, ноги — все в порядке,—  
Папа у тебя здоровый...  
О, какое это счастье —  
Обнимать отца живого.

Небо снег на землю сыплет.  
Людам дышится на славу.  
Нет на улицах развалин,  
Снег сегодня не кровавый.

Просто все и все обычно,  
Может, так во сне бывает —  
С треском пламенеют щепки,  
Суп в кастрюле закипает.

Вьюга весело танцует  
Над большими площадями,  
И поскрипывают сани  
Белоснежными путями.

Как ты чмокаешь доволью!  
Мать твоя склонилась рядом,  
Как ты глазки раскрываешь,  
С материнским встретясь взглядом!

Ты глаза ее не видишь,  
Как дрожат тревожно веки,  
Сколько боли, сколько горя  
В них запрятано навеки!

Боль всех матерей планеты,  
Что с детьми погибли рядом,  
Будто выражена этим  
Скорбным материнским взглядом.

Но каким несметным счастьем  
Стала мать твоя богата,  
Лишь взглянув на твои губки  
И на носик влажноватый.

Как мечтает, чтобы стал ты  
Самым лучшим и красивым.  
Пусть никто не помешает  
Быть тебе всегда счастливым.

Мудрость матери в молчаньи,  
Мудрость выражена просто:  
Знает — ждет твоя Отчизна  
Твоего большого роста!

*Перевод с еврейского Мих. Светлова*

1912—1958

СКАЗКА

Вы, читатель, право, не стесняйтесь,  
чувствуйте себя как дома.  
С вашей стороны чудесно,  
что в такой метельный вечер  
навестить зашли  
угрюмого поэта.  
Проходите и садитесь к печке.  
А чтоб вой трубы  
не беспокоил сердце,  
я вам сказку расскажу сейчас.

Вот на нашем белом свете  
жил-был Вечер с бородою,  
в вязаном жилете.  
Только как погаснет свет,  
так встает с земли седой  
одноглазый дед.  
А другого глаза — нет.  
Этот глаз, как медный таз,  
висит на небе один —  
называется луной.  
Вот такой  
знакомый мой!  
Раз мы с Вечером вдвоем  
поздно по лесу идем.  
Видим — дом.  
Говорит мне Вечер тихо:

— В большеглазом этом доме  
все писатели живут.  
Сказки леса стерегут.  
Как поймают —  
так и в книжку  
и в обложку на задвижку!  
Сказка в клетке тут как тут,  
спрячут, в город увезут,  
в магазине продадут.—  
И мы с Вечером в печали  
головами покачали.  
Не сказали мы и слова —  
перед нами Сказка снова  
очутилась в зипуне  
на зеленом пне.  
Ну, так вот:  
все мы трое —  
Я да Сказка,  
Синий Вечер с бородою —  
расспросили у Ворот  
тайную дорогу,  
к Мишке чай пить все пошли  
в теплую берлогу.  
Оглянулась я назад —  
а за снежными пеньками  
все писатели сидят.  
К Сказке тянутся руками  
и капканами стучат.

ОСЕНЬ

Между хвойных елей  
и округлых кедров  
солнце прошагало на закат,  
и уселось на краю земли —  
и как два  
пылающих крыла  
протянуло медные березы,—  
в небесах себя не уронив.

## ПОЭТ

*С. Щипачеву*

Вы прячете доброе сердце  
в застегнутый наглухо  
черный пиджак, —  
и вдруг при взгляде на стихи  
чуть розовеет бледное лицо,  
так при огне просвечивает  
алым  
мечтательное  
зимнее  
окно...

*Публикация Л. Е. Рубинштейна*

## Владимир Солоухин

### СЛОВО ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯШИНЕ<sup>1</sup>

Ровно десять лет назад Александр Яковлевич Яшин попросил меня быть председателем на вечере, посвященном его пятидесятилетию. Я согласился. Вечер предполагалось провести в Большом зале ЦДЛ, где мы с вами теперь находимся. По каким-то причинам чествование юбиляра тогда отложилось. Думали, что ненадолго, а оказалось — на сегодня, на 26 марта 1973 года.

Кое-что осталось прежним, кое-что изменилось за эти годы. Зал тот же. Председатель, как видите, тот же. Состав выступающих мог быть, наверное, иным, так же как и состав слушателей. Но друзья Яшина, те, кто его любил и любит, наверное, пришли и сегодня.

Как поэт и писатель Яшин стал за это десятилетие еще крупнее, еще значительнее, потому что от проверки временем поэзия либо тускнеет, либо становится ярче, либо легчает, всплывает и уносится течением, как шелуха, либо тяжелеет и оседает в золотые фонды литературы. Поэзия Яшина становится ярче и тяжелеет. Но прискорбно изменилось самое главное: не стало Яшина-человека, того живого Яшина, ко-

торого можно было бы поздравить с шестидесятилетием, пожать ему руку, обнять, перекинуться словом, чокнуться.

Когда говорят о творческом пути замечательного поэта и прозаика Александра Яшина, упоминают главные, отправные данные его биографии. Напомним о них и мы.

Родился он шестьдесят лет назад в глубине Вологодской области, в деревенской избе. Крестьянские поля, ранние работы на этих полях, глухие леса с их изобилием зверя, ягод, грибов — вот первые его впечатления. Он застал еще, конечно, и вологодские обряды в их полной неторопливой гармонии, одежду, песни, деревянную резьбу, хороводы, свадьбы... А вологодский говорок Александр Яковлевич сохранил до последнего дня.

Внешне все как будто легко и просто. Вот он пишет ученические стихи, которые печатаются в районной газете и в журнале «Колхозник», вот он учится в педтехникуме, учителем в сельской школе, избирается председателем вологодской писательской группы. Дальше — Литературный институт в Москве, дальше — война и Ленинградский фронт. Издаются книги, пишутся стихи и поэмы, присуждается Государственная премия, вновь издаются книги, пишутся новые стихи, появляется прекрасная яшинская проза. Творчество Яшина привлекает

<sup>1</sup> Произнесено на открытии вечера, посвященного шестидесятилетию со дня рождения А. Яшина, 26 марта 1973 года в Большом зале ЦДЛ.

к себе все более широкое и глубокое внимание, о нем все горячее пишут и спорят. А потом — преждевременная смерть, и вот мы отмечаем шестидесятилетие поэта, писателя, который навсегда останется пятидесятипятiletним.

На самом же деле литературная дорога Яшина была отнюдь не так проста и не так ровна. Ее никаким образом нельзя было бы изобразить, если бы вздумалось, горизонтальной линией. Она все время шла круто вверх. Собственно говоря, я не знаю в истории советской литературы, а если посмотреть шире, то и в истории русской литературы вообще, другого примера, когда мастерство писателя, глубина его произведений, острота их, значительность нарастают бы так наглядно, а главное, в таком писательском возрасте. Обычно к пятидесяти годам графическая линия творческого пути писателя, а тем более поэта, вот именно выравнивается, приближается к горизонтали, если не имеет тенденции идти под уклон. К пятидесяти годам главное нужно считать сделанным, хотя и могут и появляются новые книги, утяжеляющие общий писательский баланс. Но уже немного изменится в лице писателя, которое сложилось и устоялось за предыдущую половину века.

У Яшина было все не так. Он как будто только начинал раскрываться. И мы, знавшие все, что им написано, тем не менее поражались каждому новому его произведению как открытию, и каждое новое стихотворение было удивительнее и прекраснее прежнего.

В самом деле, разве можно сейчас представить себе Александра Яшина без повести «Сирота», написанной уже в 1961 году, то есть в сорокавосемилетнем возрасте, без «Вологодской свадьбы», написанной еще годом позже, без очаровательного рассказа «Угощаю рябиной», датированного 1965 годом.

Свою новую повесть под названием «Баба-Яга» Яшин так и не успел дописать. Именно ради нее он и умолял профессоров:

— Сделайте что-нибудь, дайте еще три месяца, продлите, сделайте чудо, потом готов умереть...

Отсрочки, как мы знаем, Яшин не получил.

Или возьмем его поэзию, его стихотворные сборники. Здесь неуместно, но я мог бы, просто читая стихи, показать, что сборник

«Бессонница» (1955—1958 годы) зрелее и глубже и просто лучше предыдущего сборника «Романтики»; книга «Совесть» (1959—1961 годы) так же соотносится с книгой «Бессонница»; книга «Босиком по земле» (1962—1967 годы) — с книгой «Совесть»; книга «День творения» (1965—1968 годы) — с книгой «Босиком по земле».

Это не значит, конечно, что каждая последующая книга зачеркивала предыдущую. В любой из этих книг содержатся стихи, которые образуют лицо Яшина-поэта и входят, как я уже говорил, в золотой фонд советской русской поэзии.

Дело в том, что Яшин шел не просто от книги к книге. Он шел к глубине, к социальной остроте, человечности, к правде, все более серьезному осмыслению окружающего его мира.

Знаменательно меняются даже названия книг. Сравним названия книг, так сказать, первой половины его биографии: «Песни северу», «Северянка», «Земля богатырей», «Земляки», «Алена Фомина», «Советский человек», «Свежий хлеб» — и названия книг его более зрелого периода: «Бессонница», «Совесть», «Босиком по земле», «День творения».

Или возьмем названия отдельных стихов.

«Вологодское новогоднее».  
«У ворот в цветах и лентах лошадь».  
«Авдотьюшка».  
«Невеста».  
«Весеннее».  
«Заречная красавица».  
«Сватовство».  
И второй ряд:  
«Опять я целый день негодовал».  
«Спешите делать добрые дела».  
«Покормите птиц».  
«Счастлив ли я?»  
«Лирическое беспокойство».  
«Сказать или промолчать?»  
«Не надо каяться».  
«Об одиночестве».  
«Я обречен на подвиг».

Теперь после названий книг и стихов возьмем для наглядности некоторые строфы.

\* \* \*

У Олены кофта — сад,  
Пуговки — росинки,  
Бусы — ягоды висят,  
Зреют бисеринки.



\* \* \*

У ворот в цветах и лентах лошадь,  
Заждались ребята за избой.  
Ты возьми гармонику, Алеша,  
Ту, что с зеркалами и резьбой.

\* \* \*

Никогда так низко не свисали  
Наливные яблоки в саду,  
В жизнь свою так парни не плясали,  
Как плясали в нынешнем году.

Таково было лирическое начало Яшина, такова была его лирическая записка в середине тридцатых годов. А теперь возьмем:

\* \* \*

В несметном нашем богатстве  
Слова драгоценные есть:  
Отечество,  
Верность,  
Братство,  
А есть еще — совесть, честь.  
Ах, если бы все понимали,  
Что это не просто слова...

\* \* \*

Не редко правдой поступался,  
Не делал все, что сделать мог,  
И обижал,  
И обижался,  
Помочь хотел, а не помог.  
Дурным поступкам нет забвенья.  
Да и прощенья нет,  
Когда  
Их судишь сам без снисхожденья,  
На свете горше нет суда.

\* \* \*

Я как будто родился заново,  
Легче дышится — не солгу.  
Ни себя, ни других обманывать  
Никогда уже не смогу.  
Ни к безверию, ни к сомнению  
Не причастна душа моя,  
Просто стало острее зрение,  
Повзрослело мое поколение,  
Вместе с ним повзрослел и я.

От всех этих раздумий необратимо далеко до залихватских плясок парней под гармонь, разукрашенную зеркалами. Теперь проблемы справедливости, добра и зла, человечности, искренности, гражданского

мужества, долга перед народом наполняют зрелые стихи Александра Яшина. Теперь, о чем бы он ни писал, даже если о своей собаке Джине, все равно уже нельзя обойтись без этих проблем. Познав глубину, нельзя уже барахтаться на поверхности. Зрелость и мудрость — это как умение плавать и ездить на велосипеде. Научившись, разучиться уже нельзя.

Вопрос эволюции яшинского творчества в сторону истинной гражданственности, истинной гуманности ждет еще исследования, если бы наша критика была исследовательской и столь же стремилась к правде и глубине, как к ним стремился Александр Яшин.

У нас принято говорить об умершем писателе, что он умер в расцвете творческих сил. Часто эта фраза — стереотип, долг вежливости. Но Яшин действительно умер в *расцвете творческих сил*. Более того, я бы сказал, что он был, пользуясь охотничьим термином, сбит влет, — его сбила болезнь, коварная и до сих пор не разгаданная медициной.

Яшин был жизнелюбом. Он любил охоту, рыбную ловлю, просто землю. Но он был и великий труженик. У него под стеклом на рабочем столе лежала бумажка. Думаю, что она лежит там и до сих пор. На ней в шуточной форме было написано:

*«МОЛИТВА (утренняя)*

*Господи, помоги мне написать еще одно стихотворение!»*

Вспомним, что именно ради работы он просил у профессоров отсрочку на три месяца, а не ради земных красот.

Пройдет еще сорок лет, как прошло десять. Будут отмечать столетие со дня рождения поэта и прозаика Александра Яшина. Может быть, в этом зале, может быть, в другом. Тогда уж наверное состав и выступающих и слушающих изменится. Но можно ручаться за одно: поэзия Яшина не потускнеет. Ее лучшие, драгоценные крупницы не унесет течением времени. Ее заинтересованность, ее правда, ее любовь и боль будут близки людям и тогда, потому что в своем творчестве Александр Яшин пришел к той большой правде, к той большой любви и к той большой боли, без которых человек не может быть человеком.

Александр Яшин

1913—1968

\* \* \*

Есть ощущение силы и в упрямстве,  
Оно как хладнокровие в бою.  
Меня не упрекнешь в непостоянстве:  
Хоть режь, хоть жги —  
Я на своем стою.

Случались в битвах тяжкие просчеты,  
Но — кровь во рту,  
А мы одно твердим,  
Что наше дело правое, и все тут,  
Что рано или поздно победим.

И удивляли мир,  
И побеждали!  
А для кого-то, верно, издали  
Самосожженцев мы напоминали,  
Когда на танки со штыками шли.

И мой характер тот.  
Неколебимо  
Кидает он в неравные бои:  
Я, если верю, — верю одержимо,  
Самосожженцы — прадеды мои.

1958

\* \* \*

Тянется тропинка  
Прямоком на диво —  
И низиной топкой,  
И сосновой гривой.

А потом с обрыва  
Ринется с откоса —  
Хорошо, что криво,  
Хорошо, что косо!

1958

\* \* \*

Как от огня, от себя бегу.  
Ожесточенье калечит душу.  
Вот и писать уже не могу  
И ничего — ни читать, ни слушать.

В близких увидел всю фальшь до дна.  
Как это мог я с ними годами  
Рядом сидеть за бутылкой вина,  
В залах торжественных за столами?..

1958

\* \* \*

С сединою да с лысиной  
Примириться легко ль!  
Много книг недописано —  
Это главная боль.

Наши мысли и чаянья,  
И бессильные сны,  
И немое отчаянье  
Никому не видны.

А предчувствие страшное  
Часто мучает зло:  
Может, самое важное  
То, что впрок не пошло.

И напрасно растрачены  
Столько сил, столько лет,  
Кровью сердца оплачены  
Книги те, коих нет.

4 февраля 1959 г.

\* \* \*

В этом поле замерзнуть можно—  
Снег по грудь,  
Никаких примет,  
Бесконечное бездорожье,  
Только ветер свистит тревожно,  
Только заячий вьется след.

На приволье, а как в неволе...  
Если б лыжи!  
Но лыжи где?..  
А кому-то и в этом поле  
Хорошо, как рыбе в воде.

27 октября 1964 г.

\* \* \*

Не хочу озлобленья!  
Озлобленье как старость:  
Меркнет воображение,  
Пригибает усталость.  
Крохоборов все больше,  
Духоборов все меньше...  
Где оно, вдохновенье?  
Что от счастья осталось?

1965

\* \* \*

Счастливы однолюбы,  
Они что единоверы:  
Душа не идет на убыль,  
Чужды ей полумеры.

Раз навсегда влюбиться —  
Это, ни мало ни много,  
В жизни определиться,  
Выбрать свою дорогу.

20 февраля 1968 г.

\* \* \*

...Подари, боже,  
Еще лоскуток  
Шагренево́й кожи.

И женщины, женщины  
Взгляд влюбленный,  
Чуть с сумасшедшиной  
И отрешенный,  
Самоотверженный,  
Незащищенный.

Еще хоть одну,  
С ее миражами,  
Большую весну  
С журавлями, с ветрами.

С ее полноводьем  
И полногрудьем,

С разнопогодьем  
И многотрудьем.

Еще сверх счета  
Прошу у бога  
Одну охоту,  
Одну берлогу.  
А там и до осени  
Недалёко,  
До золотоволосой,  
До кареюкой  
С поволокой,  
С многоголосьем...

А там  
Прихватим зиму  
Неукротимо...

3 апреля 1968 г.

Публикация З. К. Поповой-Яшиной

1888—1964

\* \* \*

Ты далека — не дальше полюс.  
Грустишь? Не знаю ничего.  
Не долетит с пургой мой голос,  
Друг, до порога твоего.

Душа в тревоге и сомненьях,  
Безмерна смертная тоска.  
И только в лживых сновиденьях  
Ты мне, далекая, близка.

\* \* \*

Ветер да вьюга кружатся,  
Годы стучатся в окно.  
Время и жизнь — как вино:  
Пьешь — и нельзя оторваться.

Двери всем вьюгам открою:  
Шумное время, входи!

Юность давно позади,  
Только не тянет к покою.

Гостем присядешь к столу,  
Гостем желанным ты будешь  
В красном почетном углу.

\* \* \*

Поезд уходит лениво,  
Пестрый сняла ты платок,  
Клонится роща над жнивом —  
Огненный, буйный поток.

Ты — словно в ризе икона,  
Мир — словно радостный сад.

Золото с дальнего склона  
Хлынуло, как водопад.

Наше все, наши все эти  
Рощи, холмы, небосклон.  
Если есть счастье на свете,  
Счастьем я не обойден.

\* \* \*

Забвенье мне предсказываешь ты,  
Ужасным призраком меня пугая:  
Забвенье, смерть любви... О дорогая,  
Страшится мысль сердечной пустоты!

Когда любовь из сердца улетит,  
К чему носить в груди гнездо пустое?  
Мечта безрадостная о покое,  
Пока живу, меня не соблазнит!

\* \* \*

Мы выходили из аллеи.  
Встречал нас в поле ветерок.  
Еще лучи зари алели,  
Но крался к роще холодок.

На плечи я тебе накинул  
Свой плащ,— межою мы пошли.  
И сумрак хмуро брови сдвинул,  
Поднявшись к небу от земли.

*Публикация А. А. Глобы*



## АРСЕНАЛЫ ПОЭМЫ

Проходя по строчечному фронту и окидывая взглядом роды и виды боевого оружия стиха, поэт — стратег и тактик рифмованного слова — убеждался в том, как мощно и уверенно «поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий».

И точно: «Облако в штанах», «Война и мир», «150 000 000», «Про это...», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Как неповторимы даже сами эти названия по звучанию и по конструкции!

И столь же своеобразно образное содержание каждой из этих поэм, сцепление строф, существо жизненных фактов, ставших источником поэтического вдохновения. Что и говорить — «окровавленный сердца лоскут», возникший в первой же строфе «Облака в штанах»; вопрос, заданный в «Прологе» к поэме «Война и мир», — «сквозь строй, сквозь грохот как пронести любовь к живому?»; образ из «Люблю» — «сплошное сердце — гудит повсеместно»; произнесенное в финальных строфах ленинской поэмы признание: «Я счастлив, что я этой силы частица»; обещание, присяга, клятва, открывающие Октябрьскую поэму, — «это сердце с правдой вдвоем», — все эти ключевые строки могут быть с полным на то основанием восприняты как звенья единой, последовательно высказываемой и утверждаемой программы.

Непрерывно движущаяся, обновляемая, однако же она постоянна в своей основе — в неодолимом стремлении и великолепной способности страстно, жарко переживать беды, тревоги, надежды, завоевания трудового человечества. Но постоянство это по своей природе требует непрестанного притока свежих фактов, коллизий, впечатлений (их приносит сама эпоха поэту, желающему и умеющему ее слушать, быть заодно с нею!), а значит, и выдвигания новых, смелых поэтических решений. И вот перед нами они — такие близкие по духу и такие несхожие по своему складу — поэмы Маяковского. «Облако в штанах», проникновенное излияние, где драма неразделенной любви так прочно, неразрывно слита с драмой «уличных тыщ», а мечта о живом и грозном слове, что «душу новородит», — с призывом к восстанию и с предчувствием революции. «Война и мир» — «зрелище величайшего театра», умопомрачительная фантазмагория, действующие лица которой — страны, народы, стихии. «150 000 000» — колоссальный плакат-слово, имеющий так много общего с теми плакатами-рисунками, над которыми Маяковский работал в РОСТе. «Про это...» — где опыт революционных боев переносится в сферу бытовой повседневности и сокровеннейшее, интимнейшее, как говорится, чувство становится орудием завоевания всеобщего счастья «всей мировой человечьей гущей». «Владимир Ильич Ленин» — напряженное и сосредоточенное историческое исследование, предпринятое «по мандату долга», — потому что «жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново»... «Хорошо!» — соединяющее летопись и монолог, эпос и гротеск, хронику и гимн...

Маяковский остро чувствовал неисчерпаемые возможности поэмы и приводил их в движение с головокружительной и точно продуманной отвагой. Он делом, строкою подтверждал обилие путей, по которым могло идти развитие большой поэтической формы.

А ведь еще в начале девятнадцатого века, в последние годы господства классицистических норм, казалось, что все здесь определено с неукоснительной строгостью и мастерам стиха остается следовать соот-

ветствующим канонам, насыщая новыми именами и событиями жесткие, заранее рассчитанные схемы — метрические, композиционные, «штилевые». Пушкин, отбросив эти обветшавшие установления, уже расшатанные Жуковским и Батюшковым, дал свободу поэме, сделал ее не только объемной, но и внутренне широкой, текущей прихотливо и естественно. Он заботился не о соблюдении жанровых «примет», а о полноте и силе выражения.

В письме, посланном Н. И. Гнедичу из Кишинева в Петербург 29 апреля 1822 года, создатель «Кавказского пленника» писал: «Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак его не называйте, издайте его в двух песнях или только в одной, с предисловием или без...» В словах этих без труда распознается не только доверие к «просвещенному ценителю поэтов» — как аттестуется здесь адресат, но и, прежде всего, уверенность в новизне и законности собственного произведения, в способности его произвести должное впечатление вне зависимости от каких-либо сопутствующих обозначений и разъяснений.

Почти каждая следующая поэма Пушкина была открытием. Читателю ясно видны различия, существующие меж «Кавказским пленником» и «Бахчисарайским фонтаном», «Братьями-разбойниками» и «Домиком в Коломне», «Полтавою» и «Медным всадником». И наконец — несравненный «Евгений Онегин», роман в стихах, с изумительной органичностью соединивший полноту, существенность романного повествования и волшебную емкость, стремительность стиховой речи. Совершенная простота сюжета, пронизательная жизненность человеческих отношений и характеров, ясная сложность их истолкования исключали какую-либо возможность их повторения и одновременно побуждали к дальнейшим поискам. О том свидетельствовало последующее развитие русской поэмы в девятнадцатом столетии — решительная самостоятельность и снова неповторимость «Мцыри» Лермонтова и «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, с одной стороны, и осторожное подражание тех, кто пытался перенести в стихи прозаическую повествовательность, — с другой. Эта традиция «рассказа в рифмах» была удобна, доступна, а потому и живуча. Она существовала даже и в годы крайнего субъективизма поэзии, быть может именно оттого, что не была для него опасна, не противостояла ему, а, напротив, как бы дополняла его, идя навстречу потребности читателя в «событийном» стихе, имитируя «конкретность» изложения. Ее бедность, ограниченность обнажили окончательно коренные, качественные перемены, начавшиеся в русской поэзии с приближением революции.

В те самые годы, когда дала себя знать взрывчатая сила первых поэмов Маяковского, его современник Александр Блок, признававшийся было в письме к Андрею Белому (15—17 августа 1907 года): «Драма моего мирозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — лирик», — три с половиной года спустя (21 февраля 1911 года) сообщает матери: в его умонастроении и творчестве «определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме», «последняя тень «декадентства» отошла». Поэма, здесь упоминаемая, — «Возмездие», и во введении к ней грозно вздымаются «неслыханные перемены, невиданные мятежи». Поэт подчеркивал принципиальное значение этой работы, когда писал: «Поэма обозначает переход от личного к общему». А затем появляются «Двенадцать», уже воплощающие в пластических, трехмерных образах торжество революции, ее приход. Самым неожиданным порядком осуществляется предвидение молодого Блока, чаявшего, что вскоре произойдет возрождение стиха, при котором воскреснут старые жанры — «от фабричной песни до серенады».

Да, широк образный, интонационный, строфический, фабульный, композиционный диапазон поэмы революционных лет. Это подтверждают

новые и новые произведения мастеров стиха, совсем несхожих по своему творческому облику. Стоит подчеркнуть постоянно существующую связь между особенностями той или иной поэмы и общим направлением усилий ее создателя. Иными словами, мы не сможем до конца в полной мере воспринять и осмыслить богатство образной сути произведения, его истоки, его место в поэтической современности, если не сопоставим его с другими книгами того же художника, выразившими на иной лад, иным способом его убеждения и склонности. В самом деле, разве не помогает нам воспринять «Анну Снегину» есенинская лирика? Разве не объясняют нам многое в «Главной улице» Демьяна Бедного его боевые публицистические стихи? А какие крепкие нити тянутся от «Думы про Опанаса» к картинам романтически взбудораженной природы, к неутомимым воинам и странникам, глядящим с прочих страниц «Юго-Запада»? Как плотно примыкает «Дорога» Тихонова к его циклам путевых стихотворений. И разумеется, невозможно отделить «Спекторского» от окружающей его лирической стихии.

Что и говорить, идя от поэмы к поэме, можно проследить их взаимодействие, определить логику переходов от одного типа произведений к другим. Но, право, в такой же степени необходимо верно понять развитие личности поэта, его устремлений и взглядов, отражаемое прямо и косвенно в произведениях любых жанров. Мгновенная озаренность лирической строфы и развернутая протяженность поэмы освещают становление художника, его отношение к жизни, а значит, и самое жизнь.

И все же, судя по многим признакам, есть особое душевное состояние поэта, которое необходимо ему для осуществления обширных замыслов и свидетельствует о готовности к работе над большой стиховой формой. Об этом говорят, к примеру, такие строки автобиографии Маяковского: «Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

Без сомнения, это чувство владения темой посещает поэтов и в ту пору, когда они обдумывают и пишут элегию, оду, балладу. Но, однако же, обращение к поэме требует дополнительных, наибольших усилий. Тут нужны верный выбор масштаба и точное соотношение всех звеньев и естественное соединение вольности с организованностью, непосредственности со стратегией.

Как и в любом роде творчества, тут отчетливо заявляет о себе неоторимая, ничем не заменяемая власть вдохновения. Так бывает, когда — вспомним признание Маяковского! — «тема придет, прикажет: — Истина!», когда «тема придет, велит: — Красота!». Значение темы, ставшей жизнью, с непревзойденной очевидностью сказалось в годы Великой Отечественной войны, когда общий, всенародный подвиг призвал к действию все сокровенные устремления личности, умножил возможности гражданские, творческие. Подумать только: в осажденном Ленинграде, в одних и тех же обстоятельствах — исключительно героических и исключительно тяжких — были написаны поэмы, так резко отличающиеся друг от друга: фантастический в своей строгой реальности и достоверный в своей необычайности «Киров с нами» Николая Тихонова, словно высеченный из гранитной глыбы, и многоцветная, фрагментарная, сложенная из разнородных наблюдений, переживаний, раздумий «Россия» Александра Прокофьева; дышащий скорбью, гневом, надеждой, мудростью «Февральский дневник» Ольги Берггольц и аналитический, ясный, разумный, подтверждающий высокие истины повседневными фактами «Пулковский меридиан» Веры Инбер!

Поэмы рождались в горниле боя, они были оперативны по своему происхождению и назначению. А между тем — о чудо, еще одно чудо социалистического искусства! — они получали долгую жизнь, оказывались нужными последующим поколениям. Именно такого соединения



«злободневности» и «времяустойчивости» добивался Маяковский. «Издание моей поэмы «Хорошо!» как будто приношено к нашему десятилетию, — говорил он в Киеве 8 марта 1928 года перед чтением поэмы. — Но я совсем не желаю, чтобы она украшала собой только это десятилетие. Она нужна будет и будет иметь значение и через 20 и через 40 лет. Да, я так думаю... Я в этом уверен».

Сложность и плодотворность той связи, что соединяет поэзию с временем, с жизнью народа, с особенной разительностью засвидетельствована «Книгой про бойца» — настоящим творением Великой Отечественной войны, ее эпосом и ее лирикой, ее хроникой и ее обобщенным итогом. Год за годом, сражение за сражением шел поэт вместе со своим героем, узнавая его все лучше и ближе в небывалых коллизиях, в неожиданных встречах: — со смертью и с знакомыми дедом да бабкой, с генералом и с освобожденной Европой. И эти звенья, появлявшиеся по отдельности, отвечавшие подчас насущным и преходящим очередным задачам, ненароком сплелись в неразрывное, широкоохватное единство, сложились в образ живой и величественный, воплотивший черты тех, кто вел «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле» и, добыв победу, сделал достоянием последующих поколений все завоеванное, пережитое, познанное...

И снова стала ясной бесплодность подражания, безрезультатность повторения однажды сделанных замечательных открытий. Сам Твардовский, как известно, не захотел идти по проторенному пути — идти в послевоенную жизнь со своим любимым героем. Он ушел в лирику, а вернувшись к поэме, разворачивал «За далью — даль» уже совсем по-иному, сочетая движение в пространстве не только с движением во времени, но и с исследованием, сопоставлением различных жизненных рядов.

Уже в восемнадцатом столетии высоко ценили «сопряжение далековатых идей». Нынче охотно говорят о «многоплановости». Термин этот изрядно истрепан, его уже употребляют к месту и не к месту. Но вне зависимости от этого способность обнаруживать глубинную связь, существующую меж совсем несхожими жизненными явлениями, находить в ней движущую силу образного единства, стала характерной чертой современной поэзии. Она дает себя знать в уникальной книге поэм Владимира Луговского «Середина века» — движущимся портретом столетия. Она дает себя знать и в лирике: посмотрите, как тяготеют одна к другой миниатюры Леонида Мартынова или, предположим, Евгения Винокурова; как «нуждаются» их миниатюры одна в другой, как «подсвечивают» одна другую, образуя как бы цепочки аргументов, ведущих к истине! И уж тем более дает простор для подобных сближений, сцеплений — поэма.

Но вот что любопытно: здесь вовсе не обязательны — хотя и вполне возможны! — головокружительные и дерзкие скрещения ассоциаций. Их предпочитает Андрей Вознесенский, но его ровесник Евгений Евтушенко действует куда размереннее, хотя и с не меньшим темпераментом, переходя от одного жизненного пласта к другому.

А Ярослав Смеляков для определения жанра своей «Строгой любви» взял из девятнадцатого века простые слова «повесть в стихах» и действительно рассказал о своих сверстниках и друзьях с совершенной простотой и сердечностью. И, однако же, «повесть» эта оказалась сложной, поверяющей одно время другим, испытывающей молодость зрелостью и зрелость молодостью. «Но память юности зовет, как симфоническая тема» — в этих строках ключ к внутреннему развитию поэмы.

У Егора Исаева — в его поэме «Суд памяти» — рядом с тремя подробно выписанными человеческими судьбами, рядом с характерами, которые могут быть названы типическими, встает фигура-обобщение, фигура-символ, и важнее всего то, что встреча этих образов различных

измерений оказывается естественной, внутренне обязательной для разрешения основного конфликта.

Поэма-легенда Сергея Наровчатова и поэма-гипотеза Семена Кирсанова, поэма-представление Павла Антокольского и поэма-повествование Василия Федорова, поэма-трагедия Юстинаса Марцинкявичюса и поэма-исследование Рамза Бабаджана, историческая поэма Мустая Карима и публицистическая поэма Давида Кугультинова... Движение идет широким фронтом!

Поиски ведутся с переменным успехом. Но золото драгоценных крупинок не спутаешь с пустой породой. И в этой множественности усилий так внятно слышится мечта, выраженная в словах, открывающих одну из поэм Маяковского: «...сквозь грохот как пронести любовь к живому».

## Аделина Адалис

1900—1969

В богатом литературном наследии А. Адалис (стихи, проза, критика, заметки, письма) находим произведения, заслуживающие пристального внимания. Есть поэты, которые, блеснув в первой своей книге, в дальнейшем либо дублировали ее удачу, либо вовсе сходили на нет. А. Адалис с годами писала все интенсивней, глубже, раскованней. Ее внимание к подробностям жизни сочеталось с удивительным размахом ее воображения, и чуткое слово старалось поспеть за дерзкими замыслами поэта. Многое осталось незавершенным, но есть строки, мимо которых мы не можем и не должны пройти. Некоторые из этих строк предлагаются вниманию читателей «Дня поэзии».

*Лев Озеров*

\* \* \*

Реки Москвы пустынный вид,  
У Мавзолея строгий воин...  
Война ли снова предстоит,  
Что я так каменно спокоен?  
Печаль оставила меня,  
И зоркость внутреннего взгляда  
Опять, как перед битвой надо,—  
Не дальше завтрашнего дня.

*15 июня 1941 г.*

\* \* \*

И стенами жилой моей квартиры  
Мне кажутся хребты родной земли—  
Кремлевских стен зубчатые Памиры  
И гор Памира темные Кремли.

*Конец 40-х годов*

\* \* \*

Нет личности отдельной от меня.  
И хорошо! Покой души храня,  
О том, что мы — так я толкую людям—  
Всегда в начале и всегда в конце,  
Что мы бессмертны — были, есть и  
будем:  
И ты, и я, и он — в одном лице!

*Конец 50-х годов*

\* \* \*

Ах, мало мне жизни и мало осталось мне жить!  
Лет пять или двадцать, а может быть, тридцать — не боле.  
Хотелось бы мне трехсотлетнюю жизнь заслужить!  
Лет сто поработать, сто — ездить, где хочешь, на воле...  
И думать о жизни остатние лет шестьдесят,  
И, плача, земной поклониться отчизне,  
И снова молить о столетнем продлении жизни,  
Чтоб выстроить дом и возделать посаженный сад!..

*Конец 50-х годов*

\* \* \*

Есть музыка неслышная во всем,  
Что движется... И в неподвижном тоже.  
И мы в крови своей мелодию несем...  
У нас мелодии несхожи.  
До невообразимых скоростей  
Порой доходят темпы бури этой,  
В так называемом «мозгу костей»  
Как будто шепотом пропетой!  
И ты еще признаешь, трезвый ум:  
Есть в мире голоса у всех растений!

Гул спелого зерна, что раковины шум,  
И женский смех листвы весенней...  
А может быть, и каждый минерал  
По-своему гудит... В грязи и прахе  
Звучит торжественно неслышимый хорал!  
Но где Бетховены и Бахи?  
И может быть, гранит услышу вдруг —  
Его адажио и скерцо...  
И может быть, я к вам тянусь, мой друг,  
На голос каменного сердца?

*Конец 60-х годов*

\* \* \*

Так вот моя последняя весна? —  
Ночей и дней безудержная гонка...  
И все же эта исповедь честна,  
Что мне почти не страшно и не горько.  
Но зелень лип и кленов так ярка,  
Так месяц чист, так засияет вскоре,  
Так тонко дуновенье ветерка,  
Что бросить их сиротствовать — вот горе!

*Конец 60-х годов*

Исаак Борисов — автор многих известных поэтических книг, написанных по велению сердца и памяти. В своих стихах он любил не просто жизнь, не просто облако на небе, не просто свои воспоминания, а воспламененность — особое напряженное состояние во всем. Оттого и его стихи, даже на вечные темы, похожи, как правило, на короткие, фрагментарные заметки о главном:

Годам я шпагу уступаю —  
 Не стих...  
 Он вне меня живет  
 И — как улыбка — губы жжет,  
 Свою мгновенность искупая.

Мысль Исаака Борисова в своей основе какая-то доверительная, даже доверчивая. Его стихам всегда был нужен незримый собеседник, он, наверно, и стихи писал, видя чье-то знакомое и внимательное лицо. Это стихи о себе. Но не для себя. В его стихах всегда была видна уязвленная нежностью человеческая личность. Вот почему его лирическое «я» никогда не составляло замкнутой системы.

Его всегда манила к себе чужая судьба, другая душа: «И тебе заглядываю в душу и замираю недвижим: а вдруг — ты мой престол разрушишь, и стану я тебе чужим». Соприкосновение с чужой душой — это не только тайна, но еще либо разрушение, либо созидание чувства общности.

Исаак Борисов именно так и чувствовал мир, как еще не высказанную в слове душу природы, земли, человека и времени.

Поэты уходят от нас, но жизнь остается, и, значит, остается поэзия.

*Владимир Цыбин*

\* \* \*

Собой гордиться  
 ты имеешь право:  
 Вглядишься в страницу  
 твоего познания —  
 Здесь след десницы  
 счастья и страдания,  
 Войны зарницы  
 и победы слава.

Ты сын земли, ты колос меж колосьев,  
 Отросток ветки,  
 тропка средь дорог,  
 Ты отзвук века,  
 прилетевший в срок  
 И заглушивший боли отголоски.

\* \* \*

Стихи последних лет... Мой новый  
 сборник.  
 Мое  
 принадлежит уже не мне...  
 Беда и счастье —  
 я от них отторгнут  
 Слезой, оплавленной в ночном огне.

Из тайных кладовых души —  
 из плена —  
 Все вырвалось, что было взаперти...  
 Так день сегодняшний,  
 страшась уйти,  
 Беседует с грядущим откровенно.

\* \* \*

Что я оставлю?  
Только эти строки.  
Они темны от черного труда.  
Их красит кровь — червоная руда,  
Да слов невинных светлые потоки,  
Что к вам текут.  
Но я не скрою все же —  
Мне мнится, будто вам понять невмочь,

Как я порою жажду всем помочь —  
Себе,  
другим —  
до исступленной дрожи,  
До озаренья:  
среди вселенских бед  
Мой дух спокойный избежал крушенья...  
И я у вас тогда прошу прощенья,  
Я вас люблю.  
Дурного в этом нет.

\* \* \*

Я вижу сегодня следы на песке —  
Волны отпечаток, тончайший рисунок...  
А море вчера будоражило дюны,  
Кидалось на берег в безумном броске,

Калечило сосны, крутило каменья  
И диким рычаньем взрывало мой сон...  
Так было, так было! — я в том убежден.  
Не знаю, кто прав — моя память иль  
зренье...

\* \* \*

Годам я шпагу уступаю —  
Не стих...  
Он вне меня живет  
И — как улыбка — губы жжет,  
Свою мгновенность искупая.

Пускай не ставят мне в упрек,  
Что я владею кладом тайным,  
Всем людям —  
близким и  
случайным—  
Клянусь! —  
я выплатил оброк.

*Перевела с еврейского Н. Горская*

*Публикация М. Галкиной*





Он ушел от нас молодым. Эту фразу прощальных речей мы относим не к тридцатилетнему, а к пятидесятилетнему человеку, и она сразу приобретает привкус горестной недоуменности. Полвека не старость, но уже никак не молодость. Дело, однако, в том, что у поэзии свой отсчет времени. Если поэт стал печататься недавно, новое имя всегда окружается притягательной дымкой начала. А начало пути соотносится с молодостью, хотя бы человеку уже немало лет.

Дмитрий Кикин писал стихи всю жизнь, но печататься стал с середины шестидесятых годов. Причем печатался эпизодически, хотя стихов было много и талантливость их никем не оспаривалась. Возможно, мешало ему то, что он входил в литературу одиночкой, его сверстники шагнули в поэзию сразу после войны, а он тогда строил жизнь по-другому и путь профессионального творчества стал манить его куда позднее. Он, как говорится, от одних отстал, а к другим не пристал, и эта вынужденная обособленность доставляла ему немало трудностей. Трудностей даже такого рода, как отсутствие среды, которая обычно помогает формированию таланта. Когда я вел семинар в Литинституте, моим частым присловьем, обращенным к студентам, было такое: «Основной ваш преподаватель не я, а вот эти стены, которые помнят Герцена и Маяковского и слышат ваши теперешние споры». И действительно, поэтическое самообразование и самовоспитание способных ребят происходило именно в беспрестанных чтениях стихов друг другу, в спорах, возникавших вокруг прочитанных стихов. Руководитель семинара лишь дирижировал этими спорами и давал им лейтмотив. А споры с их крайностями — перехваливанием и переругиванием — в конце концов шли за лейтмотивом.

Подобной среды, не студенческой, разумеется, а дружески профессиональной, у Д. Кикина не было. Его областью являлись точные науки, а с литературным миром он общался урывками, и прочных связей с ним у него не завязывалось. Изредка заходил он ко мне, своему давнему соученику го арбатской школе, читал стихи, делился планами, рассказывал о поездках. Мог ли я, как говорится, «присоединить» его к писательскому кругу? Мог-то мог, да ведь дело не в одних приглашениях на собрания или представительных рукопожатиях, а в естественных взаимоотношениях. А они-то так легко не устанавливаются.

Но, может быть, все это оказалось и к лучшему. Манеру письма — а у Кикина она бесспорно есть — он выработал сам, почти без коррективов со стороны. Конечно, здесь ему бывало нелегко, но результат оправдал затраты. Почерк у него тонкий и четкий, он прекрасно чувствует природу и передает свои впечатления от нее неожиданными и верными словами. Русский язык он любил в его неповторимых тонкостях и своеобразностях. Читать многие его стихи — истинное наслаждение. В них чувствуется вольное веяние, поэт ощутил и передал дух российских мест. «Изборская сирень» — единственный прижизненный сборник стихов Д. Кикина — доносит до читателя очарование современности, смешанной с историей, скромные, но пленительные краски российского северо-запада.

Останется ли что-либо от стихов Д. Кикина в памяти более поздних читателей? Литературные судьбы бывают прихотливы, и иногда поэт переживает годы чуть ли не единственной строкой или одним стихотворением. Советская поэзия, в ряду других больших качеств, велика своей благодарной памятью о всех поэтах, имевших хоть крупинку дарования и влюбленных в свою родину, в свой народ. А такой любовью был Дмитрий Кикин преисполнен, и она, не вмещааясь в его сердце, изливалась в стихах. И не крупинка дарования была у него, а целая россыпь. Талантливый был человек.

Смерть его была внезапной и, если хотите, романтической. Вместе с молодежью из горного лагеря он пошел штурмовать вершину. Встал на ней, взглянул окрест очарованными глазами и — умер. Одни говорят: глупая смерть, не вспомнил о годах, об усталом сердце. А я говорю: красивая смерть, и раз уж каждому суждено перешагнуть последний рубеж, то лучше его встретить не у подножья, а на вершине.

*Сергей Наровчатов*

\* \* \*

Поленовские рощи целы;  
Но в заметенных, без лыжных,  
Везде просветы и пробелы,  
Чем дальше в лес — тем больше пней.

На вырубках посадки хвойных  
Ведет рачительный лесхоз,

И мне не так уже спокойно  
Среди стареющих берез.

Ведь я их помню по минуте.  
Когда звезда вот-вот взблеснет  
И в задушевном их уюте  
Как дуновение пройдет.



В их мареве поголубевшем,  
В высокоствольном и сплошном,  
Повеет облачным и певчим  
Ветвей оснеженных залом.

В нем что-то есть от оправданья  
Пережитого на веку,  
Стою в лесной исповедальне  
С венцом созвездья наверху.

## РУЧЕЙ

Ручей. Размывы. Наледь.  
Роенье света. Дрожь.  
Он так, он так сигналил,  
Что глаз не отведешь:

— Ты тоже хочешь бега?  
Летающего житья?  
От солнца и от снега  
Зависит жизнь моя...

## РАЗЛИВ

Кремля обветренная старость.  
Лязг.

Мост.

Баржа ползет в пролет.  
И до небес, как синий парус,  
Все так же Волхов достает.

Май.

Гомон.

Лодки.

Ливни света.

Умыт и свеж, неведом мир.

## ЛУННЫЙ СВЕТ

Он блеснет на дальнем стогe  
И часов примерно в десять  
По забору, на дороге,  
По крыльцу начнет чудесить.

На сарае, по соломе...  
Вот поленья осветил  
И в него на темном склоне  
Конь стреноженный вступил.

Но как ни жаль, что лес изрежен,  
Все так же свеж налипший снег,  
И та же тишь, деревья те же,  
И там, по краю лесосек,

Где, тронув мерзлую иголку,  
Мы снова память бередим,  
Березы светят втихомолку  
Над поколением другим.

Все так необратимо,  
Друг с другом сплетено.  
И встретить побратима  
Мне тоже суждено.

Нырять, браток, под льдинку,  
Срывайся с крутизны,  
Неси мою грустинку  
В гармонии весны.

И на разведку, в дым одетый,  
Выходит с музыкой буксир.

Гремит разлив,

желтеет отмель,

Белеет церковь на гряде;  
По пояс в бешеной воде  
Искрятся, веселятся ветлы.

И в этих волн ватажном братстве  
Все та же общая черта:

Не бить челом — на стрежень

рваться

И не бояться ни черта!

Озарил речные мели,  
Он и сам как зыбь волны;  
Иль гигантские качели  
В бездне там заведены?..

Свет ликует, свет несется,  
Он везде находит лаз...  
И, наверно, также льется  
Из моих открытых глаз.

ОПЕРА

Первый послевоенный май,  
Мой шестнадцатый, мой сумбурный...  
Я — начитанный и культурный  
И мечтательный шалопай.

Я спешу с Тишинского рынка.  
Сердце пьяно, хоть к стенке жмись:  
У меня под мышкой пластинка,  
Ариозо «Что наша жизнь»;  
Да: купил у старенькой дамы,  
Самописку папину сбыв...

Я бегу к патефону прямо,  
Бормоча угрюмый мотив.

Из кружения,  
из шипенья  
Возникают звуки,  
слова...  
То ль от голода,  
то ль от пенья  
Плавно кружится голова.

Восемнадцатое столетье.  
Молодящий снег париков.  
Страсти сети,  
фатума сети  
И любви опоздавшей зов.

ЦИКАДЫ

Усидчивы и пучеглазы,  
Стригут тишину,  
ворожа,  
Трещотки морского Кавказа,  
Абхазских ночей сторожа.

Их крылья нарядны,  
добротны,  
Хоть мал их летательный чин,  
Они маслянисты и плотны,  
Как древний пергамент Афин.

Скорбный голос взнесен любовью,  
Взвинчен музыкой пылкий стих.  
Но старушечье что-то,

вдове  
В стертом бархате дисков седых.  
Позабывшееся мерцанье,  
Проницая уйму преград,  
Меж руинами,  
меж сердцами  
Ищет,  
кличет,  
жжет наугад —  
И, меня избрав почему-то  
В гулкий год пиров и порух,  
Неурочной небесной смутой  
Ошарашивает мой дух.  
В самодельных конвертах на полке —  
Легендарных певцов полки.  
Клею я бельканто осколки  
И гармонии черепки...  
Я тащусь к окну с патефоном,  
Чтоб заслушался шумный двор  
Этим заслушался непобежденным  
И разящим душу в упор!

Но окно мое зря открыто  
И напрасно поет оно.  
И великой музыки быта  
Мне понять еще не дано.

Но что там на них начерталось —  
Какой непрочитанный знак?  
Чьей воли божественной шалость  
Велела им маяться так?

Что в этой тщедушности жжется?  
Чем вечер и век этот полн?  
Что здесь сторожится,  
стрижется  
Над гулом моторов и волн?



## ПРИЗВАНИЕ

Не к чему лепиться, нет любви другой,  
Кроме этой страсти, странно дорогой.  
Лишь шероховатость белого листа,  
Голая, как небо, ширь и темнота.  
Только этой хворью склеван до кости,  
Только с этой ношей до конца брести.

Да, не в радость этот тягостный недуг.  
Все, что сочинится, отошнует вдруг;  
Написал — и к черту: позабыть скорей.  
Наизусть не помню ни строки своей,  
И когда читает кто-нибудь при мне  
То, что исторгнул я в темной тишине,—  
Тщусь прикрыть руками стыд и боль свою,  
Точно голый, в язвах, на людях стою...

Свет в угрюмом доме дрогнул и погас.  
Спать сосед ложится, хоть и ранний час.

Он любитель чтенья, старый мой сосед,  
Да вот — не умеем мы чинить с ним свет.  
И, кивнув смущенно черному окну,  
В омуте страницы снова я тону...  
Дара нет ни строить, ни плясать, ни красть.  
Пусто за душою — только эта страсть.  
Да и страсть ли это? Вялая болезнь:  
Через пень-колоду вверх куда-то лезть,  
Никнуть от безверья, падать, и плестись,  
И в чужие двери в сумерках скрестись...

Вдруг — всем телом вздрогнул, ощутив  
толчок,—  
Словно ток высокий стукнул,  
поволок,  
Распрявил и поднял  
и в глаза блеснул,  
Синевой небесной сердце полоснул.

*Публикация А. А. Голубковой*

## Станислав Лесневский

### МИР БЕЗ ПЕСЕН НЕИНТЕРЕСЕН

(Один разговор)

Шел разговор между мной и моим товарищем. Один из обычных наших разговоров о поэзии. Я не разделяю точки зрения своего собеседника, но слушаю его прилежно. Резко выраженное иное мнение помогает уточнить собственную мысль.

Мы говорили на этот раз о Маяковском, потом незаметно перешли к современной поэзии и снова вернулись к Маяковскому. Спор был, конечно, длиннее и хаотичней, чем эта краткая запись.

— Я думаю,— сказал мой товарищ,— что в нашей поэзии, грубо говоря, есть два направления: одно исходит от Маяковского, второе — от «анти-Маяковского».

— Не слишком ли упрощенно? — ответил я ему.— Деление, пожалуй, весьма грубое. Но любопытное. Тем самым ты признаешь как бы «центральность» Маяковского, узловое значение его опыта. Маяковский, на мой взгляд, действительно средоточие проблем бытия поэзии в наш век. Но ты-то почему избрал его как точку отсчета?

— Всем своим авторитетом Маяковский, как никто до и после него, утвердил практику сочинения стихов без «музыки» (в блоковском понимании слова «музыка»). Тем самым он ввел совершенно новую традицию, дотоле не свойственную русской поэзии. «Маяковская» поэзия — делаемая, рукотворная. Ее авторы — своего рода «сказители», слагатели стихов на тему. Противоположное направление — поэзия, верная духу музыки,— сторонится традиции Маяковского и продолжает традицию классическую.



— Довольно узкое представление о наших национальных классических традициях в поэзии. Но какими именами современных поэтов ты мог бы подтвердить эту схему?

— «Маяковское» направление — это, к примеру, Леонид Мартынов, Борис Слуцкий, Евгений Винокуров, Евгений Евтушенко, Сергей Васильев, Роберт Рождественский... «Классическое», если можно так его назвать, направление — Николай Заболоцкий, Александр Межиров, Николай Тряпкин, Владимир Соколов, Николай Рубцов... Ну конечно, список имен можно расширить. Это — для иллюстрации.

— Страшная путаница. Под видом «логичности» — путаница. Да ты же соединил несоединимое, разъединил близкое! Во всяком случае, ряд натяжек абсолютно очевиден.

— О, я понимаю всю глубину различий между теми поэтами, которых я соединил. Но принципиальная граница, я убежден, есть между двумя направлениями. Маяковский и — «анти-Маяковский». «Антимзыка» и — музыка.

— Жесткая схема. Узкая позиция. Внешний подход. Что понимаешь ты под «музыкой»? Где ее источник? О чем она? Я думаю, что музыка не в способе сочинения стихов, а в другом. Необходим коренной взгляд. Сквозь все значительное в поэзии стремится свой бег неостановимая музыкальная волна, рождающаяся в глубинах народа, как его воля к бессмертию. Эта воля сказалась в Октябрьской революции. Маяковский — ее певец. В поэзии Маяковского звучит музыка страсти, идеала, веры. Именно Маяковский наиболее мощно воплотил и продолжил традиции Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока. Теперь подумаем, чье имя в современной поэзии стоит ближе всего к Маяковскому. Не по способу стихосложения, а по сути. Мне думается, что имя Александра Твардовского. Этот государственный, державный пафос, это стремление подчинить себя долгу, «лиризация» долга — у них общие. В этом ряду и поэзия Ярослава Смелякова. Дело в том, что традиции Маяковского не узкое понятие. Не стоит судить «по одежке». И тогда мы услышим героико-трагическую музыку в поэзии «гармоничного» Межирова и «сделанного» Слуцкого. Музыка единения, неразрывности мужества, красоты и чести — в поэзии Евтушенко и Соколова; при всей несхожести они побратимы. Но тут же начинаются и различия — в точке схождения. Конечно, есть в поэзии и направления, и течения. Только они не разгорожены стенами. Между поэтами есть глубинные и, следовательно, решающие связи. Нити от Есенина идут и к Евтушенко, и к Рубцову. От Хлебникова — и к Заболоцкому, и к Мартынову. И в любом из этих имен присутствует Маяковский. Почему? Да потому, что в нашу эпоху он наиболее значительно воплотил в своем творчестве величие русской поэзии. Советской поэзии. А ближе всех к Пушкину, после Лермонтова, стоит такой «не похожий» на них Некрасов, создававший стихи «на тему» и предвосхитивший Маяковского. Некрасов, которого упрекали в отсутствии «музыки». Время, история дают иной масштаб, чем переходящие групповые пристрастия. Масштаб музыки народной и мировой жизни.

— При таком подходе «суть» отрывается от «формы» выражения, форма понимается как ничего не значащая «одежка». Форма органична, содержательна. Если не забывать об этом, то можно заметить, что в нашей поэзии целый ряд самобытных поэтов идут, минуя опыт Маяковского. Через его голову они обращаются к иным истокам.

— Форма содержательна, существенна. Но она есть модификация, то есть оригинальное преобразование — соответственно времени, характеру и судьбе поэта — музыки жизни. Если не слышать этой музыки, то можно превратиться в схоластов. Музыка революции сближает Блока и Маяковского, «Двенадцать» и «Левый марш», «Двенадцать» и «Хорошо!». Но опять же в точке схождения начинаются различия. Однако

вне общности нет и различий. Думаю, что сегодня ни один крупный поэт не избежал магнитного поля Маяковского. Его открытия — «рифмы, темы, дикция, бас» — иногда явно, иногда приглушенно — разошлись по всей нашей поэзии. Есть современная русская поэтическая культура, самый воздух формирования поэзии. Эта культура сложилась под громадным воздействием Маяковского. Мыслимо ли изолироваться от того, что стало всепроникающим, структурным явлением? Даже тот поэт, который отрицает творчество Маяковского, отталкивается от него, не может не считаться с ним. Невозможно через голову Маяковского обращаться к поэтическому прошлому. Маяковский влияет на наше восприятие Пушкина, Тютчева, Баратынского, Фета... Маяковский — такое человеческое и художественное событие, которое неустранимо из поэтического сознания.

— А давно ли ты перечитывал любимого поэта твоей молодости? Ведь у Маяковского немало стихов, которые сегодня читать почти невозможно.

— Да, есть у Маяковского стихи, про которые он сам сказал: «Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши...» Он сам назначил им эту участь. Он сознательно шел на это. Не мог иначе. Но ведь об этих стихах мы вправе сказать словами твоего любимого поэта: «Там человек сгорел». В «агитках» Маяковского — непредвиденные, никем точно не подсчитанные запасы света, энергии. Они всегда могут понадобиться народу. И время вызовет их из кажущегося забвения. Сейчас то и дело вызывает. «Агитки» Маяковского продолжают служить нам. Еще как!

— Мы говорим о разных вещах. Я — о поэтической ценности произведений, ты — об их полезности... Впрочем, о любви не спорят. Влюбленные и верующие объясняются на своем языке. Он внятен лишь посвященным. Для непосвященных же будет казаться заумью. Вот, быть может, одна из причин того, что я не слышу Маяковского. Когда-то и я увлекался его стихами. Недавний, уже миновавший период нашей поэзии, примерно лет десять после первого «Дня поэзии», шел под знаком Маяковского. Это был период поэзии «громкой» — эстрадной, риторической, умозрительной. Торжествовали «делатели» стихов, «сказители». Потом обнаружился мнимый характер их побед.

— Ты же сам говорил тогда о поэтическом взлете?

— Да, было... «Мир без песен неинтересен»... Ну, и так далее, и тому подобное. А сейчас перечитываю эти стихи равнодушно. Умозрительные поэты преподносят нам истолкованные тезисы под видом философской и публицистической лирики. Но они не более чем разносчики информации. Из этих стихов только составлять учебники. Это какие-то каталоги явлений, предметов, идей. Причем ведь все сказано в первой строке: «Моя любимая стирала». Зачем же дальше продолжать? Вот эту-то поэзию и венчают «интеллектуальной». То есть — не-поэзию. Настоящая поэзия рождается целостно, как ребенок. А наши последователи Маяковского собирают свои творения по частям: голова, руки, ноги. Конструируют...

— Мне кажется, в твоём разочаровании умозрительностью сквозит разочарование в разуме. Разум, конечно, способен питать иллюзии, быть поверхностным, и вот, когда это обнаруживается, начинают хулить разум за... умозрительность. Но всегда неизбежно возвращение к разуму. Он освещает нам путь. Сейчас поэзия особенно нуждается в «солнце бессмертного ума». В наш-то сложный век! Упования на одни эмоции, настроения могут лишь обессилить поэзию. Именно страстный разум определил гражданскую значительность лучших произведений поэзии пятидесятых — шестидесятых годов. Это были не мнимые, а настоящие победы поэзии.

— Особенно, конечно, стихи Евгения Евтушенко, где все — игра, лицедейство, расчет.

— Чем же объяснить тогда его популярность? У него немало читателей и поклонников...

— Это популярность личности, а не стихов, деятеля, а не поэта. Его стихи — это рассчитанные на популярность, сыгранные поступки. Стихи-поступки.

— Стихи-поступки! Неплохо сказано. По-моему, это похвала. Но важно — в чем цель поступков, в чем их пафос? У Евтушенко есть стихотворение «Маленькая женщина, вперед». Один поэт нашел, что, кроме этой строчки, все в стихах неряшливо, многосложно, неотесанно. И переписал стихи по-своему, как переписывают подстрочник. Вышли приятные, легкие, летящие строки. Но холодные. Равнодушные. Я перечитал стихотворение Евтушенко. Там все по существу, по делу. Там прямота, заинтересованность. Страсть, нежность, надежда. «С женщин начинается народ», — твердит поэт. Он втолковывает важные вещи. Не устает разговаривать с читателем. Евтушенко напоминает мне телевизор. Методы его работы определены темпом времени. По-моему, он один из продолжателей традиций Маяковского.

— Ценители поэзии отвернулись от Евтушенко. Его популярность откочевала в круги людей, обычно не читающих стихи или ничего не понимающих в поэзии. Стихи должны обладать заразительностью эмоционального жеста, тогда и афоризм не покажется надуманным: «Только песне нужна красота, красоте же и песни не надо». Моцарт говорил, что в иное мгновение он вдруг слышит сразу, целиком, — всю еще не написанную симфонию. И вот, я думаю, у нас сегодня есть поэты, возрождающие целостное, моцартианское творчество... «Громкой» поэзии они противопоставили «тихую», которая возвращается к классической традиции.

— «Тихая» поэзия... Довольно-таки странный термин. Разве настоящая поэзия делится на «тихую» и «громкую»?

— Мне тоже этот термин не нравится. Но факт остается фактом: «Звучат все громче тихие стихи». Перелом обозначился лет восемь назад. Наконец-то теперь замечены прекрасные поэты: Владимир Соколов, Станислав Куняев, Николай Тряпкин, Анатолий Жигулин, Анатолий Передреев, Василий Казанцев, Олег Чухонцев...

— Я бы, например, отнес термин «тихая» поэзия к эпигонам, а хороших поэтов не стал бы сводить в очередную «обойму»... «Обоймы» забываются, поэты остаются. Важнее увидеть их своеобразие, угадать индивидуальные перспективы... У каждого истинного поэта — свой путь.

— Но существует же и принципиальная общность между «тихими» поэтами. Она — в стремлении творить поэзию целостного, органического склада. Творить всей жизнью. Это путь гармонической поэзии, завещанный нам Пушкиным, Фетом, Есениным...

— Не впадаешь ли ты в еще одну иллюзию, я бы сказал — в гордную ослепляющую? Уж лучше, на мой вкус, горечь самоуничтожения: «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих!» А какая поэзия в этом суровом стихе! Видите ли, «тихая» поэзия пришла к Моцарту, к «гармонии»! Но, право же, в «агитках» Маяковского больше музыки, чем в горделивом воспоминании о том, как славно «цветут лопухи в Лихославле».

— По крайней мере, в таких простых картинах нет ничего вымученного, натужного, умозрительного...

— И тут все не так просто. Поэзия, внешне вроде бы «безыскусная», иногда оказывается заданной поэтической позой. В поэзии «умозрительной» вдруг забьется живое сердце. Евгения Винокурова ты причислил к поэтам «умозрительным». Но он подчеркнута суховат и не скрывает,

что не в силах постигнуть мир целостно, сотворить его, как Афродиту из пены. Такая откровенность драматичнее, человечнее и, если хочешь, эмоциональнее рационально организованной эмоциональности. Значит, ближе к духу музыки. Между прочим, Винокуровым предсказаны все категории «тихой» поэзии: классичность, неспешность, ясность, «округлость», постоянство, возвращение к «вечным» истинам. Но он-то видит в них труднодостижимую цель, а эпигон классической поэзии самоупоен своей якобы достигнутой «гармоничностью»! Из этой «гармонии» исключены: борьба, «злоба дня», необходимость выбора, социальность. Образуется вакуум. Чем он будет заполнен? Простодушием? Как бы не так! Когда в стихах тихо варьируется одна и та же нота, краска, мотив,— например, «осенней прозрачности»,— то возникает ощущение цепко взятой интонации, твердо поддерживаемой рациональной установки. А делается это в формах естественности. Выходит нравящаяся иным критикам поза продуманной наивности. «Осенняя» поза стала модной, как и старомодность. Мода преходяща. И останутся «осенние», антипублицистические стихи в «курганах книг» как своего рода «тихая» публицистика.

— Я согласен, что стихи, воспевающие «тишину», «осеннюю прозрачность» и «старые переулки», разлились морем эпигонства. Но талантливые поэты, о которых я говорил, в этом не повинны.

— Когда Блок увидел, что опозтезировавшие им мотивы стали расхоже-модными, это укрепило в нем жажду новых путей, «ненависть» к лирике, потребность в обнаженной правде. Нам необходима великая поэзия, достойная нашего народа. Внутри «тишины», за ней и вокруг нее — «гром». Маяковский таится внутри этой тишины. От мысли о нем никуда не уйти. Потому что есть общественная потребность в значительном.

— «Но песня — песнью все пребудет, в толпе все кто-нибудь поет»,— примирительно улыбнулся мой товарищ.

Во мне же продолжал говорить дух противоречия и полемики.

— «Гармония», рожденная лишь усталостью и разочарованием в разуме, внутренне пуста, бесплодна. Увлечение ею исчерпывается даже и у критиков, до читателей же оно дошло в слабой степени. Монотонность начинает выглядеть деланной, лишенной естественности. Неточно утверждение, что «тихая» поэзия идет мимо Маяковского. Она ходит вокруг него и не может отделаться от воспоминания о нем. «Тихие» поэты затыкают уши, а Маяковский гремит: пишите по-своему, хорошие и разные, но поэзии нет без страсти, без масштаба. «Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом...»

«Доругаться» нам не удалось. Кто-то прервал наш разговор. Но главное, самое существенное мы все же друг другу сказали.

А истина? Выяснилась ли она в споре?

Пусть скажет об этом читатель.



ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ

Пользуясь опытом, читательским и поэтическим, но прежде всего личным пристрастием, я начинаю этот дневник. Буду писать, сопоставляя имена и даты, дарования и возрасты авторов. Остальное выяснится в ходе изложения.

**ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ** — в конце прошлого года прислал мне свою новую книгу, прозаическую, — «Шкатулка памяти», — которая не менее поэтична, чем его стихи. На титуле он написал: «...литерический ключ у тебя в кармане». И я пользуюсь этим «ключом» в рассказе о работе старого поэта и друга.

Короткие сказки Всеволода Рождественского охватили пространство двух материков и два века, по меньшей мере, русской и мировой культуры. Действующих лиц здесь множество. В начале это бойцы и граждане осажденного, блокированного Ленинграда в годы войны. Это *запев* книги. Так Вс. Рождественский, раскрывая свою шкатулку, начинает с ее *дна*. Но к этому важному материалу еще предстоит вернуться. Начну с давнишних времен.

Пушкинист Н. О. Лернер ищет утраченные письма Натальи Гончаровой — вдовы великого русского поэта, отправляется за ними в Англию, в годы первой мировой войны. Увы, драгоценные письма пересекли Атлантику. Нечего думать в те времена о поездке в Америку. Хозяйка загородного дома в Англии, где хранилась эта реликвия, старая знатная леди, неохотно пускает русского гостя в свои апартаменты. Пушкинист в отчаянии: удастся ли когда-нибудь вернуть письма Гончаровой в Советский Союз? Неизвестно...

Но вот и совсем другие лица! Лепорелло и его блестящий спутник, знаменитый Дон Жуан. Лепорелло откровенно признается: «Я человек неученый и с трудом подписываю свое имя». Дон Жуан тоже откровенен со своим слугой и раскрывает ему свое вечное признание: «Она как звезда озарила темницу моей души, и я ли не спою ей от всего сердца любовную песню...» Сказке еще далеко до конца, но приходится обрывать ее ради других.

Две дамы в провинциальном городке на юге Франции, две старых девы возмущены и оскорблены до глубины души. Оказывается, Бальзак в одной из своих новелл изобразил их жизнь и их самих с портретной точностью: «Нет, ты только подумай, до какой наглости, до какого распутства дошли эти писаки в Париже!» Негодование почтенных дам приводит к тому, что одна из них отправляется в Париж — искать автора этого пасквиля. Найти Бальзака в мировой столице дело хлопотное и нелегкое, но дама настойчива — и вот перед нею «крупный, широкоплечий человек с грубоватыми чертами лица». Но он и не подумал извиниться перед гостьей, жертвой своего яркого воображения. Таким он и должен быть, таким и хотел оставаться автор «Человеческой комедии», населивший ее десятками тысяч персонажей. Он не виноват, что его современники часто узнавали себя в вымышленных гениальным романистом раcтиньяках, гобсеках и бюрото. Все они жили настолько интенсивной жизнью в романах Бальзака, что у каждого были тысячи подобий в жизни, окружавшей писателя.

Всеволод Рождественский подсмотрел в творчестве Бальзака один из центральных нервных узлов его непомерной, циклопической работы: в этом была сущность Бальзака, его реалистического метода.

К Исааку Ньютону в его загородный дом приходят гости. Но главные персонажи этой сказки не гениальный ученый, не гости его, но яблоня, *яблоко*, нашедшее Ньютона на открытие сущности земного тяготения... Есть еще один персонаж — садовник, неожиданно уличивший ученых мужей: в саду Ньютона блестящий серебряный шар для привлечения ярких бабочек перегрет солнцем, и на его поверхности по-другому отразились полуденные лучи солнца. Ученые на песке пишут формулы и ошибаются в них. Садовник бесхитростно объясняет им, в чем дело. Автору пришлось как будто забыть о главном герое жизни Ньютона — о яблоке. В этом и хитрость Рождественского и его очаровательная победа.

В шкатулке Рождественского еще много

не разворошенного здесь и забавного и всякого другого материала: обычные театральные анекдоты, всегда случающиеся в театрах, драматических и оперных. Действуют здесь и Станиславский, и Качалов, и многие еще. Например, в опере внезапно, в самый что ни на есть решающий момент, с колосников на голову певцов свалился валежок пожарного.

Но вот и ДНО шкатулки. Сноп прожектора неистово ударил на измученный блокадой, смертями близких, голодный, гордый своей силой Ленинград: «Видел он где-то за обступившей его родней, сияющее восторгом, милое, веснушчатое Дашино лицо со вздернутым носиком и испуганно счастливыми, чуть раскосыми глазами...» Читатель всматривается в ленинградский мир, в городские встречи и расставания. Вот в досках и в рогоже, в другой ветоши — медная статуя и гранитная скала. Детвора взбирается на змея. А где-то на Сенной площади:

— «Ах, ленинградцы, ленинградцы, ленинградцы! Ну как такому городу не стоять вовек!.. Я из-за этих дней, из-за этой статуи волновался, ночей не спал. Теперь надо следить за тем, чтобы все в порядке было...»

ЭХ, ЛЕНИНГРАДЦЫ, ЛЕНИНГРАДЦЫ! Какие только москвичи не повторяли в годы войны с горем, страхом, надеждой: ЛЕНИНГРАДЦЫ! Им откликнулась Ольга Берггольц... Шкатулка Всеволода Рождественского разворошена, но совсем не исчерпана. В ней еще много поучительного и живого. Но здесь приходится быть сжатым.

Другая книга. Ее автор — ИВАН РОГОВ — пал смертью храбрых в боях на Смоленщине в августе 1942 года. Книжка его называется «КЛЯТВА». Содержание ее соответствует этому военному лозунгу. Автор отдал жизнь клятве служить великому делу победы, а сам до нее не дожил. Надо благодарить издательство «Молодая гвардия» за издание этой *гвардейской* книжки.

Цитаты даются как попало и наугад. Оттого что у Рогова хорошо *все*. Все поет и живет сегодня за всех молодых современников. Вот одно из таких стихотворений. Называется оно «Иван Алексеевич»:

Иван Алексеевич! Гумны чисты,  
Солома пушиста и бела,  
Идут эмтээсовские трактористы,  
Один к одному — высоки, плечисты,

Насмешники, бахари,  
гармонисты,—  
За ними высыпало полсела.

Здесь *видишь* все: трактористов, Ивана Алексеевича, автора — как раз оттого, что его уже нет. Село отстроено уже сразу после войны. С фронтов вернулись и живые, и калеки, вернулись и те, что были на востоке, за Уралом, в Средней Азии и мало ли где. Их и не счесть, как не сосчитать тех, кто давно уже ушли из жизни...

В книге Рогова особо значительно все, в чем можно угадать любовь этого юноши:

Ты не раз создавала такой же придел...  
И, боясь, не дознался б кто, не доглядел,  
Ты в него поселяла красивое имя,

Ты клялась этим именем богу. Детей  
Ты баюкала им и себя утешала.  
И ждала. И ждала...

.....  
Это было давно...

Называется стихотворение «Жданка» — имя еще не родившейся коровы, которую ждут. Колхозники ждут кормилицу их детей. Они жадно ждут будущего, а ведь оно сегодня стало их прошлым...

Трудно расстаться с этим неистовым поэтом!

Перехожу к следующему поэту, совсем еще не известному у нас.

РОСТИСЛАВ ЗАСС — учитель русского языка в сельской школе Ровенского района в Западной Украине. Книжка его называется «Колокола в груди». Родина, народовольцы... Одна из героинь «накинула петлю»:

...Оробела ли, чуть замедлив  
Два  
последних в жизни  
шага...

Но — сама  
накинула петлю —  
как примерила жемчуга.  
И — ушла  
на рассвете неброском,  
вызывая нестройный галдеж:  
«До чего их доводит роскошь,  
эту нынешнюю молодежь!..»

Эпиграф — ко всей книге — Ростислав Засс мог бы взять у Блока: «И все уж не мое, а наше. И с миром утвердилась связь». Связь эта и праматеринская, и пророческая. В ней гул «Авроры», миры поэтов прошлых, живых и погибших встали рядом с этим еще незнакомым в Москве поэтом.

В конечном же счете можно позавидовать школе, где учит ребятишек родному языку такой поэт!

**НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ.** В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Вышел его двухтомник — самое полное до сей поры собрание его поэтического наследия. В него включены и статьи поэта по вопросам перевода, и переводы грузинских и немецких поэтов, и письма (их очень много), и заметки, а главное — множество стихов, давным-давно недоступных сегодняшним читателям.

Имя-отчество Заболоцкого совпадают с поэтом Некрасовым: «бывают странные сближения», — говорил Пушкин. Николай Алексеевич Заболоцкий — поэт пронзительный, мыслитель склада античного, мифотворец и сказочник. Все у него крупно и круто. Юмор его первой книги «Столбцы» язвителен и по-своему нежен (вышла еще в двадцатых годах) — все эти ленинградские обыватели посленэповских времен, хоззяйчики, забубенные гуляки с Невского, с Обводного канала, с Петроградской стороны... Персонажи «Столбцов» изображены весело и грустно. Они преобразены в поэзии Заболоцкого и кажутся уродцами, вырезанными из дерева или высеченными на скальной отвесной стене, — тяжелое барокко, сродни Коненкову или рабам Микеланджело.

Николай Заболоцкий в своем двухтомнике предстает как новатор, освеживший и язык, и ритмы нашей поэзии. Корни его

глубоки, они восходят через Пушкина к восемнадцатому веку и приближаются к Хлебникову. А сам он всегда был окружен людьми, учениками, которые еще не могли его понять по-настоящему. Он был немногословным, суровым собеседником. Но его поэзия обращена к современным читателям, и думаю, она будет им близка и нужна.

В этом читательском дневнике действовали четыре поэта разных возрастов и дарований, два старика и двое молодых. Моложе всех — погибший в годы войны. Случайно ли такое соединение? Нет! В поэзии сама случайность превращается в неизбежность. Пушкин — у Всеволода Рождественского, Аристофан у Николая Заболоцкого, мир сельского быта — у Ростислава Засса в его школе. Наконец, юноша Иван Рогов, так рано ушедший из мира. Что и говорить, здесь очень немного показано, еще меньше доказано, но ведь искусство не нуждается в доказательствах: «пресволочнейшая штукавина, существует — и ни в зуб ногой»... Давно это было сказано, но остается в силе.

Но здесь помнишь и другой заклиняющий голос — Гоголя: «О, Русь. Не так ли и ты...»

На этом оборванном на полуслове можно и кончить.

Так всегда бывает: оборвать на полуслове — лучший конец в поэзии.

5



ПАРАДОКС ЧУКОВСКОГО

«Писать вы стали мелко,  
Поспешно, ловко, вяло.  
Поделка  
За поделкой.  
Безделка  
За безделкой.  
К чему крутиться белкой?  
Вам, видно, платят мало?  
Не вижу в этом смысла,—  
Вздыхнул Чуковский.— Хватит.  
Пишите бескорыстно,—  
За это больше платят!»

Александр Безыменский

\* \* \*

Он знает то, он помнит это,  
Но с жизнью издали знаком.  
Он видит в мире  
                  все предметы,  
Не видя мира целиком.

\* \* \*

Лица у них — сердитые.  
Волнение — необычайное.  
Ведь обсужденье  
                                  открытое,  
А голосованье  
                                  тайное...

\* \* \*

В стихи и в походку  
Он вводит, как штамп,  
Особый размер:  
Пятистопочный ямб.

\* \* \*

Он критикует сам себя  
                                  всех строже,  
Но делает все так же  
                                  и все то же.



# Николай Глазков

Николай Иванович Глазков издал 8 книг стихов и опубликовал огромное количество переводов, однако ряд его ранних стихов неизвестен читателям. В основном это относится к стихам особого лирико-иронического характера. Правда, «Литературная газета» завела в «Клубе 12 стульев» рубрику «Ироническая поэзия», но ранняя поэзия Глазкова под нее не совсем подходит, ибо — повторяю — она носит одновременно и лирический характер. Я не считаю такое направление столбовой дорогой сегодняшней лирики, однако пути поэзии неисповедимы, и иногда в ее полузабытых переулках мы можем найти те осколки правды, запыленные временем, которые могут пригодиться нам и на магистральных проспектах. Для ранних стихов Глазкова характерна скоморошная дурашливость, но та, когда из-под колпака с бубенчиками нет-нет да и глянет пророческий глаз мудреца. Его афористичности, умению мыслить отливками стоит подчиниться. Стоит подчиниться также интонационной свободе, естественности перехода от ерничества к серьезности и от серьезности к драчливой шутливости.

Сейчас Глазков, конечно, другой человек, но молодое, задорное, «забиякистое» в нем не исчезло — лишь чуть оделось в доспехи внешней мягкости. Думаю, что в молодости поэта заложены все основные черты его будущей зрелости, и поэтому, сделав скидку на молодость Глазкова, когда он писал эти стихи, все же предоставим читателям с ними познакомиться и в них разобраться.

*Евг. Евтушенко*

## ВОРОН

Черный ворон, черный дьявол,  
Мистицизму научась,  
Прилетел на белый мрамор  
В час полночный, черный час.

Я спросил его: — Удастся  
Мне в ближайшие года  
Где-нибудь найти богатство?—  
Он ответил: — Никогда!

Я сказал: — В богатстве мнимом  
Сгинет лет моих орда,  
Все же буду я любимым? —  
Он ответил: — Никогда!

Я сказал: — Невзгоды часты,  
Неудачник я всегда.  
Но друзья добьются счастья?—  
Он ответил: — Никогда!

И на все мои вопросы,  
Где возможны «нет» и «да»,  
Отвечал вещатель грозный  
Безутешным НИКОГДА!..

Я спросил: — Какие в Чили  
Существуют города? —  
Он ответил: — Никогда! —  
И его разоблачили!

## УПРОЩЕНЬЕ

*Г. Снегиреву*

И у меня такое мнение,  
Что упрощенье — ход вперед,  
Но истинное упрощенье  
Цивилизация дает.

Сложней автомобиля лошадь,  
Что может укусить и сбросить.  
Скачи, коль хочешь, на коне —  
Автомобиль приятней мне!..

Костер разжечь без спичек можно,  
Однако чрезвычайно сложно

Добыть огонь вращеньем палки,  
Без спички и без зажигалки!

Чернильницу, перо стальное  
С вооруженья снял давно я  
Лишь потому, что эти штучки  
Сложней простейшей авторучки!

В Талдоме или в Арзеруме  
Жить в доме проще, нежели в чуме!..  
Коль я не прост, прошу прощенья,  
Звени, мой тост, за упрощенье!



## ЧЕСТЬ

Береги честь смолоду! —  
Справедливо слово то,  
Было много раз оно  
Там, где надо, сказано!..

Но и в зрелые года  
Честь твоя — не ерунда,  
И ее — об этом речь —  
Тоже следует беречь!

А в преклонном возрасте  
Честь дороже почести:

Жизнь осмысленна, коль есть  
Сохранившаяся честь!

Ну, а после? Ну, а после?..  
Если жизнь прошла без пользы,  
То от жизни толку чуть:  
Остается только жуть.

Люди добрые, поверьте:  
Честь нужна и после смерти.  
Долговечней жизни честь —  
Это следует учесть!

## Владимир Бурич

\* \* \*

Сороконожка туризма  
требует у деревни сказок  
сочувствия  
стакан молока краюху хлеба  
уничтожает черемуху  
в палисадниках

и  
заползает  
за иконы.

## Виктор Гончаров

\* \* \*

Болотные чертики как-то  
Надрались дурманом.  
Болото от этого факта  
Покрылось туманом.

И булькало глухо болото  
И гнусно сопело.  
Чертовская это работа —  
Недоброе дело.

А утром мальчишки  
Нашли возле кладки  
Остатки от кильки,  
Пустые бутылки,  
Копыт отпечатки  
И дамские шпильки...

## Алексей Марков

\* \* \*

Пили трое за столом.  
Как по маслу шла пирушка!  
Подслащали лезть вином,  
Бурно славили друг дружку!

— Первый ты поэт в стране.  
Я второй, а Вася — третий!  
Выпьем за троих втройне,  
Чтобы жить сто лет на свете!

...За четвертого не пили,  
Хоть сидел он здесь пока,  
И обтрепанными были  
Рукава у пиджака.

Да, сидел. Его не гнали,  
С ним мирились кое-как,  
Про себя-то понимали:  
Парень тоже не дурак!

Вдруг поднялся тот четвертый,  
Заслонив собой окно.  
— Пью за пятого я черта  
Это белое вино!

Оглянулись: — Где же пятый?  
Нету пятого у нас!  
— Есть. Но мы-то пьяноваты  
И не видим с пьяных глаз!

Он сидит со всеми рядом, —  
Время — так его зовут, —  
И пронизывает взглядом —  
Неподкупный правит суд.

Отрезвели вмиг собратья,  
Встали, стульями скрипя.  
— Ты, родной, того-с, не спятил?  
Выпьем лучше... За тебя...

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

### Александр Иванов

#### КОГДА ТЕБЯ НЕТУ

*(Из цикла «Сто новых пародий на  
С. Острового»)*

Дом пустеет, когда тебя нету.  
Стынут стены. Сдвигается стол.  
Окна тянутся створками к свету.  
И от горя шатается пол.

Даже дверь холодна, будто лед.  
Стены стынут. И плачет вода.

*Сергей Островой*

Дом пустеет, когда тебя нету.  
В животе начинается гул.  
Паутина ползет по буфету.  
Плачет стол. Рассыхается стул.

Арфа тянет тоскливое соло.  
Дверь мычит, как голодный телок.  
Пол скучает без женского пола.  
И снижается мой потолок.

Петли окон визжат петухами.  
В кухне жалобно плачет струя.  
Шкаф дубовый вещает стихами  
Совершенно такими, как я.

Сам я ною, как кран без напора.  
Кресло колетса, как дикобраз.  
Дверь страдает всю ночь от запора.  
И, тоскуя, поет унитаз.

Есть слово «я». И нету в том худого,  
 Что я решил его произнести.  
 А вот мои два глаза. Изнутри  
 Они освещены. И всяк к своей орбите.  
 А вот мой нос. Готов держать пари:  
 Я человек, я богу равен ликом.  
 Вот он. Вот я. Никто не отличит!

*Евгений Винокуров*

Есть слово «я». О нет, я не всеяден.  
 Оно во мне! В нем суть и жизнь моя.  
 Я вещь — в себе. И вне себя. Я жаден  
 До всех, кто осознал значенье «я».

Куда я ни пойду — себя встречаю,  
 Я сам с собой переплетен в судьбе.  
 Цитирую, вникаю, изучаю

Себя!  
 Себе!  
 Собою!  
 О себе!

Вот я. Вот нос. И рот. Глаза. Вот ушки.  
 Чем я не бог? И, бережно храня  
 Меня в душе,

две темные старушки  
 Перекрестились, глядя на меня.

Я бодрствую. Я сплю. Я снедь вкушаю.  
 Я — центр и пуп земного бытия.  
 — А это кто? — себя я вопрошаю.  
 И сам себе я отвечаю: — Я!

Я озарился мыслью вдохновенной:  
 Бог — это я! Мир без меня — ничто!  
 — Я — это я! — я сообщил вселенной.  
 Вселенная сказала: — Ну и что?..

## СНЕГИ И Я...

*(Евгений Евтушенко)*

Идут белые снега —  
 а по-русски — снега.  
 Это значит, на свете  
 наступила зима.

Тянет снег свою лямку,  
 а она все звенит.  
 Я сижу, размышляю:  
 чем же я знаменит?

Весь от гордости синий,  
 осознал я в борьбе,  
 что любил я Россию,  
 как искусство, в себе!

И еще (уж простите!)  
 понимаю, скорбя,  
 что любил я в России  
 большей частью себя.

Грозовые раскаты,  
 но я их не боюсь...  
 Я ведь быстро раскаюсь,  
 если вдруг ошибусь.

И Россия блаженно  
 шепчет, слез не тая:  
 — Если будешь ты, Женя,  
 значит, буду и я.

## РАСКОПКИ В XXX ВЕКЕ

*(Валентин Берестов)*

Откопан был старинный манускрипт.  
 Скорей листать страницы! Шорох. Скрип.  
 Стихи. Представьте, ничего себе!  
 Инициалы автора — В. Б.

Наверно, это рукопись моя.  
 Что ж, у шедевра жизнь уже своя.  
 Нет, что вы, что вы! Никаких намеков.  
 Тьфу! Оказалось, это — Виктор Боков...

## ТЕНИ ПОТОПА

(Леонид Мартынов)

Ной  
Был, бесспорно,  
Человеком стоящим,  
Нигде и никогда не унывающим  
И спасшим жизнь всем лающим и воющим,  
Кусаящим, ползущим и летающим —  
Короче говоря, млекопитающим  
И прочим тварям всем, в беде не ноющим.

Вы спросите:  
Зачем все это сказано,  
Давным-давно известное? Не эхо ли  
Оно того, что все друг с другом связано,  
Ведь в огороде бузина обязана  
Цвести, а к дядьке в Киеве приехали  
Племянники, мечтающие пламенно  
Горилке дань воздать тмутаракаменно!

## БАБЫ

(Владимир Цыбин)

В деревне,  
где вокруг одни ухабы,  
в родимых избах испокон веков  
живут себе,  
на жизнь не ропщут бабы,  
совсем одни живут, без мужиков.

Одни встречают, бедные, рассветы  
и дотемна — пахать, косить и жать.  
— А мужики-то где?  
— Ушли в поэты...  
Все в городе, язвы их душу мать!

Ядрены,  
хоть никем не обогреты,  
с утра до ночи всё у них дела...  
В столице —  
тридцать тыщ одних поэтов,  
принес их леший в город из села!

Эх, бабы вы мои! Родные бабы!  
И мне без вас не жизнь,  
и свет не свет...  
Да я бы вас! Я всех бы вас!...  
Да я бы!..  
Вот только жаль,  
что я и сам поэт.

## ШУМЕЛ КАМЫШ

Вот, сдвинув тени, ветер дунул,  
Я замираю, чуть дыша:  
Сидит Ермак, объятый думой,  
На диком берегу Иртыша.

*Владимир Туркин*

Ревела буря, дождь шумел,  
Шумел камыш, деревья гнулись,  
Объятый думой, я сидел,  
Покамест веки не сомкнулись.

Приснился сон ужасный мне,  
Что я бог знает где витаю:

Со Стенькой Разиным в челне  
Сижу, стихи ему читаю.

Редает утренний туман,  
Давно уж спит княжна-девица,  
Мрачнеет грозный атаман,  
В ухмылке рот его кривится.

Встает Степан, в решеньи тверд,  
Сверкнув глазами, ус кусает.  
И, поднатужившись, за борт  
Меня безжалостно бросает.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мне бы в детство давнее уверовать  
и прийти туда, где спит трава,  
где стоят изделия из дерева  
под названьем древним дерева.

*Вадим Сикорский*

Был все лето этот Коктебеле я,  
Потому уверовал: здоров!  
Ел там сайки — из муки изделия —  
С молоком — изделием из коров.

Под Луной — из космоса изделием—  
Я бродил среди густых теней  
С палкою — изделием из дерева —  
По горам — изделиям из камней.

Там заметил, моционы делая,—  
Холм бумажный около плетня!

Это же стихи мои! Изделия!  
Из чего? Наверно, из меня!

Виктор Завадский

НЕ ОЖИДАЛ...

...Я сейчас отвечу:  
Хороший это вечер или нет.  
... Чтоб эта ночь хорошою была,  
Я должен прочесть в глазах  
прохожих:  
Успешно ли идут у них дела?

*Игорь Кобзев*

Ты мне сказала: — Вечер так прекрасен!  
Благоухает сад... Закат горит...—  
А я подумал: вывод твой — ужасен!  
Он о большом изъяне говорит.

Свою безыдейною истомой  
Ты беспринципной показала мне.  
...А наш сосед опять сбежал из дома  
От собственной к несобственной жене.

Другой сосед пришел с работы пьяный,  
А третий — в знак протеста — не пришел,  
А этот ученик, как кошка драный,  
Сегодня получил по пенью кол!

Кота поймали. Вопль его — ужасен!  
Он мясо съел: плохи его дела...  
Как ты сказала? «Вечер так прекрасен»?  
Да как ты это... вымолвить... могла?!



**Авсарагов Б.**— стр. 222; **Адалис А.**— 289; **Аким Я.**— 91; **Алиханов С.**— 213; **Антокольский П.**— 44, 225, 304; **Антошкин Е.**— 148; **Асадов Э.**— 42; **Асеев Н.**— 39; **Ахматова А.**— 169, 259.

**Баева А.**— 146; **Балин А.**— 35; **Бауков И.**— 103; **Безыменский А.**— 309; **Беляев М.**— 155; **Берестов В.**— 130, 309; **Благинина Е.**— 21; **Богданов Вяч.**— 198; **Богданов О.**— 214; **Боков В.**— 14; **Борисов И.**— 291; **Брагин А.**— 198; **Брюсов В.**— 257; **Булавин А.**— 206; **Бурич А.**— 312; **Бялосинская Н.**— 112.

**Валиков Г.**— 195; **Ваншенкин К.**— 33; **Варавва И.**— 107; **Васильев С.**— 23, 245; **Васильева Л.**— 134; **Вегин П.**— 176; **Винокуров Е.**— 69; **Винонен Р.**— 147; **Владимов М.**— 316; **Вознесенский А.**— 122; **Волгин И.**— 180; **Волобуева И.**— 65; **Воронов Ю.**— 68; **Вышеславский Л.**— 90.

**Глазков Н.**— 311; **Глоба А.**— 284; **Глушкова Т.**— 163; **Говоров А.**— 191; **Година Н.**— 198; **Годенко М.**— 89; **Голубков Д.**— 297; **Гончаров В.**— 77, 312; **Гордейчев В.**— 134; **Горохов Н.**— 221, 257; **Гофман В.**— 228; **Грибачев Н.**— 10; **Гребельная Н.**— 192; **Гринберг И.**— 285; **Гришаев В.**— 54; **Гроссман М.**— 60.

**Дагуров В.**— 157, 241; **Дементьев А.**— 156; **Дементьев В.**— 273; **Денисов Ю.**— 185; **Дмитриев О.**— 139; **Долматовский Е.**— 237; **Дрофенко С.**— 293; **Друнина Ю.**— 38; **Дубровин Б.**— 110; **Дудин М.**— 27; **Дудочкин П.**— 244.

**Евтушенко Е.**— 119, 311; **Еремеев Г.**— 196; **Ермаков В.**— 184; **Ерхов Е.**— 205.

**Жале**— 98; **Жданов И.**— 168; **Жданова Л.**— 225; **Железнов П.**— 30; **Жигулин А.**— 142; **Жилин В.**— 207; **Жирмунская Т.**— 132; **Жуков В.**— 111; **Журавлев В.**— 52.

**Завадский В.**— 316; **Заурих А.**— 175; **Зиновьев Н.**— 209; **Злотников Н.**— 174; **Зорин А.**— 224.

**Иванов А.**— 313; **Иванов И.**— 231; **Ивнев Р.**— 26.

**Казакова Р.**— 127; **Казанский В.**— 43; **Казанцев В.**— 183; **Казин В.**— 19; **Калина П.**— 223; **Карпеко В.**— 66; **Карпов Н.**— 211; **Кафанов А.**— 187; **Кашежева И.**— 144; **Квливидзе М.**— 95; **Кедрин Д.**— 275; **Кикин Д.**— 295; **Кирсанов С.**— 242; **Кобзев И.**— 131; **Ковалев Д.**— 107; **Коваль-Волков А.**— 105; **Ковальджи К.**— 188; **Ковда В.**— 181; **Козловский Я.**— 73; **Кондратьев А.**— 228; **Коренев А.**— 76; **Коржиков В.**— 190; **Королева Н.**— 230; **Костров В.**— 129; 236; **Костюрин Д.**— 206; **Котляр Э.**— 182; **Кочетков В.**— 95; **Краснов Н.**— 111; **Красиков С.**— 226; **Кривошеенко Л.**— 178; **Кронгауз А.**— 48; **Кружков Г.**— 212; **Кудрейко А.**— 47; **Кудрявцев П.**— 27; **Кузнецов Вадим**— 167; **Кузнецов Валентин**— 197; **Кузнецов Юрий**— 215; **Кузовлева Т.**— 138; **Куницын А.**— 229; **Куняев Б.**— 109; **Куняев С.**— 153; **Куприянов В.**— 211.

**Лазарев В.**— 171; **Латынин Л.**— 219; **Левитанский Ю.**— 53; **Леванский В.**— 217; **Левыкин В.**— 214; **Леднев В.**— 108; **Леонович В.**— 179; **Лесневский С.**— 299; **Липкин С.**— 52; **Лиснянская И.**— 131; **Лисянский М.**— 75; **Логвин А.**— 269; **Лозовой Б.**— 40; **Луговская М.**— 193; **Лысцов И.**— 162; **Львов М.**— 61; **Ляпин И.**— 201.

**Мальми В.**— 202; **Максимов М.**— 18, 40; **Мальцева Н.**— 227; **Марков А.**— 99, 313; **Марков С.**— 81; **Мартынов Л.**— 11, 249; **Матвеева Н.**— 117;

Медведев А.— 220; Межиров А.— 32; Межирова З.— 224; Мекшен С.— 209; Мелехин П.— 180; Меньков А.— 220; Миллер Л.— 216; Мнацаканян С.— 222; Мориц Ю.— 140; Моран Р.— 99; Москвитин А.— 187; Мухина Л.— 194.

**Н**аровчатов С.— 57, 295; Недогонов А.— 269; Некрасова К.— 277; Нейман Ю.— 102; Николаев А.— 71; Николаевская Е.— 78; Никонычев Ю.— 215; Новиков Н.— 191; Новосельнова Н.— 113.

**О**зеров Л.— 77, 289; Ойслендер А.— 271; Орлов А.— 226; Орлов С.— 236; Осинин В.— 90; Ошанин Л.— 17.

**П**анкратов Ю.— 149; Панов Н.— 31; Панченко Петр — 30; Паттерсон Д.— 162; Пляцковский М.— 166; Поликарпов С.— 186; Поперечный А.— 152; Портнягин Э.— 189; Преловский А.— 157; Примеров Б.— 143; Приходько В.— 154; Проталин В.— 145; Пуцыло Б.— 173.

**Р**адимов П.— 260; Рахманин Б.— 197; Реформатская Н.— 169; Решетников Л.— 80; Ржавский И.— 193; Родченко В.— 63; Романов А.— 159; Рудяков Г.— 208.

**С**авельев Владимир — 165; Савельев Иван — 175; Савинов Е.— 108; Самойлов Д.— 84; Самченко Е.— 223; Сбитнев Ю.— 159; Семакин В.— 70; Семернин В.— 154; Сергеев В.— 168; Сидоров В.— 150; Сикорский В.— 79; Симоненок В.— 144; Синельников М.— 216; Скуратов М.— 32; Слуцкий Б.— 28, 207; Смеляков Я.— 13, 235; Смирнов Л.— 136; Смирнов С.— 88, 310; Снегова И.— 106; Смольников А.— 100; Соболев М.— 37, 265; Соколов Н.— 92; Солоухин В.— 278; Сорин С.— 59; Сорокин В.— 151; Старшинов Н.— 92; Степанова Л.— 219; Стрешнева Т.— 97; Строганов И.— 65; Суша С.— 227.

**Т**анич М.— 48; Таран Л.— 203; Тараканова Л.— 179; Тарасенко Н.— 112; Тарасов Н.— 109; Тарасова М.— 164; Татьяничева Л.— 104; Терещенко Д.— 87; Тихонов Н.— 7; Тихомиров А.— 223; Тряпкин Н.— 49; Туркин В.— 74.

**У**рин В.— 38; Уткин И.— 262; Ушаков Н.— 9.

**Ф**едоров Василий — 26; Федорин И.— 231; Федотов В.— 113; Фефер И.— 276; Фикс Д.— 262; Фирсов В.— 135; Флеров Н.— 78; Флоров Г.— 161; Френкель И.— 55.

**Х**елемский Я.— 50; Хикмет Н.— 256; Храмов Е.— 130.

**Ц**елищев А.— 204; Цыбин В.— 120, 291.

**Ч**ечулин А.— 232; Чиков А.— 146; Чистякова Г.— 181; Чуев Ф.— 158, 241; Чугай О.— 218; Чухонцев О.— 172.

**Ш**абанов В.— 214; Шаламов В.— 94; Шевелева Е.— 114; Шевченко М.— 227; Шкавро Л.— 161; Шкловский В.— 217; Шкляревский И.— 160; Шпирт А.— 83.

**Щ**ипачев С.— 20; Щипахина Л.— 173.

**Э**вентов И.— 123; Эскович Н.— 106.

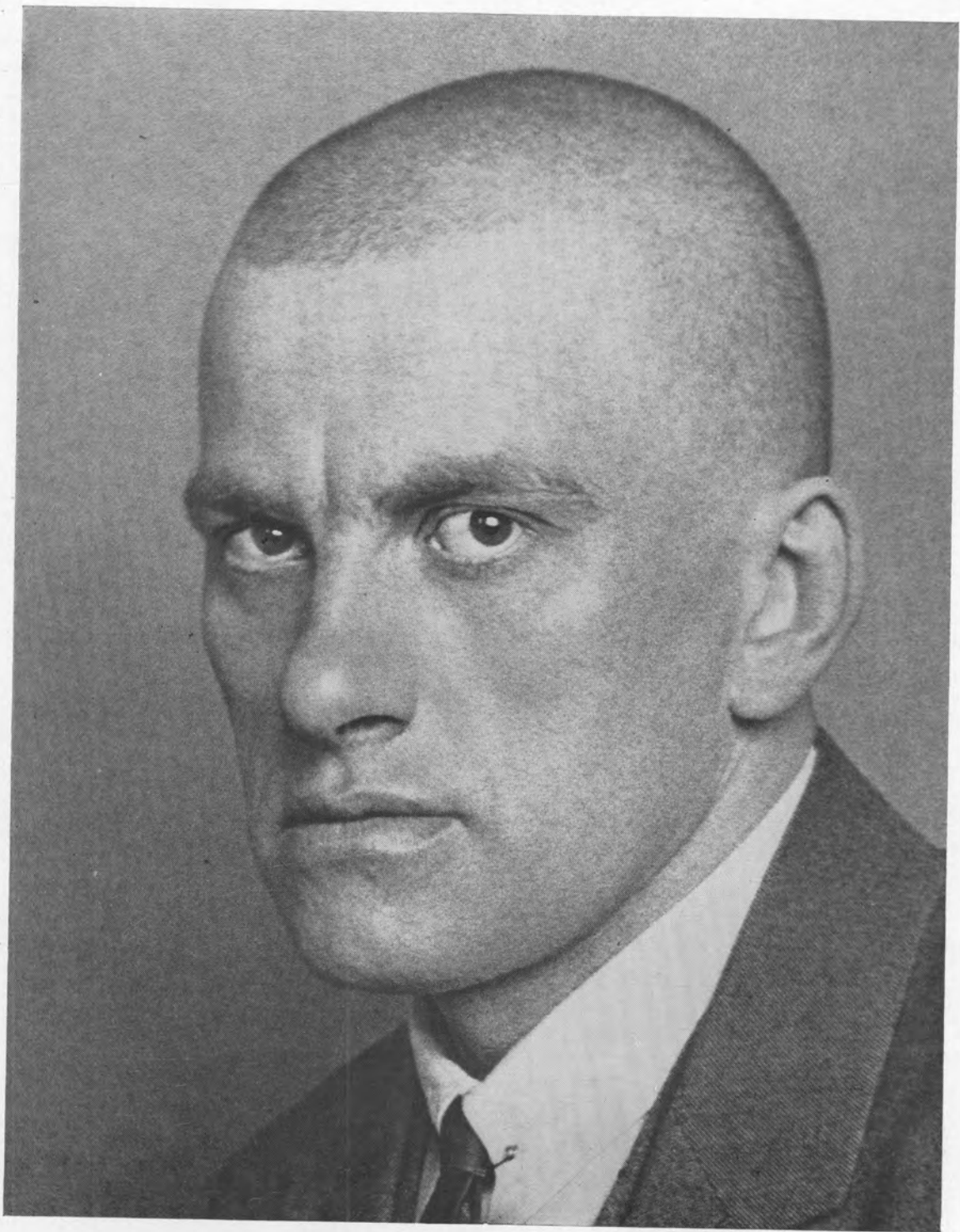
**Ю**шин И.— 210.

**Я**шин А.— 281.



## ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 1973

М., «Советский писатель», 1973, 320 стр. План выпуска 1973 г. № 130. Художник *Н. С. Лаврентьев*. Редактор *В. С. Фогельсон*. Худож. редактор *В. В. Медведев*. Техн. редактор *Р. Я. Соколова*. Корректоры: *Н. П. Заборнова*, *С. И. Малкина*, *Ф. А. Рыскина* и *И. Ф. Сологуб*. Сдано в набор 11/VI 1973 г. Подписано к печати 22/VIII 1973 г. А 02155. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>, № 1. Печ. л. 20 + 1 л. вкл. (35,28). Уч.-изд. л. 27,84. Тираж 50 000 экз. Заказ 413. Цена 2 руб. 59 коп. Издательство «Советский писатель», Москва, Б-9, Б. Гнездииковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28



Владимир Владимирович Маяковский.  
Фото А. Родченко. 1924 г. Москва.



В. Маяковский—гимназист  
III класса. 1903 г.

В. Маяковский—студент Училища  
живописи, ваяния и зодчества.  
1911 г. Москва.





А. В. Луначарский, В. В. Маяковский, Д. И. Лещенко  
выходят из здания Кинокомитета. 1918 г. Москва.



Париж. 1925 г.

Нордернее (Германия). 1923 г.





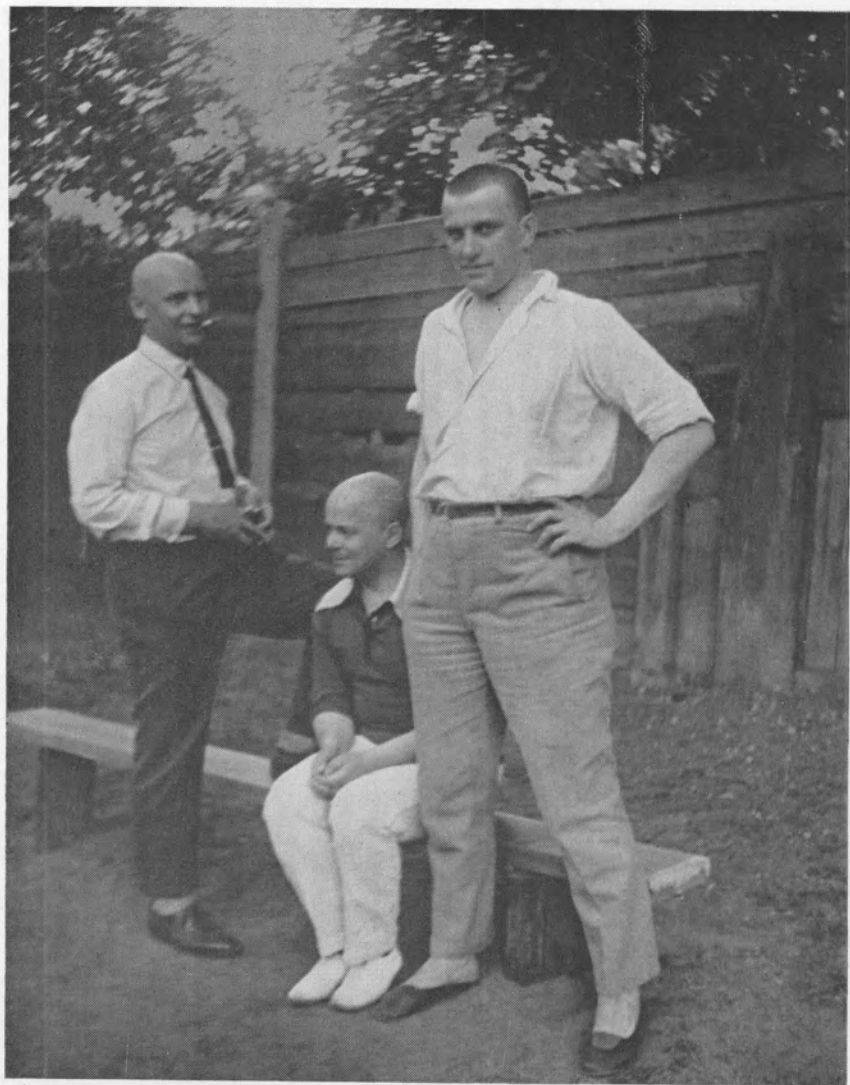
Б. Л. Пастернак, В. Б. Шкловский, С. М. Третьяков,  
В. В. Маяковский. 1925 г. Москва.  
Фото из архива В. А. Родченко. Публикуется впервые.



В. В. Маяковский во дворе полпредства СССР в Варшаве.  
Справа с аппаратом тов. П. Л. Войков, полпред СССР в Польше. 1927 г.

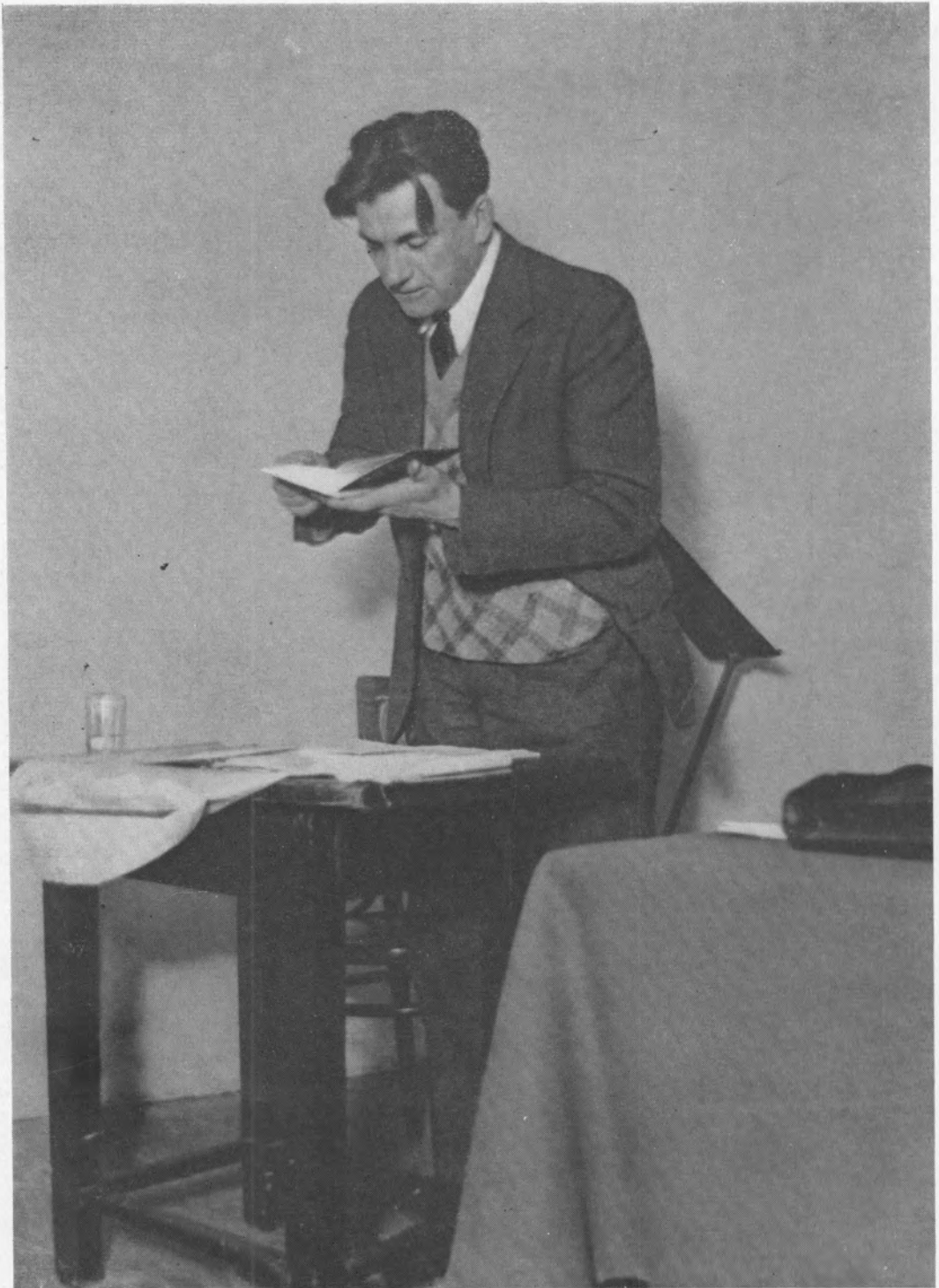
В. В. Маяковский идет с пионерами на праздник Дня леса  
в Сокольниках. 1925 г. Москва.





В. В. Маяковский, В. Б. Шкловский, А. М. Родченко  
во дворе дома № 15 в Гендриковом переулке  
(теперь — переулок Маяковского).  
Фото А. Родченко. 1926 г.





В. В. Маяковский выступает перед слушателями.  
Фото Н. Петрова, 1930 г.



Ярослав Васильевич Смеляков.



Я. В. Смеляков и испанский поэт-коммунист Маркос Ана.

Я. В. Смеляков в Киргизии. 1962 г.

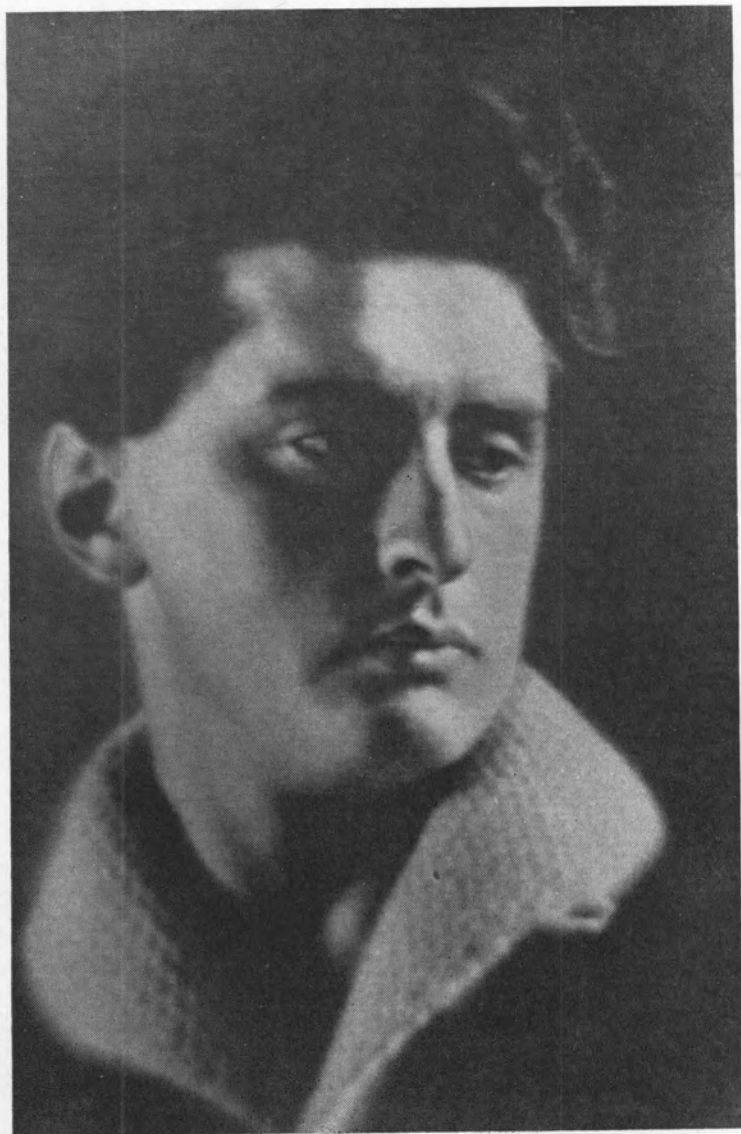


Семен Исаакович Кирсанов.  
Фото П. Г. Антокольского.



С. И. Кирсанов и Н. Н. Асеев.  
Фото А. Родченко, 1931 г.





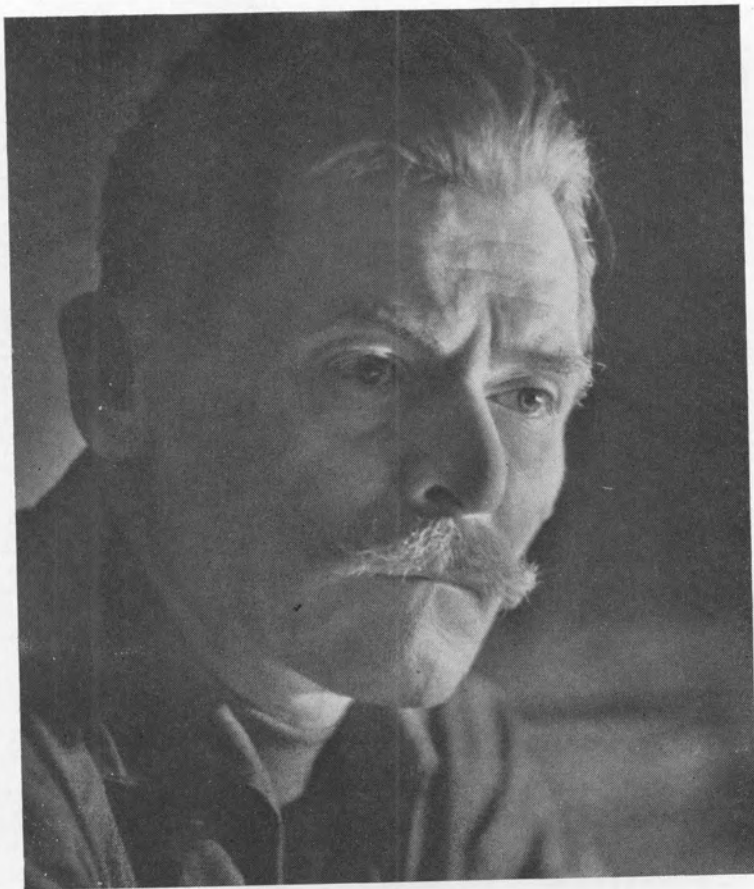
Иосиф Павлович Уткин.



Д. Б. Кедрин (первый слева) в редакции многотиражки «Кузница» на Вагонном заводе в Мытищах под Москвой (ныне — Машиностроительный завод). 1932 г.



Дмитрий Борисович Кедрин.  
Последняя фотография поэта. Лето 1944 г.



Александр Яковлевич Яшин.



К. Г. Паустовский, А. Я. Яшин,  
П. Ф. Нилин. Переделкино, 1963 г.



А. Я. Яшин в родной деревне Блудново на Вологодчине.





На I Всесоюзном совещании молодых писателей. Москва, 1947 г.  
Первый ряд: И. Нонешвили, П. Г. Антокольский, В. Тушнова, Р. Мар-  
гиани, М. Луконин. Второй ряд: А. Недогонов, М. Максимов, С. Гуд-  
зенко, В. Захарченко, В. Урин.

Цена 2 р. 59 к.

